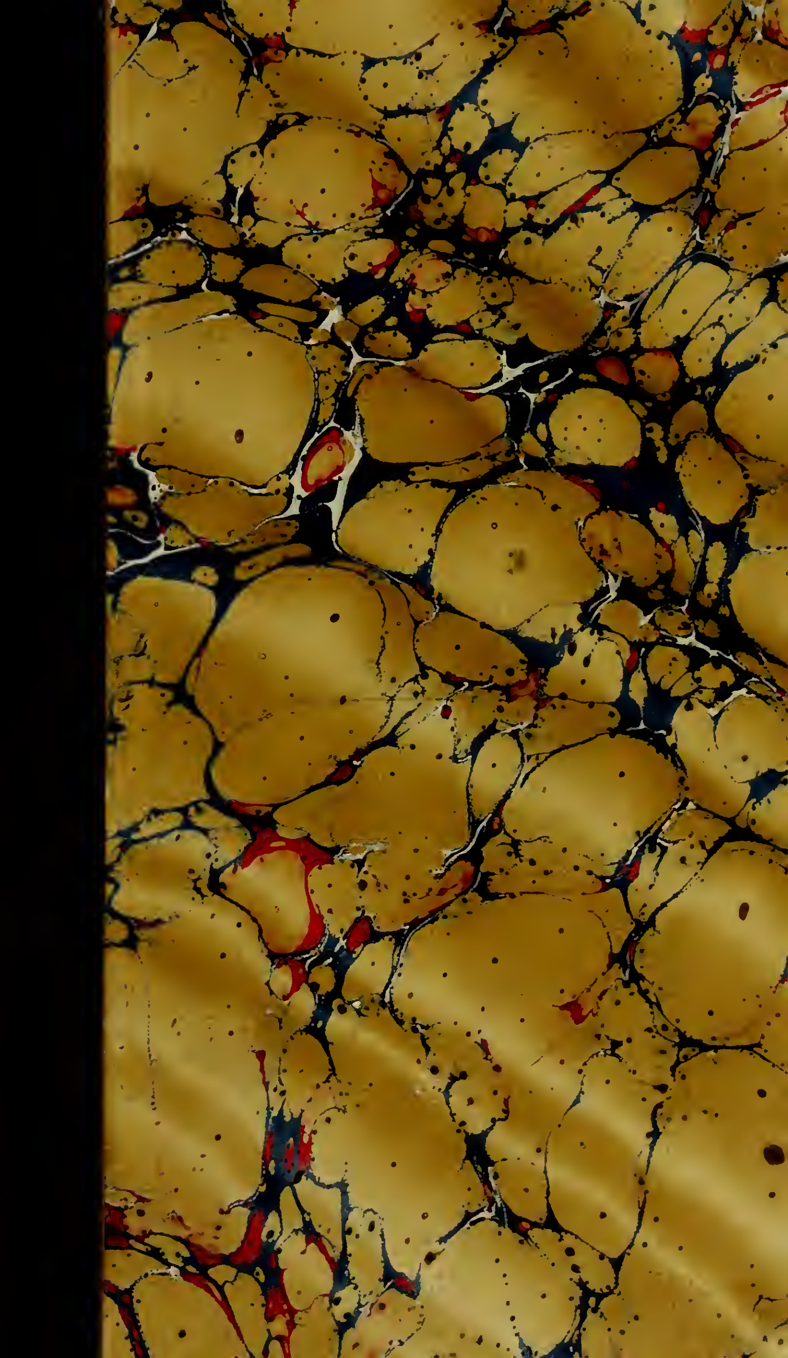
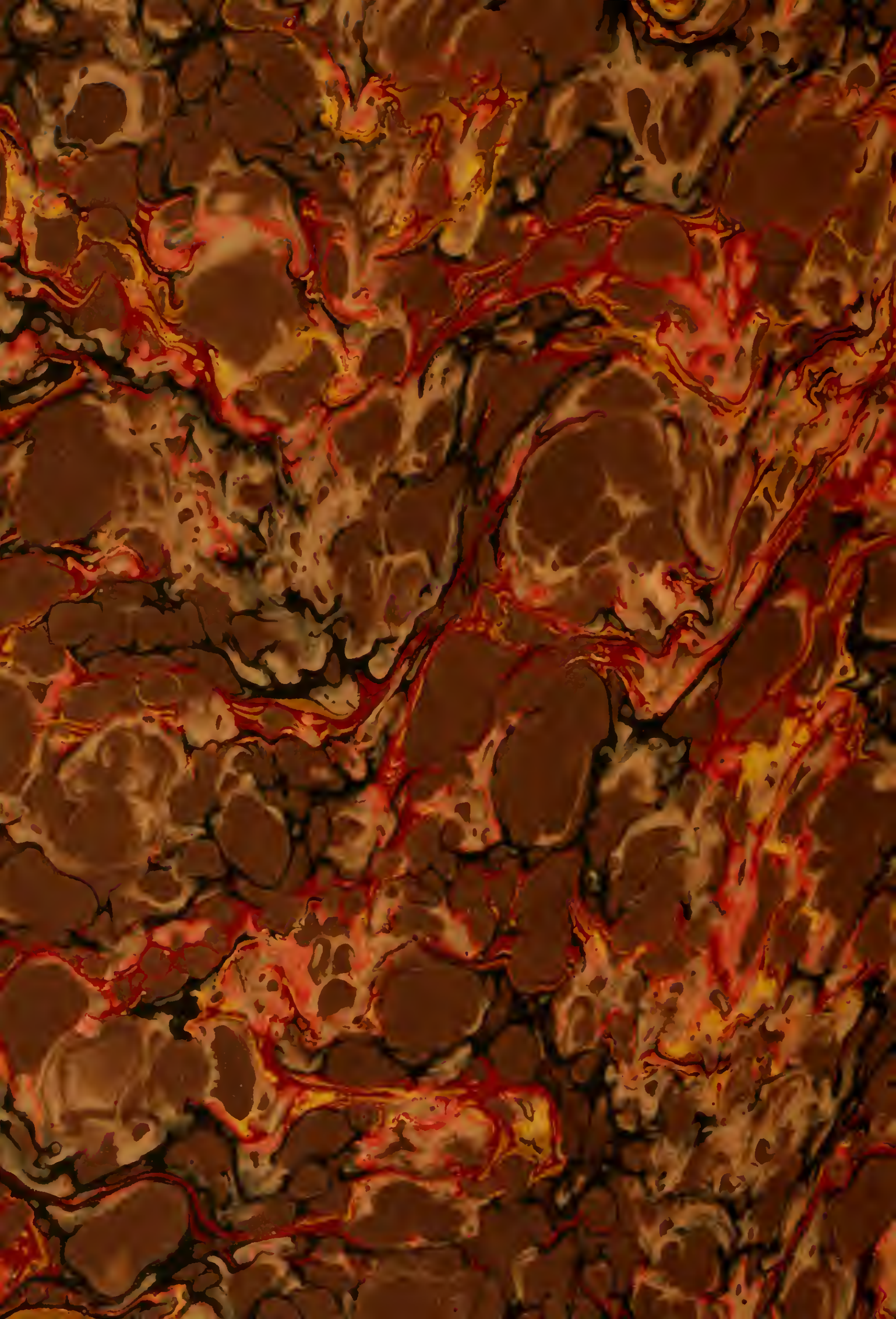
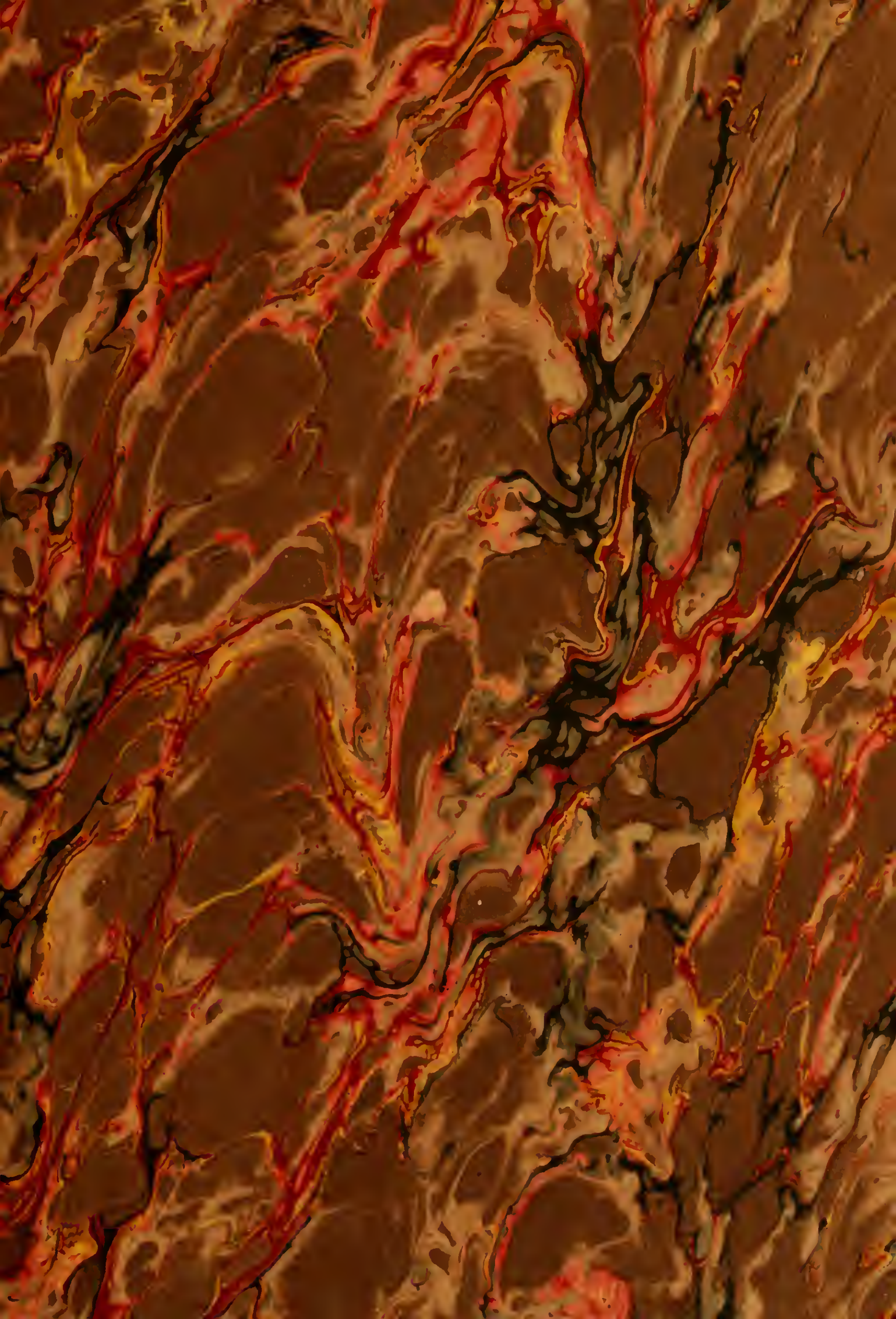







Борис Ширяев
И·ПИ В ИТАЛИ
DISPLACED PERSONS OR REFUGEE IDENTITY CARD
ISSUED BY
PREPARATORY COMMISSION
INTERNATIONAL REFUGEE ORGANIZATION
INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES
Удостоверение Личности
Выдано
OFFICIAL
UNRRA
SIGNATURE OF HOLDER
Подпись Владельца
VALABLE COMME CARTE D'IDEN.

БОРИС ШИРЯЕВ (А. АЛЫМОВ)

Ди-Пи в Италии

ЗАПИСКИ ПРОДАВЦА КУКОЛ

БУЭНОС АЙРЕС
1952

BORIS SCIRIAEV (A. ALIMOV)

Di-Pi en Italia

NOTAS DEL VENDEDOR DE LAS MUÑECAS

BUENOS AIRES
1952

БОРИС ШИРЯЕВ (А. АЛЫМОВ)

Ди-Пи в Италии

ЗАПИСКИ ПРОДАВЦА КУКОЛ

БУЭНОС АЙРЕС

1 9 5 2

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Дмитрию Семеновичу **Товдину**
Куда-то в Аргентину.

Приподняв заграждающий полог,
Мрачный полог нахмуренных лет,
Я узнал, что вы частью филолог,
Частью смелый гусарский корнет.
А потом даже ротмистром стали,
Закалясь в отшумевших боях...
Вы, возможно, от жизни устали,
Но огонь сохранили в глазах.
И связали вас крепкие нити
С далью прежних любимых сторон, —
Вы с трибуны отважно громите
Погубивших Россию и Трон.
В эти дни, когда с ревом и свистом
Были сорваны славы венки,
Против воли вы стали туристом,
Посетив, например, Соловки...
И теперь, когда страшным потопом,
Надвигаются рыцари мглы,
Мы блуждаем по разным "Европам",
Обживая чужие углы.
И хоть хлеб наш порою и горек,
И костюмы у нас "не того",
Наблюдаете вы, как историк.
Все этапы пути своего...
Вы тяжелую жизни науку
Факультетом страданий прошли, —
Разрешите пожать вашу руку
Вдалеке от родимой земли.

Так писали Вы мне, дорогой Дмитрий Семенович, пять лет тому назад. Потом Вам суждено было поплыть "по синим волнам океана", а мне, подобно некоему мол-

люску, сидеть на мало удобной для этой цели суше и ждать, когда этот моллюск свистнет. Вот и сижу . . .

В этой книге Вы найдете много наших общих знакомых. Те из них, кто занимал официальное положение фигурируют в ней под своими подлинными именами, а большинство прочих — под данными им мною псевдонимами. Но Вы то их узнаете.

В Вашей остроумной трактовке современности произведений Ф. М. Достоевского, о которой я пишу в 17-ой главе этой книги, Вы опустили одно — "униженные и оскорбленные". Это те, кто попал в лагеря ИРО и эмигрировал под знаком "защиты прав человека", от чего спас Вас Господь. Об этих людях и моя повесть.

Калейдоскопичность и бешеный ритм нашего времени (или безвременья — как хотите) требуют от литератора не создания обобщенного "героя эпохи", какого искали наши великие деды, но фиксации тех многоликих и многообразных "человеческих документов", которые густою толпою проходят перед его глазами. Их видели и Вы, и отражали в своих острых куплетах с эстрады Русского Собрания в Риме. Вот почему я предпосылаю своей повести это письмо к Вам и Ваше стихотворение, фиксирующее тоже один из "человеческих документов", каким является сам ее автор. Я знаю, что Вы увидите и поверите, что в этой повести нет **ни одного** "выдуманного" и "обобщенного" персонажа.

Протягиваю к Вам через океан свою руку и крепко жму Вашу, дорогой друг, с которым мы никогда больше не увидимся.

Ваш **Б. Ширяев**

Pagani,
близ Салерно, Италия
Июнь 1951 года.

1. ФЕРБОТЕН! . . .

Я — русский человек и, когда видел столь распространенную в Германии надпись "ферботен", то реагировал на нее совсем не так, как немцы. Те внимательно прочитывали, что именно, кому и когда "ферботен", а у меня разом рождалось неудержимое желание как-то этот чертов "ферботен" нарушить: пролезть в запрещенную дверь, потоптаться по заповедной лужайке в Тиргартене . . .

Так было и тогда, вечером 4-го февраля 1945 года, когда я, жена и сынишка, просидев полдня в бункере Анхальтер-бангофа, забрались в вагон второго класса и увидели совсем пустое купэ с наклеенной на стекле его двери длинной надписью, имевшей в конце жирное, черное "ферботен".

Именно поэтому, хотя в вагоне были и другие места, мы влезли в это купэ. Мы — русские люди.

Усевшись на диване и закинув вещи в сетки, мы дружно, облегченно вздохнули. Было от чего! Из Потсдама мы выехали накануне. Там, где в далеком прошлом мельник свободно судился с великим королем, а в недалеком будущем были осуждены на смерть "великими" наших дней сотни тысяч "избравших свободу", как всегда было чинно, тихо и скучно. Бронзовые гренадеры Старого Фрица непоколебимо стояли на мосту, крылья исторической мельницы столь же неподвижно маячили на сером небе, а в кафе чинно давали на хлебные талоны превкусные пирожные с сахариновым кремом.

Потсдам не бомбили ни разу. Вероятно, его хранили для будущего совещания, думалось мне потом.

Но от Ванзее пейзаж стал резко меняться. То и дело попадались горящие дома, и на Фридрихштрассе наш цуг окончательно стал. Дальше было, очевидно, "ферботен". Мы въехали в Берлин в 8 часов вечера, через

два часа после окончания сильнейшей из всех почти два года долбивших его бомбардировок.

Германия есть Германия и всегда останется ею.

Если с неба сыплются градом тысячи тонн "ферботена", останавливающего трамваи, поезда, и всю жизнь столицы, то покидать свой служебный раум, пока в нем держится пол (потолок в этом случае не обязателен), тоже "ферботен". В разрушенном до тла Фрайбурге, на утро после уничтожившей его ночной бомбежки, я видел булочника, отпускавшего хлеб в магазине, состоявшем только из двух стен, но все же тщательно обрезывавшего талончики и складывавшего их в коробку.

Отделение квартирамта в ста метрах от бангофа продолжало так же методично работать, хотя одна половина того же дома горела.

Получение билетика в уцелевший отель на Егерштрассе заняло не более трех минут.

— Две постели, вам и жене? — спросил унтер, взглянув на документы.

— Две, — ответил я, совсем позабыв о неотмеченном в пассиршайне сыне и о том, что в Германии везде и всегда имеется свой "ферботен".

— Шестой перекресток на Фридрихштрассе, — напутствовал меня унтер, и мы потащились во тьме, по грудам мусора, еще носившим название бывшей здесь улицы.

Сказать "во тьме" — не совсем верно. Квартала за два с обоих сторон что то еще горело, но на самой Фридрихштрассе гореть было уже совсем нечему. По этой то причине отыскать шестой перекресток на уже несуществующей улице было довольно трудно.

Трудно, но нашли и разом попали в уютнейший рай третьеразрядного, чинного и тихого немецкого отеля. Ни войны, ни бомбежек, ни красных на Одере, ничего этого здесь не было. Но "ферботен" было, и оно тотчас же дало себя знать.

— Ордер на две постели, а вас трое. Сходите обменить.

— Благодарю покорно. Давайте номер на двух. Мы разместимся.

–Нельзя. Ферботен. Вас трое.

– Но это наше дело. Мы и не просим третьей кровати.

— Ферботен. Трое.

Тащиться снова по темной, засыпанной грудами камней Фридрихштрассе мне решительно не улыбалось. Я уселся в кресло, взял на колени сына и выразил всем своим варварским видом, что до утра я не изменю этой позиции. Сын, уже привыкший к такого рода ситуациям, разом заснул.

В душе немки явно происходила жестокая борьба. "Ферботен" был атакован целым комплексом эмоций женской души и проиграл сражение.

— Ребенок не может так спать всю ночь, — сердито вскочила фрау, — это вредно. Идите. — сорвала она ключ с доски, — номер 107, направо пятая дверь, но это — против правил. Ферботен!

Когда мы уселись в купэ эти события были уже прошлым, имперфект. Настоящее презенс-ферботен появилось в нашем вагоне через час, когда мой сын уже снова спал, свернувшись на мягком диване.

Кондуктор открыл дверь и, указывая на объявление, пространно и детально объснил, что это купэ за неимением в поезде первого класса предназначено только для генералов.

— Но ведь ни одного генерала в поезде нет, — попробовал возразить я.

— Генерал уже в вагоне! — кондуктор отступил на шаг, пропуская в дверь самого настоящего немецкого генерала. Жена изо всех сил затрясла спящего Лолика.

—Тссс... Тссс... Что вы делаете? Мальчик должен спать! Es ist schon Zeit!

Генерал махнул рукой кондуктору и загородился ею же от моих извинений.

— Мы не помешаем друг другу. Я никогда не сплю в вагоне.

Генерал аккуратно развешивает пальто, фуражку,

портфель и, как все немцы во время войны, тотчас же начинает закусывать, намазывая на хлеб тончайший слой масла.

— Видно, генералам-то у них добавочного пайка не дают, — говорит мне жена.

— Армейский паек одинаков для всех чинов.

— Я бы генералам прибавила... Ведь потому они и жуют при каждом удобном случае, что никогда сыты не бывают.

Она стаскивает сверху свою еще российскую плетушку, достает пирожки, начиненные сухой кровью, купленной у остовки на Александер Платц, дает мне и угощает генерала.

— Битте, — говорит она одно из немногих известных ей немецких слов. — Битте, ваше превосходительство, домашние...

Генерал благодарит, откусывает от мастерски испеченного пирожка, и на его лице расцветает чисто немецкое блаженство.

— Видно не часто приходится ему и такие есть, — резюмирует жена, — Господи, а когда же у нас на Кубани пироги с кровью пекли? Никогда этого не было! Ни один казак за стол бы не сел! А тут... генерал им рад!

В дверях с надписью "ферботен" снова появляется фигура кондуктора.

—Тссс!— поднимает палец генерал. —Говорите тихо. Das Kind schläft!

Кондуктор сообщает шепотом, что одна из лежащих на нашем пути станций полностью разрушена сегодня воздушной бомбардировкой.

— Мы сделаем крюк и будем в Мюнхене с опозданием на 50 - 55 минут... Не более, чем на час, во всяком случае...

Меня это мало интересует, и я засыпаю, чтобы проснуться, как мне кажется, через минуту. Генерал трясет меня за плечо.

—Rasch, rasch! Вон тот поезд идет прямо на Филлах. Вы минуете Мюнхен, это гораздо удобнее .Скорее!.

Уже рассвет. За окном какие-то пути, какой-то по-

езд. Жена торопливо натягивает что-то на непроснувшегося сына. Генерал опускает окно.

— Сейчас отход! Торопитесь! Ваши вещи я выброшу в окно.

Мы стремительно проносимся по коридору, выпрыгиваем. Последние рюкзаки падают на перрон из уже набирающего скорость поезда.

— Мама, — деловито сообщает сын, — мне почему то очень трудно ходить...

Сообщение основательное: ходить в пальто, надетом рукавами на ноги, действительно трудно без привычки.

Поезд уже далеко, но из окна еще видна рука генерала, посылающего прощальный привет.

Через два года, когда я читал отчеты о Нюрнбергском процессе, где судьи, сидя рядом с палачами, щедро осыпали немецкий генералитет обвинениями в зверствах, в истреблении женщин и детей, я всегда вспоминал эту руку...

Сам я в то время всеми способами оберегал черепа — свой, сына и жены от зорких глаз охотников на них и их загонщиков — гуманистов.

2. КОЛЕСА ДОЛЖНЫ ВЕРТЕТЬСЯ

Почти сутки сидения в привокзальном бункере Филлаха, набитом русскими остовцами, беспрерывные волны сотен летающих крепостей, проплывающих над ним на север; наконец, приграничный поезд с разбитыми, замусоренными вагонами — все это уже позади. Позади и “ферботен”.

Мы — в Италии. В станционном буфете — настоящее кофе, с настоящим молоком и настоящим сахаром. В ближайшей лавочке — душистый вермут, стройные как пальмы бутылки которого разом вырастают на наших столах.

Русская речь звучит всюду. Она заглушает и монотонный рокот немцев и петушинные выкрики ита-

льянцев. Вокруг нашей настольной батареи — трое: капитан “национального” кавказского батальона школы РККА, гусар-ахтырец славной южной школы и в качестве соединительного звена — я. Они оба возвращаются в Толмеццо из командировок. У ахтырца, теперь красновского казака, свой вагон. Поэтому к нему то и дело подходят просители.

— Экая уйма народу сейчас в Италию валит! Тухло стало в Берлине? — спрашивает он.

— Паники еще нет, — отвечаю я, — но каждому ясно, что . . .

—Krieg ist verloren,— добавляет горец.

Эта фраза отпечатана в мозгу каждого из нас. Если кто и хранит еще тени надежд, то здесь, в ближнем тылу итальянского фронта, они тают, как дым. Тыл фронта мертв. На станции нет ни эшелонов со снарядами, ни платформ, загруженных покрытыми брезентом пушками и авто. На лицах немногих немецких офицеров печать бесконечной усталости и того же, что и у нас — отупения . . . покорности неизбежному.

—Krieg ist verloren. Kaput!

—Вы в карты азартничали? — неожиданно спрашивает меня ахтырец.

—Нет. Не люблю карт.

— А я играл прежде. Так вот, когда игрок “кураж потеряет”, то кончена его полоса. Все его карты будут биты . . .

— К чему вы это?

— Немцы-то, разве не видите, тоже “кураж потеряли”, как мы, отдав Харьков. Теперь им — крышка . . . гроб . . .

— А нам?

— Веревка, — спокойно отвечает горец. — Что может быть иное?

Иного ждать трудно. Красные — на Одере и в Венгрии. Почему мы спешим в Толмеццо? Не все ли равно? Едем потому, что надо что-то делать. Так легче.

Грузимся ночью. В вагоне, заваленном тюками с обмундированием для казаков генерала Доманова, все русские. Сидим на соломе, среди луж от талого снега.

И все друг от друга что-то прячем; скрываем, потому что боимся сказать громко, как горец: "Веревка".

От двери теплушки, через которую видны заснеженные отроги Альп, стелется бархат грудного контральто:

"Но отважны люди,
Люди гор Кавказа,
Гор, одетых в облака . . ."

Я помню эту девушку еще по Пятигорску. Она — кабардинка, кажется, была в комсомоле, писала неплохие стихи и печаталась в местных газетах. Теперь она их поет. О Кавказе — в Альпах, по-русски.

Извилисты и непонятны пути людские.

В углу, на склонах целого Эльбруса тюков и ящиков гнездится многочисленное семейство профессора Г-ха, чистопородного черкеса, серьезного и глубокого исследователя кавказского фольклора. Его я тоже знал еще "там". При оставлении немцами Баталпашинска он выехал со всеми чадами, домочадцами, родственниками и свойственниками на нескольких подводах — целым племенем, хотя ничто ему не угрожало: у немцев он не служил, а Советы им дорожили, как живой рекламой "национальной по форме, социалистической культуры".

От подножия Эльбруса, сидя плечом к плечу на соломе, тянется по стене вагона ряд казаков, одетых в фельдграу. Есть и старики, но большинство — молодежь из Красной Армии.

Это Краснов в Берлине и Шкуро в Вене делают последние судорожные усилия спасти разнесенные по всей Европе листья славных ветвей русского народа: Донской, Кубанской, Терской . . . Снова, тем же путем, как почти сто пятьдесят лет назад, с Суворовым, Платовым и Денисовым, проходит казачество горную щель в солнечный мир Италии . . . Снова . . . но как различны эти походы . . .

Поезд останавливается на какой-то до тла разрушенной станции . . . Бог ее знает, какой. И названия не осталось, в буквальном значении этой поговорки. Одни кучи мусора, и на обломке уцелевшей стены — густо начертанная надпись немецкого лозунга.

— Переведите мне, что там написано, — просит профессор Г-ха.

— “Колеса должны вертеться”, — говорю я, — дальше в лозунге следовало “для победы”, но эта часть стены разрушена. Однако . . . “колеса должны вертеться” . . . Леземте назад в вагон, дорогой профессор . . .

Дующий в угон поезду льдистый северный трамонтано треплет и рвет полы наших пальто.

3. ЛИЛИ МАРЛЕН

Два месяца, проведенных в ”Казачьем стане“, приютившемся в отрогах Фриулийских Альп, — тема отдельной трагической повести, героями которой станут последний из рыцарей Дона старик П. Н. Краснов и его юный оруженосец, пришедший из рядов РККА сотник Н. С. Давиденко. Бог даст, напишу когда-нибудь и ее, но здесь, в этой книге — только начало последнего акта, финал которого прозвучал через месяц в Лиенце в молитве торжественно-ужасающей панихиды, пропетой по самим себе . . .

— Со святыми упокой, Христе Боже, раб Твоих . . .

**
*

Снег мешался с дождем. По темным улицам Толмеццо тянулись бесконечные обозы, перемежаясь с колоннами всадников. Кто-то плакал навзрыд. Кто-то ожесточенно ругался . . .

“Казачий стан” генерала Доманова, прошедший походным порядком от Дона до Изонцо, выступал на свой последний этап . . .

Мы оставались.

Мы — это я с женой и шестилетним сыном, да приведенная к нам причудником-случаем рыжеволосая русская красавица, свершившая тот же, что и мы, путь от Ростова. Я назову ее Финик, именем, данным ей в семье в детстве. Кажется, тогда ее волосы были близки по цвету к этому экзотическому плоду. Теперь цвет их зависел от вкуса парикмахера . . .

О Финике нужно рассказать подробнее. Ей предстоит не раз еще показаться на страницах этой книги.

Финик — настоящая русская лебедка, пышная, цветистая, крупичатая. В как-будто недавние еще Лесковские времена, такие сударушки, накинув на плечи бухарскую шаль, садились у окон купеческих особнячков, жевали моченые, такие же крепкие ядреные яблоки, да на прохожих молодцов дугами смоляных бровушек поводили . . .

Кустодиев их еще видел и запечатлел на своих полотнах.

Ну, а теперь Финик — дочь профессора с большим, известным всем анатомам именем. Жила она в Ростове на пятом этаже вузовского дома, в уютной комнате с большим голубым диваном.

В крышу этого дома ударила двухтонная бомба и пронизала его до подвала. Голубой диван остался висеть на стене выпотрошенного здания в назидание уцелевшему потомству, а Финик с папой и собачкой Пуффи пустились в странствование.

Я встретился с нею сперва в Мелитополе, когда я потерял в извивах пути жену и сына. Потом — в Вене, в тенистом парке обсерватории, где никто ничего не терял, даже наоборот, нашли: папа Финика — гостеприимство у немецких профессоров, а я — жену и сына, доставленных немецким вахтмейстером.

Потом снова растеклись, чтобы слиться опять на площади итальянского городка, когда Финик потеряла не только папу и Пуффика, но и туфли, удирая под обстрелом из почти окруженной красными Вены.

И вот в жаркий солнечный полдень на площади яркого южного городка перед завитым кудрями барокко собором я попал в объятия кустодиевской сударушки, облеченной в некогда шикарную беличью шубу мехом вверх, но обутой во что-то, отдаленно похожее на античные сандальи. Дальше...

. . . дальше приятель-казак подшил к античным моделям какие-то седельные тренчики, и мы снова потекли вместе: Финик, жена моя Нина, сын Лоллюшка и я.

Потекли, куда нес нас ветер, дувший из альпийских предгорий.

Но в те пасхальные дни 1945 года мы еще не текли, а лежали все вчетвером на монументальной родовой кровати фамилии Тости, в комнате ушедшего с казаками в Австрию русского архиерея.

Итак, мы четверо остались.

"Вечно бежать невозможно,
На время не стоит труда . . ."

пел Балиев в дни оставления Белыми Одессы. Разница лишь в том, что тогда мы бежали вместе с англичанами, а теперь бежим от англичан . . . Не все ли равно!

Но ни англичан, ни американцев в городе еще нет. Они только двигаются в северном направлении, как сообщает радио, и, несмотря на всю мощь заатлантической техники и полную капитуляцию немцев в Италии, двигаются очень медленно. Пока же, в ожидании их, итальянцы вывешивают флаги, орут на улицах и разворовывают немецкие склады, а оставшиеся русские прячутся по развалкам и не только не орут, но вообще по-русски говорят лишь шопотом. Причины к тому довольно веские: из горных селений, как муравьи, ползут итальянские партизаны и в их числе русский батальон имени Сталина, составленый из беглых "остовцев", при участии беглых из Франции русских эмигрантов — "патриотов" маклаковско - бунинско - ступницкого вида.

От них ,кроме пули, нам ждать нечего. Застрявшие в пригородных деревнях ее уже получили, но в город сталинцев не пустило католическое духовенство, единственная в те дни реальная власть.

Наконец, после четырех дней безвластия долгожданные избавители явились: в город ползли пилотируемые неграми танки, а за ними вкатили упитанные, здоровенные, добродушные новозеландцы.

Итальянцы орали во всю мощь своих всемирно прославленных глоток. Престарелые матроны совещались о важном вопросе:

— Отелло явились. Дездемоны найдутся. Но возь-

мут ли потом в свои приюты черных ребят святые отцы?

Я тоже ломал голову над проблемой, как избежать непосредственно протянувшихся ко мне нежных лап отца народов, так как за час до того в бывшую комнату архиерея ввалилась толпа густо обросших волосами и столь же густо завешанных всеми видами оружия гарибальдийцев, меня подняли с монументальной усыпальницы рода Тости и повели в бывшую немецкую комендатуру.

Что же, дело привычное в наш век осуществления демократических свобод восточными, западными, народными, социалистическими и прочими радикальнейшими методами.

Русских, подобных мне, там было уже человек пятьдесят, сбитых во внутреннем дворике комендатуры. У дверей его стояло два пулемета, наведенных на двор, и два — дулами наружу. Между ними живописная группа какой-то помеси красногвардейцев 1918 года и соратников Фра Дьяволо в исполнении статистов очень захудалой труппы провинциального театра. Это были спасшие Италию славные гарибальдийцы. Думается, что пленявшая воображение наших гимназистов знаменитая "тысяча" этого достопочтенного вождя мало чем от них отличалась.

—Как свечереет — драпанем! — толкнул меня под бок знакомый казак, — я окошко уже присмотрел. Эти разве укараулят? Им только на огородах воробьев пугать! . . .

Но дождаться вечера под охраной фра дьяволов мне не пришлось. Не прошло и получаса, как на внутреннем, выходившем на двор балкончике я увидел здоровенного новозеландца и рядом с ним . . . моего Лоллюшку.

Лоллик тыкнул пальцем в моем направлении, вслед за ним туда же уставил указательный перст новозеландец и, не прерывая жеста, указал большим той же руки себе за плечо.

Этого было совершенно достаточно, чтобы и я, и

славные потомки гарибальдийцев и казаки — все поняли.

Гарибальдийцы со всей своей экспансивностью замахали мне руками и даже потрудились раздвинуть пулеметы у дверей.

Казак хлопнул меня по плечу:

— Вали, браток, вечером и мы к вам будем!

А я через минуту сидел уже в джипе и гордо катил в свою архиерейскую комнату.

Что же произошло за это время?

В момент моего ареста в комнате, кроме меня, никого не было. Финик и жена ушли менять одеяла на что-либо съедобное, а сын был углублен в разборку сваленных в палисаднике патронов и пулеметных лент, но меня в сопровождении моего оперного эскорта он увидал и, как полагается по закону джунглей, пошел позади, выслеживая, куда запрячут меня защитники всех видов свободы. Узнав, он вернулся и рассказал о происшедшем Финику и моей жене.

Но и их фуражировочный рейд тоже не обошелся без приключений.

— Не лучше ли подождать? Поголодаем денек, посмотрим ... — робела, выступая в поход моя жена.

Но Финик храбрилась. Занятые у хозяйки туфли придавали ей духу.

— Пустяки! Я буду говорить по-французски, а вы молчите. Идем!

Сначала все шло благополучно, но в уличной толкучке, говоре и шуме, Финик совсем осмелела:

— Пустяки, кто нас услышит ... — и заговорила по-русски.

—Russi! Russi! Kosaki! — раздался сзади женский взвизг. Этого было достаточно. Пестревшие в толпе внуки Гарибальди тотчас стеклись на сигнал травли и, схватив женщин за руки, потащили их куда-то.

— Влопались! Ничего. Встретим американца, я сумею ему объяснить, — еще храбрилась Финик.

Но, как на грех, ни одного американца, ни даже негра навстречу не попадалось... А гарибальдийцев все прибавлялось. Теперь уже целая дюжина их окру-

жает военнопленных, галдят, дергают за платье, тычут грязными волосатыми пальцами.

— Хоть бы один американец!

Ни одного.

— Помоги, Мать-Заступница . . . — шепчет жена.

Триумфальное шествие победителей сворачивает в боковую улицу. Надежда на заатлантическую помощь близится к нулю. Еще поворот, и пленницы видят место предстоящего им заключения. Это штаб какого-то партизанского отряда. У его ворот человек двадцать "героев" и "героинь". Они тоже орут и машут руками, радуясь "трофеям" новой "победы".

"Трофеи" уже среди них . . .

—Да здравствует свобода Италии! Смерть фашистам! Evviva Stalin!

— Матерь Божия, помоги, — шепчет жена.

. . . На другой стороне улицы показываются два солдата в хаки. Финик стремительно прорывает окружение и несется к ним.

Вряд-ли поняли эти новозеландцы поток отрывистых слов, среди которых было очень мало английских, но смысл всей сцены им был понятен. Подобное они видели уже не раз в занятых ими городах Италии.

Новозеландцы присваивают "трофеи". Что же, если им нравятся эти женщины — можно и уступить. Не спорить же с ними? У них висячие на белых портупеях пистолеты, которые могут и выстрелить. "Герои" расступаются . . .

—Evviva aliati!

Так-то лучше.

Новозеландцы, пересмеиваясь, отводят женщин к первому встречному офицеру и что-то лают ему. Тот сажает Финика и жену в свой джип и взглядом спрашивает:

— Куда?

Мало надеясь на свое знание языка Байрона, Финик прибегает к языку жестов и без приключений доводит джип до дому.

Здесь — снова сюрприз . . .

Увидев слезы жены, вместо ожидаемой им улыбки, англо-сакс, оказавшийся при дальнейшем исследовании тоже новозеландцем, удивился такому выражению восторга со стороны спасенной им женщины. Финик стала снова спрягать глагол to have и to be, добавляя к ним существительное man, то указывая на Нину, то на проходивших гарибальдийцев, то куда то вдаль мирового пространства.

В результате этой мимограмматики новозеландец все же уразумел повесть Лоллика.

Он посадил его в свой джип, а остальное уже известно.

**
*

Вечером он снова пришел к нам, вернее, к Финику. Очевидно, кустодиевский стиль пленил и его маорийское восприятие.

Финик долго и детально разъясняла ему на трех европейских языках, что мы — русские антикоммунисты и бежим от русских. Он хлопал глазами и в промежутках заглядывал ей за разрез ворота.

Убедившись в бесплодности лингвистики Финика, вполне прилично говорившей по-французски и по-немецки, я прибег к помощи лучшего из языков, вернейшего эсперанто: поднялся к соседу и купил у него за тысячу лир бутылку хорошего итальянского коньяку.

—О'кэй!

Мы чокнулись. Новая Зеландия и Старая Россия вступили в честный союз на основе полного равноправия и содружества великих наций. База для дальнейших соглашений была найдена много легче и успешнее, чем при пятисотом заседании ООН с участием Вышинского. После шестой рюмки я формулировал конкретную программу.

— Монинг. Авто (я тыкнул новозеландца в грудь). Венеция. Фррр-ту-ту-у-у . . . (я закрутил рукой). Подальше, подальше от этой чертовой мышеловки! На юг! Зюд! Хэв ю, понимаешь?

—О'кэй, — ответил новозеландец, хлопая одновременно десятую рюмку и меня по плечу.

Финик, напрягши все свои лингвистические способности, еще пыталась разъяснить ему разницу между нами и подданными "доброго Джо" . . . Успеха мало.

— Ваши старания излишни, дорогой Финик, — говорю ей я, — вы останетесь гласом вопиющего в пустыне. Но на данном этапе это нам не важно. Ваш бюст и мой коньяк поняты и оценены высококультурным англо-саксом. Это дает довольно твердую надежду, что он предоставит нам ленд лиз в виде идущего на юг джипа . . .

И желая польстить столь молодому, как я думал, сержанту, я тыкнул в нашивку на рукаве его растегнутой рубахи футболиста:

— Лейтенант? Иес?

— Кэптен, — ответил он мне, указывая на свой воротник.

Я всмотрелся в его симпатичное лицо колониального фермера и мне вспомнился почему то первый прибывший к нам на Демин хутор под Ставрополем немец-кашевар с лучистыми глазами и лбом мыслителя.

—О'кэй! Бывает и так в наш век торжества культуры. Но ты, Новая Зеландия, хороший парень! — хлопнул я его по плечу после двенадцатой рюмки. —О'кэй!

Коньяк я с новозеландцем допили и потом провожали его все вчетвером. Бояться теперь было нечего. Весь Толмеццо уже знал о происшедшем, и на нас лежало новозеландское табу.

На улице густел лиловый сумрак, но итальянская луна старалась во всю ради приезда алиатов. В ее лучах таяла покачивающаяся фигура уходившего кэптена. Он пел песню на непонятном нам лающем языке. Но ее мотив мы знали, знали до боли крепко. Это была . . . Лили Марлен.

—Lily Marlen...— звучал где-то во тьме его удалявшийся голос.

— Лили Марлен . . . — сзади меня послышалось рыдание. Это плакали моя жена и Финик.

4. МЫ СТАНОВИМСЯ ПРОФУГАМИ

Новозеландец сдержал свое нечленораздельное "О'-кэй". Утром не только джип стоял у нашего подъезда, но его шофер вручил мне какую то зелененькую филькину грамоту с написанной по-английски моей фамилией. По милости судьбы, именно этой бумажке было суждено в будущем стать моей индульгенцией в заатлантический рай с предшествующим ему ировским чистилищем. Она доказывала, что я был в Италии уже в апреле 1945 года и не был военнопленным. Она стала путевкой в жизнь Ди-Пи, да и просто путевкой в самую обыкновенную жизнь, а не в Римини, Лиенц, Дахау, или иное место, где пышные злаки цветут теперь на земле, густо политой кровью таких же, а, быть может, и более русских людей, чем я.

Мы комфортабельно размещаемся на железных сидениях. В джип втискиваются еще две итальянки, успевшие заметнуть с шофером, и мы катим к югу . . . Куда точно? Черт его знает! Но мы едем. Этот факт неоспорим, и в нем уже благо.

Первой и конечной станцией нашего джипа оказывается Удине, тот самый городок, в котором 145 лет назад первые итальянские делегации восторженно встречали ее освободителя фельдмаршала Суворова, шедшего во главе армии "реакционейшего" из российских императоров — Павла Первого.

Памятник, бюст Суворова с патриотической надписью стоит и до сих пор на главной площади Удине, злой иронией судьбы, именно на этой площади негр-шофер приказывает нам "освободить" его машину.

Спорить не приходиться. "Освобождаем".

—Теперь куда поедем? — спрашивает сын.

— Меня это тоже интересует, — отвечаю я, — но я не совсем уверен, что мы поедем, а не **пойдем.**

Так и получается. Ехать не на чем, да и незачем.

Мгновенно собравшиеся вокруг нас итальянцы дружно машут руками вправо, в одну из вливающихся в площадь улиц и твердят хором:

—Cinema. Tutti i profughi a cinema. Avanti, signori, avanti!

Почти все понятно, кроме слова профуги ....

Что оно, собственно, означает?

—Да ведь это мы теперь профуги, —догадывается Финик. — Штатенлоз. Пересадка. Компостируйте ваши билеты.

— К добру это или к худу?

— Господь разберет! Но шагать надо. Не ночевать же на площади. Все равно прогонят.

Шагаем и переволакиваем на короткие дистанции свои тюки. Нечто вроде перебежки цепью. К счастью близко. Кино тут же за углом.

Оставляю жену караулить вещи, а сам я с Фиником иду на разведку.

В синема — толпа. На его дворике еще гуще. У стен накидана солома. Говорят на всех языках и больше всего по-русски.

— Записаться где-то надо, — рассуждаю я вслух.

— Надо полагать, за тем столиком регистрируют, —отвечает мне некто, в ком я узнаю земляка-ставропольца, армянина, державшего духан при немцах

Идем к столику.

—Петрос-Оглы, — твердо заявляет регистратору мой спутник и добавляет уже мне: — документов здесь, видно, не спрашивают.

— Национальность?

— Турок, — не менее твердо выговаривает он, — из Эрзерума!

Регистратор машет рукой:

— Какие тут еще Эрзерумы!

Мы перетаскиваемся и ищем места на соломе. Вот оно. Как раз на четырех. Но некто в жилетке, без пиджака, отталкивает наши рюкзаки.

— Занято, занято! Сейчас хозяева вернутся!

— Эгэ! Русский? Ну, тогда все понятно, — говорю я. — Когда хозяева вернутся, освободим, а пока располагаемся.

Жилетка ворчит и нервически крутит размашистые усы, но боя не принимает.

На средине двора давка. Там монахини раздают макароны. Их сыплют в тарелки, в плоские немецкие котелки, в бумагу, в пригоршни.

Античный профиль юной инокини в чепце с белыми крыльями реет над толпою. Она очень молода и столь же красива. Что толкнуло ее в монастырь?

Потом я узнал, что для замужества в Италии одной красоты и прочих женских качеств слишком мало. Наши нищие профуги были очень желанными женихами для итальянок и за ними велась охота. Случались и драмы.

Но это было потом, а пока мы располагаемся на соломе и Финик вступает в деловой разговор с соседкой, сохранившей и в Италии явный отпечаток то ли Киевщины, то ли Черниговщины.

— А дальше отсюда как едут? — спрашивает она.

— Не звесно. Третий день сидим. Утром майор приезжал, обещался завтра отвезти.

— Какой майор?

— Наш, советский, русский...

Финика подбрасывает вверх, как-будто под соломой взорвался фугас.

— Советский?! И вы едете?

—Ну, а как же? Как же не ехать-то?

Рядом со мной в образах этих двух женщин сталкиваются два мира. И, как им полагается, не понимают друг друга. Финик поворачивается ко мне. В ее глазах не протест, не ужас, но безмерное удивление.

— Она... едет? Возвращается?!

— Милый Финик, — отвечаю я. — Ваш голубой диван повис между небом и землей на стене ростовской развалки. Бабушкина севрская ваза, о которой вы так трогательно вспоминаете, разбита вдребезги, и осколки похоронены где-то в мусоре, а у нее в какой нибудь Диканьке или Копаньке, вероятно, цела еще бабкина перина... и свиное корыто стоит на прежнем месте. Ее путь лежит туда, и только туда. Еще куда же?

— А наш?

— Черт его знает! Но лежит куда-то и двигаться

по нему надо без задержек. Визит советского майора мне не совсем приятен. Идемте опять на разведку.

Но гонять по учреждениям уже поздно. Вечереет. От входа в наш двор несутся крики. Идем узнать их причину.

Два партизана во всех регалиях, начиная от красных галстухов и кончая патронными лентами, и какая то под-стать им девица расклеивают на стенах кино целый ряд портретов Сталина.

— Здравствуйте, товарищ папаша, — кланяется им наш ставропольский турок армянского происхождения, — давно не видались. Пополнели вы маленько за это время. Только мне совсем эта встреча с родителем не нравится, — поворачивается он к нам.

Мы с Фиником тоже не испытываем особой радости от лицезрения столь знакомой самодовольно тупой физиономии. Но вокруг нас восторженно орут по-итальянски, на каких-то славянских языках и даже по-русски.

— Ну, крик этих красных обезьян я понимаю, — говорит Финик, — но чего русские орут . . . ведь они-то знают . . .

— Заорешь, милая моя дамочка, когда припекать начнет, — отвечает ей армянин. — А мы как будто уже на сковородке . . .

В толпе у портретов затягивают “Катюшу”. Она стала теперь международной.

— И запоешь, — пессимистически резюмирует он, — еще не то запоешь.

На соломе, рядом с нашим лежбищем, идет ожесточенный спор. Усатая жилетка дискуссирует со своей супругой. Вопрос, по существу, тот же, что у входа, но поставлен острее и определеннее.

— Записываться тотчас, когда майор приедет, и пробиваться в первую партию, — убеждает жилетка. — Поверь мне, первым будет особая встреча. Я уже знаю. Всегда так.

— Что хочешь, не могу! Как подумаю, что опять в эту жизнь, — сердце обрывается!

— А здесь что делать?

— В прачки пойду...

— Все равно заберут.

Из дальнейшего хода дискуссии выясняется все прошлое наших соседей. Он — провинциальный советский правозаступник и, кроме того, охотник, знаток собачьих статей. Числился кинологом "Динамо", имея крепкие связи с чекистами - охотниками. Кругом блат! Чем не житуха?

Она из "бывших", и воспоминания о досоветской жизни в ней не угасли. Запад пробудил их с новой силой. Вернуться к очередям, к квартирной склоке, в чад примусов — нет сил. Пусть будет, что будет! Только не туда! Что угодно, но здесь!

Но и возможность самого мизерного "здесь" для нас крайне проблематична.

— Я чувствую себя в мышеловке, — шепчет жене Финик, — вот-вот крышка — хлоп! Тогда что?

— Будем прогрызать крышку, — возможно бодрее отвечаю я, но сам чувствую, что вру и им и себе.

— Тогда что?

Этого я еще не вижу, но готовую прихлопнуть нас крышку ощущаю всем существом.

5. НЕУТОМИМАЯ БАБУШКА ФИНИКА

— Какой он маленький!

Таковы были первые слова Финика при виде собора Св. Марка.

Мы неожиданно выскочили на пьяццу Сан Марко после целого часа блужданий по узеньким кривым переулкам, возвращений назад, упершись в тупики или обрывки внезапно кончавшихся набережных. По своей планировке Венеция более азиатский город, чем Бухара или Самарканд, поэтому и представление о прямой линии у ее жителей несколько иное, чем у прочих людей.

— Sempre dritto*), — убеждает вас венецианец, показывая дорогу, но это dritto обязательно окажется рядом сложно запутанных петел.

Мы садимся на каменную скамью у колоннады и смотрим друг на друга.

Пьяцца С. Марко знакомая нам с детства по тысячам картин и картинок. Прекрасно! Каналы. Тоже очень хорошо. Палаццо Дожей. Еще лучше! Но куда же нам приткнуться для некоторого подобия вида на жительство?

Из мышеловки с портретами мудрейшего мы выскочили более, чем благополучно. Утром вытащили свой багаж на площадь и стали сигнализировать по международному коду всем проходящим военным авто. Одно из них реагировало на наши S.O.S. Остановилось. Финик побежала к шоферу с нашей англо-филькиной грамотой, ткнула себя в грудь и сказала:

— Венеция.

Шофер ткнул пальцем в радиатор и ответил:

— Местре, — и добавил, — Брента!

Спасибо вам, Александр Сергеевич Пушкин, что догадались в свое время написать указатель для счастливых потомков вашего "жестокого века".

— Адриатические волны!

— О Брента, вновь увижу-ль вас!...

Именно это воспоминание об этих строках и разъяснило мне направление новозеландской машины. Ничего другого ни о Местре, ни о Бренте я в жизни своей не слыхал. Но тут ликующе затряс головой и заорал:

—Местре! Местре! Олл райт! О'кэй! Вери уэлл! Хип, хип, хип, урра!

Молодец был шофер! Прекрасно меня понял. Вероятно, он хорошо говорил по-английски!

Так или иначе, но жена и Финик сидели в кабинке грузовика, а мы с сыном балансировали, держась за веревки, опутывающие целую гору груза.

Было немножко тряско, немножко пыльно, но зато

*) Все время прямо.

сверху — чудеснейшая панорама. А главное — мы ехали и, следовательно, наслаждались.

—Avanti, signori, avanti!

Чья то из наших бабушек сильно нам ворожит, милый Финик! На свою я не надеюсь: до сих пор она не проявляла в этой области больших способностей. Вероятно, — ваша!

Да, эта бабушка работала по-стахановски. В разбитом Местре, где нас ссадили, мы оказались в непосредственной близости военного склада бензина и охранявших его солдат. Мы ждали приятных реплик:

— Проходи стороной! Стрелять буду! — как это полагается на милой родине, и растерянно хватались за свои тюки.

Вот и солдат к нам идет . . . Сейчас погонит . . . Подошел . . .

Черт его знает, что он говорит? Но, нам видно, не ругается. Наверх, над складом показывает . . . Хоть бы одно слово понять!

Отчаявшись обучить нас английскому языку, солдат забирает два чемодана и несет их по остаткам лестницы в помещение над бензином.

— Так мы же можем диверсию совершить! — с ужасом восклицаю я.

Но солдат иного мнения. Он уходит, потом возвращается с метлой и ворохом мягких, пушистых английских одеял. Снова уходит и вновь несет большую миску кофе и пол буханки белого пшеничного хлеба.

Жена разводит руками и с упоением хватается за метлу. Мы с сыном строим кровати из досок и кирпичей разбитых стен дома.

— Умный вы были человек, Александр Сергеевич, а вот этого не предугадали. Волны — что в них толку, и в Адриатике нам детей не крестить, а вот кофе, одеяла от случайного английского солдата, это, простите за архаизм, искра Божия в темной душе человеческой...

И мы ее увидели . . . В этом самом разбитом бомбами Местре.

Переночевав в надбензиновой развалке, мы с Фиником снова устремляемся на разведку. До Венеции

семь километров, не так уж далеко, даже и для античных сандалий Финика. Казачьи тренчики держат их крепко.

Шли, кружили, ругались, отдыхали. И все таки добрались до колони пьяццетто. Дальше куда?

Мимо нас какой-то итальянский факино везет ручную тележку с кладью. Он останавливается, вытирает пот с лысеющего лба и внимательно осматривает сандальи Финика.

— Залюбовался, лысый черт, — сердито бросает та подбирая ноги под скамью. — Нашел чем?

— Русские?! — радостно кричит факино. — Так я и думал! Откуда?

На этот вопрос технически трудно ответить. Зависит от того, с какого меридиана и года придется начать.

— Сами не знаем, — откровенно сознаюсь я.

— А я иду из Триеста! Выскочил, слава Богу, и семью выволок.

Мы уже слышали о трагедии русских, окруженных титовцами в Триесте.

— На самолете или на немецком танке проскочили? — интересуюсь я ради сравнения со своим крымским опытом.

— Вот на этой самой летающей крепости! — указывает он на свою тележку, — на ней всю дорогу, то есть вещи, конечно, а я в оглоблях.

— Так мы еще не последние в очереди, — подмаргиваю я Финику, — и позади нас стоят. Мы все-же пока на авто! — и ему: — а куда теперь ваш полет?

— Да вот, здесь на набережной, Фондаменто Нуово, казерма Манин. Принимают легко нашего брата. Валите и вы.

***

— Ваша почтенная бабушка, милый Финик, необычайно трудоспособна. Смотрите, крыша сама идет к нам.

— А не прихлопнет?

— Аллах белядэ, говорят киргизы . . . Прихлопнет — будем выкарабкиваться. Аванти.

Вот мы и снова в Местре, попутно пообедав у гостеприимных отцов-францисканцев. Совсем неожиданно и очень хорошо: макароны с сыром по большой тарелке, пара яиц на брата, колбаса и даже вино...

Произошло это так. Отмахали мы с Фиником километров пять, видим — церковь. Да к тому же интересная.

— Смотрите, Финик, портал барокко, а купол и стены явно еще романские. Зайдемте, посмотрим и отдохнем заодно.

В тихом сумраке церкви, где действительно оказались интересные фрески, к нам подошел молодой монах в коричневой сутане и сандалиях на босу ногу. Стал нам что-то объяснять, показывая на картины. Из объяснения мы поняли только слово "кватроченто", оно также звучит и в истории искусств Вермана. А потом он сказал: "манджаре". Это слово мы поняли. Ему мы уже научились и, конечно, тотчас ответили:

— Si, padre, grazie...

Ну, а дальше. Сели за стол монастырской трапезной со стрельчатыми готическими окнами...

— Почему он, собственно говоря, нас позвал? — недоумевает моя спутница.

— Потому, что он — христианин, а мы — странники.

Финик выросла в среде врачей и биологов, а у этого подкласса из породы русской интеллигенции свои особые представления о религии вообще и о монахах в частности. Традиционные. Еще со времен доктора Крупова и студента Базарова... Она удивлена... Но кушает с большим аппетитом.

Наутро мы в казерме Манин. Снова удивление. Казерма — дом военный, как известно. Манин — венецианский революционер времен минувших, как нам тоже стало известно. Но и здесь монахи. А сама казерма с ее внутренним двором, обрамленным стройной вереницей задумчивых колонн, очень далека от того, что мы привыкли называть казармой.

Потом объяснилось. Казерма — бывшая иезуитская коллегия XVIII века. В мудром и прогрессивном веке

XIX братьев Сердца Иисусова уплотнили. Теперь они рядом, в монастыре, на дворе которого их полулегальные воспитанники режутся в футбол, а в бывшем коллегиуме стали какие-то склады. Муссолини использовал их для размещения доблестных победителей голых абиссинцев. После его падения победители разбежались, а в образовавшуюся пустоту влились мы, “перемещенные лица”.

Эти "лица“ кишмя-кишат и в колонном дворе и в бесконечных сумрачных корридорах с нишами и тумбами для статуй, но статуй там уже нет. Надо полагать, это были святые, не воспринявшие великих идей Дуче и удаленные по несоответствию с темпом эпохи.

Русских здесь меньше, чем в Удине, но зато много кавказцев. Весь закавказский национальный батальон добровольческих войск генерала Кестринга в полном составе: грузины, армяне, горцы всех племен, бакинские турки... Перед капитуляцией они стояли близ Венеции и, когда фронт пал, устремились в город и примкнули к “освободившим” его партизанам. Подвиг “освобождения” был не очень трудным: просидели сутки в каких-то подвалах пока SS сваливали в кучу свою амуницию, ну и “освободили”...

Теперь совсем замечательно стало. В муниципио всем партизанам и даже беженцам выдают по 1.000, а то по 700 лир. Давка, правда, такая, что и за мануфактурой в Шуше так не давились, но — дело привычное, а при терпении и два раза получить можно.

— Одна нэприятность: со всех стэн милый папаша смотрит!

— Нэ карашо. Совсэм не карашо. И зачем он смотрит? Смотри, пажалуста, на свой партия, а на нас зачем смотреть?...

За обедом нас обходят девушки и элегантные дамы. Они наделяют яйцами и колбасой детей и стариков. Это патронессы. Одна из них, маленькая, стройная, как танагрская статуэтка, с модной сумочкой через плечо подходит к Лоллику.

— Как тебя зовут? Какой ты нации?

Ее лицо смугло и тонко. Разрез глаз чуть-чуть загнут вверх, и это делает ее похожей на японку.

— Мадам Беттерфлей, — говорю я жене.

— Какой вы нации? — спрашивает она теперь по-французски.

Мои слова, видимо, ее заинтересовали. Разговор завязывается, и мы уже не только друзья, но и знаем кое-что друг о друге.

Ее зовут Анна Паллукини. Она — прирожденная венецианка, жена видного историка искусств и сама профессоресса литературы в лицее. Это нас сближает.

— Вы — русский и к тому же профессор, коллега? Ну, так беру вас под свое покровительство. Мой брат сейчас в плену у русских. Ради него я работаю сейчас здесь. Так велит Бог. Я — католичка.

Глаза Финика снова широко раскрываются. Что же поделать? Ведь ее поколение видело лишь обезглавленные храмы и груды мусора разрушенных церквей. А совершавших в них служение Богу когда-то?

...Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед?
И крестом сиял
Брюхо на народ...

Не Блок ли писал это? Блок, чей томик волнистых, как дым кадильниц, стихов так часто лежал на ее голубом диване.

Вечером первого дня, проведенного в казерме Манин, мы укладываемся спать в отдельной комнате, все четверо, но у каждого теперь своя кровать.

— Это понимать надо, — поучаю я, — не каждому такое дается!

— Ох, не каждому, — потягивается жена, — и не каждую, добавь, ночь.

— Финик! Ваша стахановская бабушка, безусловно, заслужила сегодня переходящее знамя ворожейного цеха!

6. ТАРТАРЕН, КАЗАНОВА И МЫ

Когда мы с немецкими, еще времен кайзера Вильгельма, рюкзаками за спиной и одеяльными тюками в руках добрались, наконец, из Местре до первого венецианского канала, жена с молитвенным благоговением прошептала:

— Гондолы! Глядите, настоящие гондолы! Думала ли я, сидя в Баталпашинске . . .

Поблескивая черным лаком они медленно и спокойно проплывали между снующими по воде канала трескучими, суетливыми моторками. Минувший век гордо и молчаливо сторонился крикливой сутолоки дня сего . . .

— Сколько бы ни стоило, наймем гондолу! — заразился я ее экстазом. —Въедем в Венецию, как... байроны . . . Эй, синьор! Фундаменто Нуово? Компренэ? Сколько лира? — мои пальцы заработали, как у заправского фокусника.

В ответ гондольер выпустил вверх обе пятерни и начал медленно, тряся головой и выпуская по сто слов в секунду, убавлять по одному пальцу.

Когда его левая пятерня стала излишней, а правая в растопыренном окаменении приблизилась к моему носу, я прекратил пантомиму и потащил мешки в возвышавшееся на середине лодки сооружение.

Мы уселись и двинулись к морю по самому, на весь мир знаменитому, Канале Гранде. Каково? А?

Но мне в голову приходят странные обобщения.

— Не находите ли вы, друзья мои, что гондола несколько напоминает гроб? А? Хороший такой, по первому разряду в старое время . . . Да и гондольер краем на жулика смахивает. Ни кушака, ни колпака нет . . . Итальянец, как итальянец, только и всего!

— Это тебе пятисот лир жалко, — обиженно укоряет меня жена, — время, конечно, военное, и гондольеры поизносились.

Но, оказывается, и в этом жуликоватом парняге живы отзвуки великих традиций: хоть мы очень мало похожи на подлинных, до-военного времени, "стра-

ниеров“, но он все-же считает долгом указывать нам на красующиеся по берегам канала заплесневелые палаццо и давать пространные объяснения, из которых мы улавливаем лишь немногие знакомые слова. При доле фантазии и этого хватает.

— Рикардо Вагнер! Слышите? Значит, вон в том облезлом особнячке сам великий маэстро жил . . . “Лоэнгрина” сочинял! А? Сыро ему, наверное, было, с ревматизмом-то . . . Лукреция Борджия? Зачем она сюда попала? Да, вспомнил. Под старость. Как-будто и угробили ее здесь. Внимай, Лоллюшка, и поучайся: здесь вот замечательную женщину на тот свет отправили . . .

— А чем она замечательная, папа?

— Чем? Да . . . Собственно говоря . . . Как это тебе сказать? Тоже на тот свет отправила дюжины там две или три... И еще... Ну, это, когда вырастешь, узнаешь . . .

—Палаццо Д’Оро! — восклицает Финик.

— Правильно! Я его сразу по открытке узнал . . . Только на ней он как-то изящнее выглядел.

— Риальто! — гордо указывает на горбатый мост гондольер.

—Ах, как же это? — грустно изумляется жена.— Там, кажется, базар? Какое же это Риальто? Тетя Клодя всегда пела . . .

“Я в Риальто спешу до заката.
Отвези гондольер молодой . . .”

и вдруг — базар... А я думала...

Так встретились мы с жемчужиной Адриатики, столицей Дожей, мечтой бледно и заманчиво светившей нашим ставропольским, баталпашинским, ростовским сердцам.

В дальнейшем она еще злее смеялась нам тем же оскалом беззубого рта . . . Два месяца, изо дня в день, мы бродили по извилистым улочкам Венеции, специально приспособленным для ударов из-за угла, взбирались на Кампаниллу, задирали головы на роспись потолков всевозможных палаццо, спотыкались на ступеньках Моста Вздохов и спускались в темницу Казановы.

— Да, темновато ему было здесь, верно, но ветерок все-таки сквозь окошечко шел . . . Не то что в пробковой душилке на Лубянке!

У нас, жителей самой свободной страны всех времен истории, свой особый критерий для мест заключения. Позже в Риме один мой спутник по европейским тропам, осмотрев историческую камеру Каварадосси в замке Сент Анджело, с восхищением рассказывал:

—Понимаете, комната четыре на шесть, итого 24 метра жилплощади! Кровать с постельным бельем, стол, два мягких стула и даже умывальник! Считайте еще распречудесное окно и вид на весь Рим с самолета! Господи, Боже мой! Да за такое дело в Москве знаете, сколько нужно дать? И на пальцах не сочтешь!

Муж ставшей нашим другом синьоры Паллукини, "мадам Беттерфлей", изящный, как Казанова, и столь же изящно мысливший искусствовед, устраивая в те дни для американцев выставку "четырех веков венецианского искусства", нашел все-же время, чтобы показать нам Сен Марко.

—Эта дивная мозаика вывезена из Византии при разгроме ее крестоносцами . . . Тот горельеф с Александром Македонским добыт ими же в Пиррее, а бронзовые львы за стеной — из Сирии . . .

— Ну, а сами венецианцы что создали? — снаивничала жена, к счастью по-русски.

— К себе все свезли . . . Со всего света . . . Мало тебе, что-ли? Как ты не понимаешь искусства! — отвечаю за гида я.

На обратном пути профессор Паллукини указывает нам на высокий скучного вида дом.

— Здесь помещалось подворье ганзейских купцов. Стены дома снаружи были сплошь расписаны Гольбейном.

Мы смотрим на них почтительно и внимательно, но ничего, кроме пятен сырости и облупленной штукатурки, не видим.

Сыростью и илом несет из обмелевшего в час отлива канала. По его усеянному консервными банками, обнаженному дну, бегают здоровенные рыжие крысы. Та-

ких крупных тварей этой породы я только на Соловках видел.

Мы бредем дальше по узенькой извилистой улице под натянутыми через нее веревками с развешанным на них для просушки бельем. Улица — одна из наиболее торговых. Преобладают магазины с венецианскими сувенирами для иностранцев. Раковины с видами лагуны и Дворца Дожей, резьба по камню, лев Св. Марка во всех видах, какие-то султаны из цветных бус . . . Как знакомо это все по бабушкиным сундукам и горкам в обветшалых "дворянских гнездах" . . . Но "тогда" все это было красивее, ярче . . . "Тогда" светила мечта . . .

Синьор Паллукини указывает на большую витрину.

— Это лучший магазин. Взгляните, там стекло, изделия знаменитых венецианских мастерских Мурано. Здесь — резьба по мрамору, наша древняя художественная традиция . . .

— А ведь этакой топорной, грубой работы постыдились бы наши екатеринбургские мастера. Даже и советские артели "Самоцвета". Не так-ли, Финик?

Это я говорю по-русски, а по-французски:

— Прекрасная тонкая работа! Сколько вкуса!

Ничего не попишешь! Надо быть вежливым и приятным хозяевам. Мы не знатные "страниеры", а бездомные и, главное, бездолларные профуги.

Улыбаться всем! Улыбаться всему!

Вечером в нашей комнате профугов в казерме Манин, в доме, воздвигнутом три столетия назад отцами-иезуитами, мы подсчитываем накопления своих впечатлений за день.

— Знаешь, я кажусь себе Тартареном из Тараскона.

— Вот уж не похоже! — разом запротиворечила жена. — Ты длинный и худой, а он маленький и толстенький.

— Погоди! Не тем, что гордо ехал стрелять львов, не тем, что увлекал заплывших жирком буржуа в туманную даль океана, а другим . . . тем, что, изверившись в подлинности швейцарских красот и ужасов, перерезал веревку и покатился вниз с ледника, решив,

что и все горы поддельные, тем, чей развесистый баобаб оказался меньше придорожного репейника...

— Ну, это ты, как всегда, перехватываешь.

— Нет. Мы смотрели на Венецию, да и не на одну нее, чужими глазами. И она была прекрасна. Твоя тетка пела о Риальто, и ты видела его... в мечте... оказался базар... грязный, воняющий рыбой...

— Слишком грустно, — отозвалась Финик, — не брюзжите. Давайте лучше в рифмы сыграем. Первое двустишие — я, второе — вы. Идет?

Финик владеет стихом. Я тоже им грешил в дни оны. Через минуту она подает мне листок.

Тайны сброшены оковы.
Понесемся смело ввысь...

Единственный огрызок карандаша переходит ко мне. Я пишу:

Путь нам кажет Казанова
В тухлой тине, среди крыс!

Финик читает и злится. Со зла дает мне трудную задачу на двойную рифму в четверостишии:

Но пробьем себе мы тропы
В блеск пленительной Европы...

Ну, нет! Такой оптимизм выводит и меня из терпения. Я подписываю:

Но для этой нашей пробы
Нету рифмы...

Финик рвет бумажку.

На раскинувшуюся перед нашим окном гладь лагуны падает закатная тень старой обветшавшей кампаниллы.

7. КТО ЖЕ МЫ, СОБСТВЕННО ГОВОРЯ?

— Вы русский?

— Черт меня знает! Может быть, что и так...

Мой собеседник из понимающих. Он смеется, и мы усаживаемся на окно корридора одного из бесконечного числа англо-американских офисов, заполнивших всю Венецию. По этим офисам мы бегаем каждый день

с утра до обеда. Цель этой беготни — пробиться куда-либо подальше от лап оригинала красующихся везде портретов.

В каждом офисе нас внимательно выслушивают (делать сидящим там абсолютно нечего). Просят написать свои биографии. Иногда обещают работу:

— Приходите на следующей неделе во вторник, ровно в десять с половиной утра... — и записывают дату в настольном блокноте.

Но вторник сменяется пятницей, пятница — понедельником. Неделя идет за неделей, мало чем отличаясь одна от другой.

Иногда нас расспрашивают о жизни в России и сочувственно кивают головой:

—Уй, с'е террибль!

Документы мы получили неожиданно легко. Просто пошли в какое-то итальянское учреждение по адресу, данному одним кестринговским армяно-турком. В учреждении царил невообразимый хаос: все его прежние чиновники были выгнаны, как фашисты, а на их места посажены разом набежавшие патриоты. Они перекидывали нас от стола к столу, из комнаты в комнату, пока наш подбрасываемый волнами корабль не наскочил на подводный риф, который оказался русским итальянцем, высланным большевиками из Одессы не то в 36-ом, не то в 32-ом году.

Одессит мгновенно и с большой радостью сел выписывать нам "карта д'идентита".

— Писать вас как? Русскими?

— А как-же иначе?

— По разному. Можно иранцем, греком или еще кем-нибудь. Всех ваших армян я в турок перекрещиваю. Вернее... Страна нейтральная. Иные и на две нации разом пишутся...

Русско-итальянский одессит не лишен здравого смысла. Знакомые усы красуются на стене и этого уффичио.

В моей душе идет сильная борьба... Эх, будь, что будет!

— Пишите — русский!

— Дело ваше.

Но с фамилией происходят неожиданные затруднения. Буквы "Ш" в итальянском алфавите нет. Как ни пробуем ее изобразить, получается то Скиряев, то Чирьев, то совсем черт знает что . . .

**
*

Дни текут за днями. Синьора Паллукини стала нашим настоящим добрым гением. Да и не только нашим, но и многих еще русских.

Почему? Потому что ее брат в русском плену. Многим такой оборот ее психической направленности непонятен, а вот Лесков, я думаю, понял бы его.

Мы живем теперь не в казерме Манин, а в самом настоящем палаццо Фоскарини, последнего дожа блистательной республики. Настоящем палаццо, откуда даже статуи еще не разбежались: Юлий Цезарь и Брут стоят рядом, не проявляя друг к другу ни агрессивных, ни репатриационных склонностей. Платон держит свой свиток в руке скромно свернутым, не заставляя никого ни читать его, ни под ним расписываться.

— Хорошо, черт возьми, живется статуям!

Но и нам, благодаря синьоре Паллукини, не плохо. Это она устроила нас в тихое, мало кому известное папское общежитие для профугов. И как раз во время! В казерму Манин разом нагрянули полковник и два капитана, вызвали всех подсоветских греко-турок и после полагающихся к случаю речей, вскользь добавил:

— Все вы, дорогие товарищи, уже взяты на учет. Завтра, в 8 часов утра придут катера и будем грузиться. Родина вас ждет!

Греко-турки расцвели самыми радостными улыбками, прокричали полагающееся и с пением "Широка страна наша родная" пошли складывать манатки. Но во время их сборов произошло неожиданное превращение. Грузины, лезгины, осетины и даже бакинские турки, греко-турки, турко-арабо-греки, все, все, вопреки теории академика Марра, разом стали армянами, то есть, яфетидами.

Разгадку этого странного этнического явления приходится искать в глубине веков. Давно-давно, еще в те время, когда Палеологи были императорами, а не чиновниками республики, византийские армяне основали монастырь на одном из островов дружественной Империи Венецианской Республики.

Потом и Империя и Республика рухнули в вечность, а армянский монастырь остался. Даже сам Байрон укрывался от великих своих страстей в его тихом приюте. Цела скамейка и зеленеет дуб, под которым он сидел.

Как только стемнело, через стенки казермы в иезуитский монастырь начали прыгать тюки и рюкзаки, ну, и их владельцы тоже, конечно.

Отцы иезуиты сначала испугались, но скоро поняли причину этих падений и открыли выходную калитку своих ворот. Около них не было ни партизан, ни карабинеров . . . Вообще было пусто.

Утром же в армянском монастыре готовили трапезу порций на триста больше обыкновенного.

Мы были в это время уже в палаццо Фоскарини. И не только мы, рядом с нашими комнатами (да-с, теперь две! У Финика — отдельная!) неожиданно оказались кинолог из Удине с супругой, продолжающие и тут тот же спор.

Менее неожиданна и менее приятна была другая встреча: с советским капитаном, шедшим по коридору в сопровождении нашего портье.

— Русс! — указал на меня тот.

— Русский? Очень приятно! Откудова? — обрадовался капитан.

В дни бурных исканий юности меня занесло в школу Московского Художественного Театра. К. С. Станиславский меня теперь и выручил. План роли созрел мгновенно. О репатриации "новых" и уклончивых ответах "старым" мы уже кое-что знали.

— Как-же, как-же, русский, — обрадовался и я, — из Нижнего Новгорода, а потом в Берлине двадцать лет выжил. Очень рад, очень рад, господин штабс-капитан! Так ведь? Четыре звездочки у вас вижу . . .

Лицо капитана вытянулось и улыбка отцвела.

— А вы эмигрант, — протянул он, — ну это другое дело...

Но я вошел в роль и, не унимаясь требовал новых лавров.

—Господин штабс-капитан! Господин штабс-капитан! Погодите! Один вопрос: Кому подавать прошение о возвращении на родину? Вам можно?

— С этим погодите, — отмахивался капитан, — для этого другая комиссия приедет.

— Еще вопросец: домик у меня в Нижнем был... Вернут его?

— После! После!... — и он скрылся за дверями моей комнаты.

Господи, что-то будет! Пронеси, Владыко! Мои седые волосы, два иностранных языка в запасе, знание Берлина давали мне почву для мистификации, но у жены этих козырей — ни одного!...

Жду, а сердце где-то под дырявыми подошвами.

За дверью тихо... И вдруг раздается голос моей жены, да такой, какой я всего раза два за всю жизнь у нее слышал.

Моя жена очень добрый и мягкий человек, но, как это часто бывает именно у натур такого склада, редкие вспышки ее ярости страшны. Одна из них разразилась теперь.

Дверь с треском открывается. Из нее вылетает красный, в цвет своего партбилета, капитан и ничего не понимающий, обескураженный портье, а за ними высовывается голова моей жены, вернее, ее прабабки — Кубанской казачки времен Хаджи-Мурата, Батал-Паши и Кази-Магомы.

— А когда немцы нас гнали, где вы были? Когда с голоду мы пухли, вас где черт носил? Вояки обозные...

— Проклятущая баба, — слышу я от проносящегося вихрем капитана, — ну ее к дьяволу... С такой малахольной только свяжись!

Мало удачным оказался набег храброго капитана на палаццо Фоскарини. Все указанные ему портье русские оказывались кто из Берлина, кто из Белграда...

Счастье улыбнулось ему только в комнате усатого кинолога. И то там радовались только двое. Жена собачьего специалиста плакала.

Верх в их семейном споре на этот раз одержал муж. Он весь вечер гордо разгуливал по коридору, покручивая свои усы и напевая "интернационал". Утром же следующего дня два красноармейца торжественно выносили их вещи для отправки в советский лагерь. Провожающих не было.

Но изменчивы судьбы людские. И извилисты беженские тропы.

Через два года я встретил обоих в одном из лагерей УНРРА. Прием, оказанный под красным флагом после ласковых речей капитана и торжественного отъезда из палаццо Фоскарини, жертвам немецких зверств так напомнил их милую покинутую "родину", что сбил даже самого кинолога с его непоколебимых позиций. На счастье лагерь перебрасывали, и в бестолковой возне переезда им удалось ускользнуть, оставив в дар стране победившего социализма чемоданы, наполненные при помощи немецких бецугшейнов и остовской ловкости рук.

8. БЕЗ "КЛЮКВЫ" НЕ ОБХОДИТСЯ

С мадам Беттерфлей мы с каждым днем сближаемся все теснее. Она и падре Лозар, словенец-иезуит, кое-как говорящий по-русски, стали шефами всей нашей колонии в палаццо последнего дожа.

Утром одного ясного до боли в глазах июньского дня, когда лагуна блестит расплавленным серебром, синьора Паллукини появляется в дверях нашей комнаты. Она, как всегда, изящна и деловита. Маленькие руки маленькой женщины крепко всунуты в карманы полумужского жакета.

— Профессор, вам есть работа. Идемте сейчас же. Издатель Монтворо хочет поручить вам написать обзор советской литературы.

— Но, ведь по-итальянски?!

—Все устроено. Переводчица найдена.

Через полчаса ходьбы по петлям и тупикам — других средств сообщения в Венеции нет, — мы в издательстве.

Его глава, доктор Монтворо, миланец, с мечтательно-грустными глазами, бегло говорит по-французски.

Да, он хочет выпустить эту книгу. Ко всему русскому сейчас большой интерес. Все издательства спешно переводят с русского. "Тихий Дон"... "Тарас Бульба"... Им выпущен уже "Конек-Горбунок" в переводе одной русской художницы с ее же рисунками... Но обзора новой русской литературы еще ни у кого нет. А он очень нужен. Ведь в Италии четыре славянских факультета: в Венеции, Падове, Риме и Неаполе.

— Вы беретесь? Срок — три месяца. Объем — 250 страниц. Пятнадцать процентов с продажи — автору. Тираж от пяти до десяти тысяч...

Берусь ли я? И хочется, и колется... А даты? Перечни произведений и другие точные необходимые материалы?

Память у меня хорошая, но для такой работы ее недостаточно.

Синьора Паллукини угадывает мои сомнения и приходит на помощь.

— При славянском факультете есть русская библиотека... Декан его, профессор Грациани — мой друг. Я устрою вам доступ.

Цезарь переходит Рубикон! Жребий брошен!

Мы подписываем контракт, и я получаю даже десять тысяч лир аванса. Вся сумма возможного гонорара, при продаже книги по 300 лир равна 450.000 лир. Десять тысяч аванса как-будто и маловато, но мне, не имеющему в тот момент ни одной лиры в кармане, они кажутся богатством Карнеджи.

Я не торгуюсь и подписываю контракт.

Книга вышла и имела "хорошую прессу", но эти десять тысяч лир были единственным моим гонораром. Ни лиры больше я не получил до сегодня.

Почему?

В контракт не был внесен пункт, утверждающий за мной право контроля продажи книги издательством. На все попытки адвокатов Международного Красного Креста, к помощи которых я прибегал, Монтворо неизменно отвечал, что продажа не превысила еще суммы аванса, хотя неизменное присутствие моей книги в витринах книжных магазинов Рима и Неаполя утверждало обратное. В Италии издательства продают магазинам только за наличный расчет.

И все-же я хорошо сделал. Спешная, напряженная работа над книгой вернула мне веру в себя. При помощи переводчицы, обитальянившейся латышки Ирины Долар я в августе 1945 года поместил в венецианском журнале "Lo Specchio" две моих первых в Италии антисоветских статьи. Вероятно, вообще первых в ней, после падения Муссолини.

Чувство обреченности, неминуемой гибели, бесцельности борьбы исчезло. Пружина сопротивления, смятая в комок в майские дни 1945 года, в августе уже распрямлялась и крепла.

—Есть еще порох в пороховницах! — кричал мне из витрин венецианских книжных магазинов старый Тарас Бульба, щеголявший на обложке итальянского издания в лихой черкеске, с непомерными усами, длиннейшим пастушеским кнутом и . . . в шпорах . . .

Иным он и не мог появиться в Италии. Это было бы неприлично. Позже я видел на экране, в такой же черкеске и даже со стэком, Дубровского. Видел и Потемкина, дуэлирующего с Калиостро, видел и худенькую вертлявую и чернявую Матушку-Екатерину, беспрерывно хлопающую стаканы "водка", подносимые ей бородатым, одетым, как архиерейский певчий дней былых, Безбородко.

Вы думаете, читатель, что только пинии и пальмы растут под небом Италии? Это все наши поэты выдумали. Клюква, тенистая, развесистая клюква — самое распространенное дерево в этой стране.

Но не будем строги к бедным итальянцам. Мудрые знатоки "души востока" и в Лондоне и в Вашингтоне

по сей день глубокомысленно изрекают свои великие истины, сидя под тем же деревом.

Первые главы книги "La panorama delle letteratura russa contemporanea" закончены, переведены и сданы в издательство. Моя переводчица, студентка славянского факультета Ирина Долар оказалась, — кроме прочих ее достоинств, — вдумчивой, бережной к текстам подлинников поэтессой-переводчицей. Все приведенные мною отрывки стихов даны ею в ритмической форме, с сохранением размеров и большой близостью к оригиналам. Она не только знала, но и чувствовала оба языка, и ее переводы Блока, Есенина, Гумилева, Маяковского позже не раз появлялись в итальянских журналах при рецензиях о книге и в отдельных статьях.

—Не могли бы вы, профессоре, сказать это мягче, немножко сгладить ваши примечания?

Это говорит издатель Монтворо. Перед ним — листы перевода. Его глаза еще более мягки и грустны, чем обыкновенно. Прямо ангел рафаэлевский, а не ловкач-издатель.

— О чем вы говорите, дотторе?

— Смотрите, какое впечатление создают ваши биографические сведения: Гумилев расстрелян, Клюев погиб в концлагере, Есенин повесился, Маяковский застрелился . . .

— Ну, и что же?

— Такую книгу не будут покупать! И самое название главы "Гибель поэтов"? . . . Разве это возможно?

— Все факты верны, дотторе. Не могу же я заставить расстрелянного Гумилева второй раз умирать от тифа или холеры?

— Но это же ужас!

— Вполне с вами согласен.

— Я не коммунист, профессоре, я демократ. Но я хочу объективности.

— Я вам даю только точную запись фактов. Где же здесь субъективная их оценка?

—Но нам не поверят!... Вся пресса говорит о расцвете культуры на вашей родине . . .

— В вашем Риме, дотторе, доживает теперь свой век Вячеслав Иванов, поэт-символист, соратник и вдохновитель вот этого самого замореннoго в СССР Блока, "Незнакомкой" которого вы изволите восхищаться. В Париже известный вам Ремизов, Бунин, недавно там умер Мережковский. Декоративную часть вашей знаменитейшей миланской "Скала" ведет Бенуа, сын крупнейшего русского художника, а отец его — тоже в Париже. Я назову вам еще десятки имен первоклассных русских писателей, художников, музыкантов... Как вы думаете, по какой причине они сидят здесь, ютятся в мансардах и питаются жареными каштанами, а не возвращаются на свою родину, где так хорошо живется артистам?

— Да . . . но . . . — глаза Монтворо совсем тускнеют. Вот-вот из них брызнут слезы. — Но все это очень странно . . .

Петлю Есенина, пулю Гумилева и прочие мероприятия партии по развитию русской культуры, "национальной по форме", мне удалось отстоять. Но при выпуске книги Монтворо, доктор миланского университета и член христианско-демократической партии, все-же отхватил последнюю главу, в которой я рассказывал о "творческом плане", "социальном заказе", "ждановщине" и прочих подобных, пожалуй, небезинтересных для итальянского читателя вещах. Взамен этого он всадил в книгу портрет Ленина, "купающихся красноармейцев" Петрова-Водкина и какой-то индустриальный пейзаж . . . Тарас Бульба ведь не может обойтись без кнута и черкески, как же лишить Есенина ненавистной ему фабричной трубы и Гумилеву обойтись без Ленина, пославшего ему смертную пулю?

Монтворо был по-своему прав. Он выражал желание видеть итальянской интеллигенции, желание ее видеть свою оценку фактов, но не самые факты.

"Тем хуже для фактов", — воскликнул когда-то Гегель, вступив с ними в некоторые противоречия. Почему же отставать от него доктору философии Монтворо?

И не ему одному. Позже, в Риме, я познакомился с

главою итальянских "знатоков русской души" профессором Эрколе Ло-Гатто, переводчиком с русского, автором четырехтомной "Истории Русской Литературы" и множества статей о ней, деканом Славянского Факультета Римского университета и главою Общества итало-советской культурной связи, блестяще говорившим по-русски, по-польски, по-чешски и по-сербски, безусловно серьезным ученым. Его представление о России, где он два раза побывал в советское время и где сам в период НЭП-а скупил на Сухаревке у торговавшей там русской профессуры ценнейшую русскую библиотеку, ничем не отличались от воззрений Монтворо.

И все-же понять Россию он не мог, даже стремясь к точной передаче ее быта и языка. Случались нелепые комизмы. Давая перевод к фильму "Иван Грозный", он выразил русское свадебное восклицание "Горько!" итальянским термином сивухи — очень плохого вина. Восхищенные фильмом зрители несколько недоумевали, почему русский царь на своем свадебном пиру угостил своих "boiare" такою дрянью. Но он был точен в переводе.

"Вот как жилось бедным русским под гнетом их царей", — вероятно сочувствовали бедным русским боярам зрители, расходясь.

Вечером дня беседы с Монтворо мы сидели у профессорской четы Паллукини в его кабинете со стенами, сплошь заставленными книгами. Разговор шел на ту же тему.

— Как? Мы итальянские интеллигенты имеем дикие представления о России? . . Мы, читающие Tolstoi и Dostoevski — восклицал профессор, — вот, вот глубокая монография о ваших замечательных Nesterov и Vasnezzov, вот о вашем Andreo Rublev — вытягивал он с полок роскошно изданные книги.

— Вот еще опровержение ваших слов, — улыбнулась милая и изящная, как всегда, профессоресса. —Я приготовила вам сюрприз, достала русские пластинки.

Она включила электрический грамофон, и из него понеслись звуки "Испанского Каприччио" Римского-Корсакова.

— Как это прекрасно! Как сумел он уловить и развить эти столь чуждые ему ритмы и мелодии... Необъятна душа славянина... — молитвенно шепчет синьора.

"Каприччио" сменяет "Трепак" Мусоргского в исполнении какого то русского баса...

...Крутит поземка... вихрится русская метелица...

Эй, мужичек, старичек убогий,
Пьян напился, поплелся дорогой!...

...взвизгнули и завились в снежном хороводе кудлатые ведьмы...

А метель-то злая поднялась, взыграла,
С поля в лес дремучий мужичка загнала!...

— Что это? — спрашивает меня венецианка. — Вы говорите, "trepac" - пляска? Но как же можно танцевать под такой бешеный изменчивый ритм?

Эх, небеса, небеса да тучи,
Степь да метель, да снежок летучий...

...кружатся, крутятся злобные, колючие морозные ведьмы.

За окном тихая гладь озеркаленного розовой луной канала.

Да, здесь нельзя плясать под этот ритм.

Возвращаясь в наше палаццо, мы с женой останавливаемся на мосту. Под нами — темный бархат канала. Сегодня какая-то феста, праздник.

Пролеты каменных арок играют огоньками разноцветных фонариков. Их отражения порхают по бархату резвыми, шаловливыми мотыльками. Итальянцы любят и умеют легко жить.

Запад есть Запад. Восток есть Восток.
И с места они не сойдут.
Пока не предстанет Небо с землей
На Страшный Господний Суд —

цитируя я Киплинга.

Не сойдут и не поймут.

— А сам-то ты себя понимаешь? — спрашивает жена. — С кем ты? Куда ты стремишься? К кому? Кто сам-то ты? Знаешь?

Я смотрю на темный бархат канала с резвящимися

на нем мотыльками и пытаюсь найти ответ в сумраке его глубин, хранящих тайны ушедших веков.

— Нет. Не знаю! Идем!...

...Пьян напился, поплелся дорогой, — напеваю я, — а метель то злая... поднялась... взыграла... Эх!

9. КУДА ВЕЛИ ВСЕ ДОРОГИ

Прожив шесть месяцев в Венеции, я кое-как объясняюсь по-итальянски и смог понять обращенную ко мне, судя по протяженности, очень красивую речь демократического чиновника. Впрочем, смысл ее был краток и определенен.

— В течение 48 часов вы должны выехать из Венеции.

Цифра 48 была для верности даже выписана на бумажке. Подытожив этой цифрой всю бездну перлов своего красноречия, чиновник показал мне часы на его левой руке, обвел пальцем правой полный круг по циферблату и подтвердил ультиматум:

— Quoranto otto ore!

В остроумии при объяснении с иностранцем ему, конечно, отказать было нельзя.

— Куда? — спросил я.

— Куда только вы пожелаете! — любезно развел он руками, символизируя этим движением всю необъятность мирового пространства.

В моем представлении вселенная была несколько меньше, а, принимая во внимание все свободы западного мира, в том числе незафиксированную еще в числе демократических свобод свободу передвижения, она ограничивалась для меня приблизительно Италией, на всей территории которой, кроме Венеции, наиболее знакомым мне человеком был Его Святейшество Папа Пий XII. Его умное и энергичное лицо я хорошо запомнил по портретам.

Спрашивать, почему меня выселяют, я не стал. Причины подобных путешествий перестали меня интересовать еще на моей свободнейшей родине.

— В Рим, — твердо произнес я, зная с детских лет, что именно в этот город ведут все дороги, следовательно, опасность заблудиться отпадает.

— Прекрасно! Завтра утром вы получите все бумаги. Аванти, синьор, аванти!

На обратном пути я забежал в иезуитский монастырь и поведал о происшедшем падре Лозару.

— Через два часа я буду у вас, — ответил он, — тогда будем знать все и подумаем . . .

Весть о моей эвакуации, понятно, взволновала русских, обитавших во дворце Дожа Фоскарини.

Еще бы! Все ходим под Богом! Нынче — ты, завтра — я. Но явившийся в срок падре внес дозу успокоения.

— Я узнал, что приказ относится только к вам одному.

— Но чем я лучше других?

— Ваша книга, — поднял вверх падре, — о ней узнали коммунисты, чиновники муниципио. И, кажется, несогласны там с чем-то . . .

— Но ведь в Италии свобода слова?

— Конечно. Вы и можете писать, что вам угодно . . . Почему вам этого не делать в Риме?

— Кажется, прежде всего мне придется купить три билета в этот город, что при наличии ста лир в кармане несколько затруднительно.

—Господь о вас позаботился, — падре сложил руки, как-бы ловя мячик, падающий с неба, точь-в-точь, как статуя Сан Джеронимо на фронтоне его монастыря, — я прошел в муниципио и уговорил их оплатить вам проезд. Там еще прислушиваются к голосу Святой Церкви . . .

— Я тоже об этом подумаю, — решительно и деловито заявила венецианская мадам Беттерфлей, участвовавшая в совещании.

И подумала. Вечером при прощальном визите к профессорской чете ее муж вручил мне конверт.

— Двадцать тысяч лир. Вы расплатитесь из гонорара. Я уже договорился с Монтворо. Лишь подпишите доверенность.

Милый бедный мечтатель! Вряд-ли он и теперь, через пять, лет, получил по этой доверенности хоть пять лир. В своем последнем письме он заверял, что не претендует на получение этой суммы...

Но муниципио на билеты деньги выдало. Добрый падре Лозар, провожавший нас, перекрестил отходящий поезд и мы покатили на юг, одною из тех дорог, которые неминуемо скрещиваются в Вечном Городе.

Кроме благословения, падре вручил мне 1.500 лир и письмо.

— Возблагодарим Господа! Я успел побывать еще у начальника карабинеров и получил для вас на питание в дороге. Там тоже прислушиваются к голосу Церкви.

Милый падре опять сложил руки корзиночкой и поймал упавший в мой карман небесный дар.

Я перекрестился под пиджаком. На станции было людно, а от навыков, привитых в стране, освободившей свои народы от "опиума", отвыкнуть не так легко. То, что дары Неба поступают к нам иногда и при посредстве шефа карабинеров, я полностью усвоил несколько позже.

На конверте данного мне письма стояло: Padre Filipp de Redgis. Via Carlo Cattaneo, 2. Collegium Russicum.

Больших сведений об этом адресате отец Лозар мне сказать не успел, разъяснив лишь на своем объединенно-славянском диалекте:

— Тамо русские... Русские, какие за Папой...

И вот, дорога нас, действительно, подводила к Риму. Вдоль линии железной дороги уже потянулась цепь арок акведука. Воспринятая в юности сентенция не обманула. Позже я узнал ее глубину: действительно, все дороги вели в Рим... По крайней мере нас, российских профугов 1945 года. Эти дороги тянулись и из-под альпийского Толмеццо, и из доков солнечного Неаполя, и из Белграда, и из Тираны, и из Франции. А если бы поехать по ним в обратном направлении, так можно было бы и до Арарата и до калмыцких степей добраться...

Точка скрещения этих дорог была возле двери с надписью: Pontificium Collegium Russicum, вернее, в полутемном, торжественно-тихом кабинете за этой дверью, в которую я и вошел по единственному имевшемуся у меня адресу.

Тишина царила и в приемной перед дверью этого кабинета. В ней говорили шопотом, как невольно хочется говорить в пустой церкви. Торг из-за места в очереди на прием, столь привычный нам всем, здесь был просто немыслим. Молчаливые фигуры чинно сидели вдоль стен и лишь жестами указывали на очередного.

Кого только здесь не было!

Вот явно шедший по одному со мною пути, но более тернистой и ухабистой тропой. На нем еще сохранились серо-зеленые штаны и какое-то подобие рубахи, запечатлевшей на себе отслоение пройденных им земель. И чернозема счастливых долин Тироля, и желтой терры Сиенны, и серой пыли Кампании . . . Своими боками географию Европы изучил!

А рядом с ним — иллюстрация русской истории: лет на сорок постарше его, в черной, поблескивающей стеклярусом шляпке фасона 1914 года, такой, по какой сразу узнается русская женщина, пробивавшаяся вслед за своим мужем — прапорщиком, капитаном, генералом — сквозь давку на пристани Севастополя или Новороссийска. С чайником и завернутой в газету рубашкой в руках вступила она тогда на почву Европы где-то в Варне или Салониках . . . И снова ползет по ней теперь . . . Только чайник в Белграде остался . . . Там же и муж . . . В могиле . . .

В ненаписанной еще истории российского изгоя года 1920-ый и 1945-ый плотно сомкнутся здесь, на улице какого-то непонятного Карла Каттанео, под Голгофским Крестом с повисшим на нем Телом Распятого . . .

На этот крест в углу комнаты с огромным стрельчатым окном смотрят сейчас раскосые бесстрастные в покорности воле судьбы глаза приволжского калмыка . . . Какая степная кобылица принесла его сюда на своей взмыленной в бешеной скачке спине?

О, Русь моя! Иль это только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

**
*

Я выхожу из кабинета и слышу доносящееся откуда-то издалека церковное пение. Сворачиваю в коридор и иду на эти звуки.

Коридор кончается. Впереди мерцают желтые огоньки свеч и лампад. Передо мной высокий русский иконостас, хранящий тайны молитвы и жертвы. Всенощная только что началась. Хор давно уже невиданных мною русских монахов давно перенесен сюда, в сердце латинского мира.

— Благослови, душе моя, Господа...

Я прислушиваюсь к волнам строгого напева. Нет, это не празднично пышные хоралы Львова, не сладкоструйные переливы мелодий Бортнянского. Такие, скупые на нежность, суровые, как ели Муромских дебрей, твердые, как кисть суздальского иконописца, распевы я слышал в Фролищевой пустыни, древней, убогой обители, затерянной за Вяткой, Клязьмой в немерянных Гроховецких лесах.

Давно. . .

...Пришедшие на запад солнце видевшие свет вечерний поем Отца и Сына и Святаго Духа...

С высокого постава перед иконостасом на меня смотрит Чудотворец и Угодник Божий, но не сокрушитель Ария, властный и грозный епископ Ликийских Мирр, а Святитель Никола, что в метельные ночи заблудившихся странников на дорогу выводит, что не дает лиху-полымю по крышам избяным скакать в суховейную пору, что сермяжную Русь от напасти блюдет... Наш... Милостивый.

Он!

10. БРАТЬЯ

Внешняя поверхностная часть истории Pontificium Collegium Russicum — Русской Католической Семинарии в Риме, а вместе с нею и всего Восточного Обряда Западной Церкви, ясна. Линия, проведенная по ней в глубь веков, идет через Вл. Соловьева, несколько русских аристократических семей, виллу кн. Зинаиды Волконской, до сих пор носящую в Риме ее имя, П. Я. Чаадаева, тайный католицизм мистических поисков Александровской эпохи, мальтийский крест Павла Первого, дипломатические миссии Поссевина, Флорентийскую Унию и упирается в нерушимую стену Московского Православия, у подножия которой упала шапка единственного русского кардинала Исидора и венчанная Мономаховой шапкой голова неизвестного удальца, тайна имени которого до сих пор скрыта в архивах Ватиканского книгохранилища.

Но история времен грядущих нащупает и другую, внутреннюю линию к разгадке этого странного горения русской одинокой иноческой лампадки среди блистательных, пышных паникадил величественной столицы Престола Святого Петра. Эта линия скрыта в глубинах религиозного сознания и идет в обратном направлении из веков к нашим дням.

Что привело к тихому свету русской лампады аристократа французской крови и французской культуры отца Филиппа де Реджис, немцев, итальянцев и даже испанцев, ставших священниками Восточного обряда, черпающими сладость молитвы не в звонком ансамбле каскадов латинского фонтана, а в тихоструйном журчании одинокого славянского ручья? Что?

Что заставило этого потомка крестоносцев Людовика Святого понять и принять мятущуюся душу капитана РККА, а теперь студента Руссикума Павла Б., знавшего о Христе только из учебника Емельяна Ярославского? Что?

Что, вопреки голосу всего "священного" и "прогрессивного" Западного мира, клеймившего нас "из-

менниками" и "предателями", побудило повторить здесь позабытые этим "просвещенным" миром слова:

— Братья во Христе.

Что?

В непознанных глубинах нашей духовной памяти живут непонятные нам самим представления. Отблески единого, одаряющего жизнь источника света. Порой они вспыхивают, и тогда мы видим позабытое, засыпанное пеплом сгоревших дней, но все-же живое и живущее в нас.

Златоустный Иоанн, воспринявший высокий пафос Гомера, в увядавших садах Афинской Академии, излил его с епископской кафедры Византии в пламенном прославлении Распятого.

Другой Иоанн, визирь великолепного Халифа, возросший в неге царственного Дамаска, вышел из пышной столицы с нищей сумой, чтобы в пустыне слагать Ему славословия и трагически покаянные гимны.

Не их ли огненные слова, не их ли проникновенные песнопения донеслись сюда из глуби веков?

Свет с Востока. Не один ли из его лучей упал сюда, в этот тихий, полный молитвы храм, неприметный рядом с пышным великолепием одетого в мраморные ризы святилища Запада?

Выйдя из мягкого сумрака русской церковки на залитую колючим солнцем площадь, я замираю перед величественной громадой собора Санта Мария Маджоре. Внутри него — торжественная тишина. В католической церкви в этот час нет службы. Я медленно иду между разубранными всеми оттенками мрамора, вызолоченными колоннами, вглядываясь в величавые статуи и пышное, сочное, земное многоцветие фресок. Я иду и вдруг останавливаюсь . . .

. . . Из-под купола, над блистательным жертвенником, на меня смотрят глаза Жертвы, бледного, скорбного лика закланного Агнца. Под ним и с боков — такая же бледная прелесть зелени неземных райских деревьев . . . Не лавров, не мирт, а каких-то очень похожих

на весеннюю, исполненную благой радости Воскресения березку.

— Что это?

—Византийские мозаики IV века, — поясняет мне монах в серой сутане.

Через год я случайно узнал, что в горах Сицилии до сих пор сохранилось несколько православных приходов, — а еще через два года в маленькой церковке лагеря Пагани служили панихиду по Мученике Русском Царе. В то время там подобрался хороший хор. Председатель местной монархической организации синьор Сальваторе Розалио пришел на эту службу.

Очень милый, рядовой итальянский провинциал, владелец кондитерского заведения, он взял поданную ему свечу и стал внимательно слушать "русскую мессу".

—Николая, Алексия, Александры... — ловил он знакомые звуки имен. Это было просто и понятно, но вдруг иные, незнакомые, непонятные ему, неаполитанцу, звуки полились в стенах маленькой бедной церкви, захватили и понесли куда-то в безбрежную высь Духа его маленькую душу фабриканта леденцов.

— Со святыми упокой . . .

И взвилась эта душа выше господствующей над всем Пагани кампаниллы Св. Альфонса, выше вершин видного с его улиц Везувия . . .

. . . Христе, души раб Твоих . . .

Куда летала она, этого не знал синьор Сальваторе Розалио, кондитер. Не знал он и того, почему крупные слезы покатились по его обожженным южным солнцем щекам, почему, выходя с панихиды, не мог вымолвить слова он, неаполитанец, никогда не закрывающий своего рта.

Если это узнает, разыщет под грудами мусора наших дней, на свалке пустых, растленных слов историк дней грядущих, то он найдет внутреннюю линию, ведущую в маленькую русскую церковку на площади столицы великих Пап, живую и живущую рядом с величавой громадой Собора Санта Мария Маджоре.

***

Запад есть Запад, Восток есть Восток,
И с места они не сойдут, —

писал поэт Запада, ненавидевший Россию и презиравший ее с высоты своего англо-саксонского мирового величия. Но . . .

В древнем соборе города Реймса и теперь хранится Вечная Книга, на которой клялись следовать велениям Единой Истины все короли Франции. Это Евангелие переписано рукой Анны Ярославовны, русской княжны и французской королевы.

Величайший из материалистов Запада, Карл Маркс, на седьмом десятке лет своей жизни выучился русскому языку, чтобы прочесть в подлиннике поэму о русской душе русского князя Игоря, написанную в том веке, когда Лондон, где читал "Слово о полку Игореве" Карл Маркс, был жалкой, грязной деревушкой на острове свинопасов, притоне морских разбойников.

Сотни художников всего мира бродят теперь по тихим храмам Равенны, ловя в откровениях, покрывающих их стены восточных мозаик, отблески утраченного Западом духа . . .

Практичные янки упростили эту задачу: скупили и перевезли в Нью-Иорк все творческое наследие русского художника Н. Н. Рериха, глубже всех наших современников проникшего в недостижимую даже для всемогущего доллара тайну Востока.

Нет. Пожалуй, Запад иногда сходит со своего места и идет к Востоку не только для торговли с людоедами.

**
*

На полках библиотеки Руссикума много русских книг. Часть их попала сюда, будучи спасенной из Синодальной библиотеки при распродаже ее в розницу американским коллекционерам, любителям непонятных редкостей. Самые ценные из этой уцелевшей крупицы хранятся не в самой библиотеке, а в келье древнего старца, философа и богослова отца Станислава Тышкевича.

Я был у него, и мы бережно перелистывали пожелтевшие листы крупной густой славянской печати, узорной вязи полууставной рукописи.

В углу кельи темнел скорбный лик Спаса, а под Ним светилась желтеньким огоньком самая простая стеклянная — какие в каждой избе бывали — неугасимая лампадка...

Где видел я ее, — вот такую, — в последний раз? Где?

В туманных глубинах памяти всплывают неясные тени черных елей под усыпанным бледными звездами небом, в дебре далекого северного острова; окно землянки последнего еще жившего в ней схимника Земли Русской, огонек такой же, совсем такой же лампады под таким же темным ликом Спаса.

Сам я смотрю сквозь окно, не смея взойти . . . Я вижу только темную тень инока, склоненного перед Неугасимым Светочем, и его белую бороду, спадающую на грудь из-под схимничьего клобука . . .

Я стряхиваю туман видений. Не надо! Ведь я же в Риме.. .а не там... не на Соловках...

Передо мной белая борода отца Станислава. Над ним — лик Спаса, со светящейся бледным огоньком неугасимой лампадой.

— Братья?

11. ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РИМА

Смотрящим с самолета на современную Москву она представляется огромным коническим муравейником, в центре которого возвышаются многоэтажные громады дома Советов, Интуриста и других новостроек. Вокруг них — широкий пояс дореволюционной стройки — домов в шесть-четыре этажа. Чем дальше от центра, глубже и глубже врастают они в землю, сменяясь одноэтажными домиками Потылих, Черкизова, Сокольников и, наконец, совсем уходят в глубь ее, пряча в ней подлин-

ное лицо социалистических достижений — землянки "шанхаев", "нахаловок", "самостроев", налипших грязною зловонною плесенью вокруг корпусов сверхмощных комбинатов.

Рим дает обратную картину, негатив. Он — впадина, высокие края которой — новые рабочие кварталы, возникшие при Муссолини. Стекаясь к центру, они сходят на уровень конца прошлого века, и, наконец, стремительно вгрызаются в глубь веков ямами отрытых от их наслоений форумов, большого цирка...

Меж ямами — холмы. С них уже третье тысячелетие сползают легенды, растекающиеся по миру. В самом Риме эти образы минувших эпох наслаиваются друг на друга, покрывают его плотным пластом и, кажется, нет в нем камня, не обросшего мохом воспоминаний.

Близ берега далеко не поэтичного мутно-желтого Тибра, после купания в котором надо обмываться под душем, стоит скромный круглый мавзолей, обрамленный темною зеленью кипарисов — дерева забвения и смерти. Под ним — куча ржавых консервных банок, пробитых кастрюль и сковород. Теперь здесь свалка мусора, но некогда была усыпальница величайшего из императоров Рима, божественного Октавиана Августа, оставившего свое имя протянувшимся в веках вереницам властителей Империи.

Иностранные туристы сюда не заходят, и даже сами итальянцы, столь любящие объяснять всем и каждому кормящее их наследие, часто лишь пожимают плечами на вопрос об имени этой руины.

Узкий, извилистый переулок ведет от тихих, тенистых буков набережной к замусоренному огнями реклам шумному Корсо. Здесь, на углу такого же переулка — желтый одноэтажный домик с вкрапленными в его стены обломками античных горельефов. Кичиться обломками прошлого и жить за их счет — основная традиция Италии. Мудрая традиция. Не будь ее — не было бы и Италии.

Теперь знатные иностранцы не заглядывают в этот домик, но было время, когда короли, герцоги и пэры с

трепетом брались за кольцо его двери. Кольцо висит до сих пор. То же самое. Оно не сменилось.

В этом домике была мастерская скульптора Антонио Канова, и весь переулок via della Colonnetta, насыщен легендой об этом коронованном славой гения повелителе мрамора. На углу, так же, как и полтораста лет назад, торговля вином, такими же оплетенными сухим листом кукурузы фиасками кианти. Бочка, стоящая у ее дверей — правнучка той, стоявшей там же бочке, спрятавшись в которой обманутый любовник Канова выслеживал свою неверную фиданцату Доменику.

Легенда иногда шутит над реальностью: кухарку Русского Собрания в Риме, занимающего теперь студию Кановы, зовут тоже Доменикой. Это имя носили и две ее предшественницы.

Реальность в ответ тоже шутит над легендой: властвовавшая в студии Кановы Доменика была молода и прекрасна, чего совсем нельзя сказать о тепершних наследницах ее имени и территории. Повелительница кухни Собрания, Доменика наших дней — негатив своего прототипа, богини храма — студии Кановы.

В этой метаморфозе тоже власть традиции, вернее, ее итальянская специфика. Если, осматривая Колизей, вы рискнете спуститься под его аркады, в помещения, где некогда гладиаторы и христианские мученики по разному, но мужественно и твердо готовились к подвигу преодоления страха смерти, то через минуту вы выскочите оттуда, отплевываясь и зажимая нос. Петронии и Виниции наших дней использовали эти сводчатые подземелья для более отвечающих современности потребностей. Кому теперь нужен подвиг?

Переступив порог, стертый еще ногами паломников в храм Кановы, вы попадете в иной слой легенды — в туманную прелесть русского Рима.

— Русский Рим? Что ты выдумываешь, автор? — спросит меня читатель.

— Да, русский Рим, — отвечу я, — он не моя выдумка, он был и он есть.

Незримые, но крепкие нити связывают русскую ду-

шу с Вечным Городом. Мгновениями они претворяются в реальность и застывают в ней в осязуемых формах.

Недалеко от Русского Собрания, на одной из пересекающих Корсо улиц, есть кафе. В нем — мемориальная доска. На ней, — имя Николая Васильевича Гоголя. Путь на виллу Зинаиды Волконской укажет вам каждый карабинер. Покопавшись в путеводителе, вы можете отыскать мастерские Иванова, Брюлова, Кипренского. . . Даже Виа Аппиа хранит для русского воспоминания о последней прогулке по ней юного Тургенева с умирающим Станкевичем.

Да, русский Рим, из которого Гоголь увидел свое "прекрасное издалека", Иванов — идущего к людям Христа, а византийский монах, ученик Саванароллы — далекие, зримые лишь оком провидца очертания Третьего Рима, маячившего ему путь к себе от храмов и дворцов Первого.

Двери бывшей студии Кановы вводят путника в самый яркий уголок русского Рима, в приют и жилище творимой им легенды. Прошлое крепко и неразрывно связывается здесь с настоящим. На стене зала, среди портретов царей и императоров, прямо перед входом величаво встает во весь свой могучий рост царственный красавец Николай Первый, а под ним возвышается на целую голову над окружающими мощная фигура удивительно схожого с ним его потомка — главы русской колонии в Риме, князя Сергея Георгиевича Лейхтенбергского-Романовского.

Легенда времен ушедших рассказывает: в те дни, когда армии Наполеона подступали к Москве — третьему Риму, — одна из них, под командой вице-короля Италии принца Евгения Богарнэ, сына императрицы Жозефины, встретила на своем пути под Можайском бедный, но древний монастырь, иноки которого затворились в ветхих стенах своей обители.

Вице-король Рима раскинул свою ставку на ночь в бору и отдал приказ с рассветом открыть огонь по дерзкому монастырю и смести его древние стены с лица русской земли.

Батареи заняли позиции.

Но ночью в палатку принца вошел старый русский монах.

— Не тронь обители сей, — сказал он вице-королю, — помилуй ее и Господь помилует род твой, ибо суждено ему молиться в этой обители и служить той земле, по которой ты идешь с огнем и мечем...

Сказал и исчез. Ни часовые, ни дежуривший в ту ночь офицер не видели монаха. Решили — приснилось принцу...

Но когда встало солнце, разнесся призывный звон колоколов монастыря, раскрылись для молящихся его святые врата и разбуженный этим звоном принц-полководец вошел в них не грозным врагом, но воином, чтящим Христа. Войдя, он стал, пораженный перед образом Святого основателя монастыря.

— Он! Он! Это он приходил ко мне ночью!

Легенду сменяет история. Сын принца Богарнэ, получившего в удел от Венского Конгресса крохотное Лейхтенбергское герцогство, покинул его, чтобы вступить на службу России, жениться на дочери ее царя и основать новый род русских князей Романовских.

Проходит век. И вновь стелется туман легенды. Он клубится легкими тенями над каналами Венеции, под аркадами Фиренцы, Генуи, Милана...

Она струится сквозь колючую проволоку опутанных ею лагерей. Эту легенду пересказывают друг другу какие-то непонятные призраки-люди, появляющиеся в сумерках близ кухонь английских, австралийских, польских полков. Эта легенда повествует:

— В Риме есть русский князь. Настоящий русский князь русского царского рода. Он поможет... стать снова человеком, а не тенью...

Люди-тени скользят меж столпившихся на подъездных путях вагонов, сливаются с ними, исчезают и вновь обретают кровь и плоть у дверей бывшей студии Антонио Кановы.

Плоть от плоти.
К крови — кровь.

Педантичному и точному "ученому" расисту пришлось бы много потрудиться над генетическим анализом

крови князя Сергея Георгиевича Романовского. Он нашел бы в его жилах и капли крови бешеного вина креолки Жозефины, и струйку текущую из пламенных сердец рыцарей-крестоносцев, виконтов Богарнэ, и царственный пурпур рода Романовых и крепкий настой народного старейшины Николы Петровича Черногорского...

Трудно, очень трудно было бы разрешить эту задачу ученому генетику...

Но подсоветский инженер кооперации Светлана, еще недавно бывшая комсомолкой, имевшая очень слабое представление о генетике и никакого о генеологии, разрешила ее, как некогда Александр, разрубая хитроумный Гордиев узел.

— Знаете, — сказала она мне однажды, сидя в уголке зала Собрания и смотря на проходившего по нему князя Романовского, — знаете, это хорошо, очень хорошо!

— Что именно хорошо, Светлана?

— А вот то, что у нас здесь русский князь! Настоящий, наш русский, а не какая-нибудь там сволочь! — язык пылкой Светланы был всегда образен и ярок, хотя и не вполне литературен.

Я не возражал, и мы замолчали, но в комсомольских мозгах кооператора Светланы, видимо, рождались какие-то новые генетические гипотезы.

— Знаете, — дернула она меня за рукав, — мы его женим...

— Кого, Светлана?

— Его Величество, — указала она перстом на князя.

— Не Величество, а Высочество, Светлана, Величество — это император.

— Какая там разница! А Величество лучше, культурнее...

— Причем здесь культура?

—Ну, вежливее, что-ли, по вашему, деликатнее... — эти буржуазные термины, в силу своей комсомольской закалки Светлана недолюбливала, но генетическая гипотеза засела в ней крепко, и через несколько дней.

когда князь С. Г. Романовский посетил нас в нашем подвальном противорепатриационном убежище на Монте Верде (о нем речь впереди), Светлана решила ее реализировать:

— Знаете, Ваше Высочество, мы вас женим . . .

В этой детали русский князь крови и русских кровей комсомолка несколько разошлись, но в основном расхождений не было: и он, и она были русскими.

Один из сослуживцев князя Сергея Георгиевича по Российскому Императорскому Флоту рассказывал мне о нем:

— В юности, когда князь, будучи еще лейтенантом и командуя миноносцем, зашел однажды в Стокгольм, он, как родственник престарелого короля Густава, сделал ему, конечно, почтительный визит.

Старый король отнесся несколько покровительственно к своему внучатому племяннику.

— А, ты уже командуешь миноносцем? Прекрасно. А на каких судах вашего флота ты раньше плавал?

— На "Гангуте"; а потом на "Полтаве"! — отрапортовал шведскому деду русский внук, после чего дед перевел беседу на другую тему.

Князь Сергей Георгиевич Романовский был единственным представителем своей Фамилии, сражавшимся в рядах Белой Армии.

Идя однажды со мною по Корсо, князь вдруг неожиданно спросил меня:

— Вы знаете, как моя фамилия?

— Надеюсь, Ваше Высочество, — изумился я.

— Как? Скажите?

— Князь Романовский, — ответил я с ударением на втором "о".

— Вот и ошиблись! Я Романовский . . . — поправил он меня, ставя ударение на "а".

Я слишком люблю и чувствую русский язык, его оттенки и их значение, чтобы не понять глубокого смысла этой маленькой, поверхностной акцентировки.

Русская колония в Риме, несомненно, самая аристократическая во всем рассеянии. Она не велика — не более ста семейств, но не менее половины их титуло-

ваны, а другая половина представительствует в эмиграции от высших кругов петербургского чиновничества, гвардии, старых дворянских родов.

Оболенские, Волконские, Щербаковы, Куракины привели сюда линию Рюрика. Голицыны, Радзивиллы, Тышкевичи занесли к стенам Вечного Города семя Гедемина.

Струйки теней, стекавшиеся в зал с портретами русских царей на улице Колоннетта, в тихий, торжественный полусумрак меркнущей легенды, принесли в себе волну иной, столь же русской, российской крови.

Чьей-же? Какой линии?

Узла этих нитей не распутает ни один генетик. Самый мудрый из них, самый ученый не рассмотрит при помощи самого сильного микроскопа где свивается яркая тонкая нить буйного Запорожья с крепким суровьем Муромских лесов, где псковская льняная пряжа переплетена и крепко связана с нежными шелками Закавказья.

Подлинный родовой аристократизм неизбежно национален и народен. Именно в этом его коренное различие от космополитического "мещанина во дворянстве".

Народно-национальное единство неминуемо порождает общий, понятный для всех его социальных ветвей язык. Так в стенах Русского Собрания в Риме, в мирке легенд о великом прошлом России, создался общий язык и глубокое взаимное понимание между старейшими из "старых" и новейшими из "новых" российских изгоев.

Не так-ли родилось и жило в сердце своего века братство Рюриковича князя Пожарского и нижегородского мясника Козьмы Минина.

Легенда, пышно зацветшая в смутные годы на берегу Волги, смятая и растоптанная новым безвременьем, вновь ожила малым, но ярким цветком на берегу Тибра.

Так думал я в старом доме Антонио Кановы, глядя, как князь С. Г. Романовский пожимал руку недав-

нему еще красноармейцу Володе-певцу из племени российских беспризорников.

— Здраствуйте, Владимир Николаевич!

— Дозвольте пять, Ваше Высочество!

Этот несколько пестрый по стилю обмен приветствиями вызывает удивление только у милого Володи, певшего в то время в ночных остериях Рима нежные песни Есенина под тихий перебор неразлучной с ним гитары. Удивляло его собственное отчество: для всех и "там" и "здесь" этого бесполезного, скорее даже вредного придатка к его имени не существовало.

Позже, когда нажим "горячо любимой" родины на наши черепа несколько ослабел, оказалось, что его подлинного, заверенного ЗАГС-ом отца звали не Николаем, а Семеном... Впрочем, и самого Володю звали Гришей...

...И вовсе не было Слепцова,
А был поручик Пирогов...
Да был ли? Справиться бы надо... —

писал когда-то Апухтин.

Но тогда были иные времена. Теперь не то. Это понимали в Русском Собрании и не "справлялись" о прошлом и не предлагали заполнять, как потом в УНРРА и ИРО, консульских и эмиграционных комиссиях сотен стовопросных анкет.

Там просто помогали, помогали россиянину всех племен и наречий, бывших под скипетром и державой Самодержцев Всероссийских.

Вероятно, как-раз поэтому мы, "новые", врали там меньше, чем где-либо, вероятно, даже и совсем не врали за наглухо закрытой дверью библиотеки Собрания, где шли долгие беседы его главы с новоприбывшими, ищущими его помощи. Беседы с глазу на глаз. Там свято хранились ключи от многих тайн извивов и мечтаний людей российских.

Некоторые из них (иными путями) попадали и ко мне. Да, и мой собственный пристрелянный на все дистанции глаз подсоветского репортера рассказывал мне кое-что.

Вот по залу Собрания проходит известный нам

всем услужливый, говорливый духанщик не то из Тифлиса, не то из Пятигорска . . . Эх, дать бы ему шомпола, какой бы шашлык по-карски он изготовил! — думается, глядя на эту кругленькую, перекатывающуюся на коротких ногах фигурку...

А я видел ее в другой обстановке. Не в духане, а в ЦК одной из кавказских компартий. Этот духанщик сидел тогда там за столом президиума.

Мое сильно трепанное ухо крепко травленного волка подслушало уже "здесь" и другое: именно по следу этого "духанщика" пущены особо тренированные ищейки лично знающего его Берии...

...Графиня Ш., носительница одной из звучнейших фамилий России, приседает перед князем Романовским в придворном реверансе, а через минуту "духанщик" из ЦК расшаркивается перед ней по всем правилам вежливости кинто тифлисского майдана. Между ними тихий и долгий разговор. При его помощи графиня обращает в трепанные итальянские лиры ничтожные остатки когда-то всемирно знаменитой фамильной сокровищницы.

—Ах, графиня! Итальянский человэк! Какой это человэк! Одын монолитный джулик! Настоящее партийное едынство, а не нация! — сокрушается экс-член президиума ЦК.

И оба они одинаково хотят... есть.

И оба они одинаково хотят . . . жить.

Нет той области, того угла бытия русских беженцев (тогда еще неудостоенных высокого имени ДиПи), в котором бы Русское Собрание в Риме не оказало бы им посильной помощи.

Кухня Русского Собрания, отпускавшая прежде 10 - 12 обедов в день, стала отпускать 150 - 200 дешевых до смешного и совсем бесплатных обедов. Доменика возопила о помощи, и у плиты появилась еще Аннушка. Американским дядюшкам напомнили об их новоявленных племянниках и по атлантическим волнам приплыл транспорт одежды, которой хватило на всех. Приплывали и доллары. Но и они, и одежда, и записки, шедшие со стола князя Романовского то к каким-то

таинственным полковникам, то к изящно ласковым прелатам, а в результате превращавшиеся в столь нужные потерявшим свое лицо заштемпелеванные доказательства их физического бытия, — все это не было главным.

Этим главным, магнитом, стягивавшим в узкий притибрский переулок и пропитанного до костей традициями Императорской гвардии полковника из Белграда и не выветрившего еще запахов степных трав из своих взлохмоченных вихров красноармейца из-под Белгорода, и смольнянку, и комсомолку, и раскосого калмыка-буддиста, и принесшего на своей шее древний праведный крест уральского казака-старообрядца, и еще недавнего члена ЦК какой-то КП(б), и окаменелого в давности члена союза Михаила Архангела — магнитом для всех была ожившая здесь легенда, древний провидческий сказ о Третьем Риме, в который вели все дороги всех этих без имен, но с единым именем:

—Русь, Россия.

В одряхлевшее усталое сердце дремавшей под чужим небом легенды вливалась новая, беспокойная, дерзкая кровь. Сердце приняло ее и встрепенулось в порывистом биении.

— Никогда за все время своего более чем полувекового существования Русское Собрание в Риме не жило столь активно и импульсивно, — говорил мне один из его старожилов, законсервировавшийся еще с тех баснословных времен, когда русское имя и русский рубль открывали в нем все двери не хуже ключей Св. Петра.

С давно уже нетоптанной эстрады Собрания полились мелодии Мусоргского и Бородина, сплетаясь с мотивами песен, принесенных "оттуда". Еженедельно ставились концерты и доклады на русские темы. Зародился литературный кружок. Зазвучал "Русский Клич", полуподпольный (такова свобода печати в странах свободных демократий) журнал, начавший жизнь с трех листочков текста и живущий до сих пор, до дней, когда из ди-пи, "первопризывников" в Италии волею су-

дьбы и заокеанских учетчиков зубного наличия остался, кажется, лишь автор этих строк*).

У меня очень невыгодная наружность. Но, может быть, и выгодная. Сам не знаю. Факт лишь тот, что по внешности меня всегда принимают не за то, что я есть. В глинобитных городках Средней Азии меня считали "центровиком-коммунистом из Москвы". Я им не был, а приехал туда непосредственно с Соловецкой каторги. В Белграде меня ославили немцем, минимум фольксдойчем, но я — зоологическая помесь великоросса с татарином, без единой капли германских кровей. В русском Риме меня опознавали как "старого" эмигранта из Болгарии, хотя я был тогда еще совсем "новеньким" и Болгария — одна из немногих стран Европы, куда меня черт пока не заносил . . .

— Удивительно, удивительно, — обращается ко мне незнакомая соседка на одном из концертов в Русском Собрании, — откуда они знают Чайковского?

— Они же певцы, — искренне удивляюсь я, — музыканты. Как же им его не знать?

— Не в том дело. Но разве "там" теперь слушают Чайковского? Ведь это же "новые"? . . .

Моя милая соседка, просидевшая двадцать пять лет в Новом Саду, Панчеве или какой-то иной сербской дыре, была свято уверена, что с ее, Марии Ивановны, отбытием с Графской пристани, культурная жизнь 150-миллионного народа разом оборвалась и трогательные сувениры расцвета русской культуры хранятся только у нее в заветной облупленной шкатулке.

Но между тем . . .

. . . Мой друг, секретарь Собрания А. Н. Саков, стремясь найти путь к сердцу ее хорошенькой дочки, снимающейся теперь в фильме "Калиостро" комплиментирует девицу, как версальский петиметр времен фижм и пудреных париков:

— Вы сегодня точно сошли с картины Ботичелли . . .

— Какой?

---

*) 1951 год.

— "Весна".

—А в каком кино ее крутят? — с живейшим интересом осведомляется будущая ведетта.

Но удивление при звуках мелодий Чайковского, струящихся из-под смычка "нового" профессора "новой" консерватории (разве такие там есть теперь?), охватывало лишь тех, кто сам позабыл эти звуки ,а вместе с ними нередко и русскую речь, сидя в балканских трущобах. Русские "римляне" не удивлялись! Они с первых же дней заговорили с "новыми" на одном языке и, думается мне, в основу этой разом возникшей близости легли заветы Тех, Чьи глаза смотрели со стен Собрания, Тех, для которых никогда и нигде ни в одном уголке непомерной Империи не было ни "старых", ни "новых" российских людей... Кровь славной Семьи пульсировавшая в жилах главы Русской колонии в Риме, вливалась в прозрачное тело мерцавшей легенды, и оно оживало, претворялось в кость и плоть.

— Наш князь, настоящий, — повторяли и в лагерях УНРРА, и в ватиканском общежитии на Виа Тассо, и в подвалах Монте Верде, и Бог весть еще в каких ямах и закоулках, куда загнал русских людей потерявший совесть мир.

"Наш" значило подлинный, верный, надежный.

— Не может быть, чтобы настоящие царские деньги с орлом, вы понимаете это, с орлом, совсем пропали бы, — говорил мне один еврей скупавший уцелевшие "романовки". — Мы можем ждать и ждать много времени, но это время — таки придет. Цена им будет.

И он ждал. Умный ведь народ евреи. Редко, очень редко они ошибаются.

Самым ярким моментом единения, слитности "новых" и старых" римлян был Сергиев день 1946 года — именины князя С. Г. Романовского. В зал Собрания стеклись и из УНРР-овского лагеря — Чине-Читта, и из Папского дома на Виа Тассо, и с Монте Верде... Была и официальная часть с адресами, поздравлениями и подарками, был и большой концерт с исключительно русской программой, а потом вечеринка потекла сама со-

бой, как-будто не в Риме ,а где-то на Волге или Днепре, где "студентов семья собиралась дружней".

Светлана и Володя пели то ставшую международной "Катюшу", то стихи Есенина. На столиках появилось принесенное из исторической остерии вино, а вслед за ним вспыхнул "Мой костер" в исполнении тутже сформировавшегося цыганского хора.

Пели много, но вопреки эмигрантским традициям, неизбежная в зарубежных собраниях "тоска по Родине", не прозвучала ни в одной ноте. И не могла прозвучать: на час, на два, но сама Родина была здесь, с нами . . .

Сам именинник, поэт, художник и музыкант, сел за рояль. Раздались первые аккорды, — грузные, глубокие вздохи просыпающегося богатыря . . . Раскатились и растеклись безбрежною гладью песенного разлива, радостной хвалою могучего пахаря его матери-кормилице черной земле и своей неземной, непомерной силушке . . .

Эта композиция исполнявшего ее автора называлась "Микула Селянинович" и образ сермяжного богатыря вздымался в ее звуках и подступал к висевшему над роялем портрету в раме, увенчанной Шапкой Мономаха и монограммой.

Венценосный Вольга слушал песню избяного Микулы в городе дворцов Цезарей и Пап.

— Вот где привел Господь снова встретиться! Но встретились! Слава Ему!

12. ВОЛОДЯ-САДОВНИК И ВОЛОДЯ-ПЕВЕЦ

Письмо, данное мне отцом Филиппом в первый день нашего пребывания в Риме, было адресовано Гартману, полковнику службы Его Величества Короля Великобритании, тогда еще Императора Индии.

Сам полковник, как говорили, был происхождения русского, но я его не видал, а достиг лишь дверей его кабинета в шикарнейшем из отелей шикарнейшей в Риме улицы Витторио Венито. Здесь мне преградил путь

его секретарь безусловно русского происхождения, а чьей службы — чорт его знает! Судя по характеру допроса, который он мне тотчас учинил, его служебная иерархия ,несомненно, восходила к тому маршалу, штаб которого помещается на Лубянской площади города Москвы.

— На военной службе состояли? — спросил он меня тотчас после вопроса об имени и возрасте. Спросил и пронзил глазами, в которых мне виделось что-то очень знакомое... но не очень приятное по воспоминаниям о том доме на Лубянке. — В какой части?

— В 17-ом Гусарском Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полку, — отрапортовал я.

— А-а-а-а... — разочарованно протянул русский секретарь британского полковника и, бросив меня, как излишний балласт устремился к следующему просителю, не допускавшему сомнений в своей новизне.

Здесь разговор был много продолжительнее, и оба разговора дали иной результат: я был сочтен русским секретарем за "старого" эмигранта и получил путевку в лагерь Чине-Читта ,над которым реяли англо-саксонские флаги, а мой случайный спутник — в лагерь под иным флагом, при виде которого он тотчас же, к счастью во-время, успел сделать четкий поворот налево-кругом. Это я узнал позже. Узнал и то, что русский секретарь был русским эмигрантом из Франции, комбатантом-партизаном, и позже играл крупную роль в подборе статистов для разыгранной в Римини кровавой трагедии.

Тогда он стал много опытнее, а тут прошляпил меня, приняв по ответу за одного из "старых", кого не касались полученные им инструкции.

Следующие допросы, числом одиннадцать, велись уже в веренице офисов Чине-Читта, занятой лагерем кино-фабрики под Римом. Их вели американские, новозеландские, цейлонские и прочие англо-саксонские сержанты, которым было глубоко наплевать и на меня и на мои ответы. Очень милые и симпатичные сержанты, пошли им Бог здоровья!

По окончании этих малоинтересных для обеих сторон собеседований сингалезец с лицом цвета хаки указал мне в даль широкой улицы кино-городка:

— Павильоне чинези!

Китайский павильон, понял я, и в моей памяти разом встали Царское Село, Версаль, этюды Александра Бенуа . . . какая прелесть нас ожидает!

Но оказалось, что мое пылкое воображение подменило этнографию эстетикой. Огромный павильон для кино-съемок получил это название от имени его коренного населения, ожидавшего отправки на пополнение кадров тогда еще мало известного Мао.

— Бывает, — философски рассудил я, — всякое бывает. При каждой советской новостройке имеется, например, свой "шанхай" с сотнями павильонов сверхпланового керамического производства, но без китайцев.

Тут наоборот . . .

Но моя жена органически чужда трансцедентальному мышлению и прочей критике чистого разума.

— Смотри! Крыша-то как-будто, протекает . . .

В ее уклончивой гипотезе была некоторая доля правды. На полу зала, куда нас отвели, подергивалась легкой рябью огромная лужа с нежными отсветами бензинового отлива. Китайцев в этом зале не было. Через огромную дыру в потолке хмурилось ноябрьское небо Рима. Рекруты Мао видимо, не стремились им любоваться и занимали другие, менее поэтичные залы.

Сквозь дыру моросил холодный дождь.

— Ты абсолютно лишена чувства историчности, — накинулся я на жену, — ведь это же древняя античная традиция! . . . И в Пантеоне такая-же дыра! . . .

— Да ведь в нем мертвые лежат, а здесь пока еще живые, — слабо парировала она. — Вот помрешь — хоть с Рафаэлем рядом ложись, а пока . . .

. . . Пока мы, используя свою советскую квалификацию, сняли с петель две двери от входа в наш атриум и водрузили их на вершинах наследия звериного нацизма — вторых этажах немецких кроватей. Жизнь стала возможной даже при наличии античности. Что там ни

говорите, а в СССР — большие достижения! Например: перевоспитание личности в духе торжествующего социализма? Сперли двери и...

..."Жить стало лучше, жить стало веселее"!...

Лагерь Чине-Читта тогда еще не входил в систему созвездий УНРРА, а был в ведении военного командования. Поэтому воровали в нем мало и на обед и ужин давали много, то есть половинный рацион американского солдата. Половина иногда бывает больше целого, например, при сравнении рационов Джонни в британской армии и Ваньки — в советской. Итальянцы, разом густо забившие лагерь в качестве беженцев из неоткрытых еще стран, распевали:

Gli americani sono molto buoni
Ci dan da mangiare,
Anche macheroni...*)

Но эта чисто национальная, подлинно итальянская опера быстро подошла к 4-му акту. УНРРА, приняв лагеря, тотчас выселила беженцев итальянского происхождения, не имеющих доказательств их партизанских подвигов, за проволоку, в ближнее соседство, но уже на их национальное содержание. Начало этого 4-го акта прозвучало дружным хоралом к нам из-за проволоки:

—Pane, pane!

—Fame, fame!**)

Конца у акта не было: все итальянцы разбежались по исходным точкам своего беженства.

Русских потом тоже траспортировали, но пока призраки этого переселения в Римини и прочие места ялтинского попечительства лишь намечались. Читальня была завалена советскими газетами. На стенах "добрый старый Джо" весело перемигивался с "холуем Уолл Стритта" и "псом британского империализма". От времени до времени в городок вкатывался авто с хорошо известным нам флагом, а мало известный нам русский

---

*) Американцы очень хорошие.
Дают нам еду и также макароны.

**) Хлеба, хлеба! Голодно, голодно!

беженец из Сербии, исполнявший обязанности санинспектора и глашатая, орал, обходя корпуса:

— Эй, русские, идите к своему консулу! Не вы, не вы, — останавливал он своих "старых" знакомых, — их приказано собрать, советских! Эй, вы! К вашему консулу! Живо!

"Советские" обычно отвечали репликами с вполне определенным направлением консула к популярнейшей из российских матерей, тесно связывая ее легендарную личность с реально существовавшей мамашей глашатая. Одергивали его и "старые", те, кто не увязил еще в европейском болоте своей русской души.

К консулу приходило 2-3 человека. В большинстве случаев женщины. Нагребали подолы консервных банок и пакетов и уходили. Потом проторчав часа два перед управлением, консул уезжал. На душе светлело. Но кошки все-же скребли . . .

Рим манил своими соблазнами . . . Но требовал затрепанных итальянских лир с цифрами не менее трехзначных. Профуги всех наций дружно толкались во все двери, ища работу. В этих поисках, вернее, в степени их успешности, наметились пути расово-профессионального расслоения интернационально-беженской свалки.

Итальянцы, избежавшие изгнания в силу явных партизанско-коммунистических признаков, заполнили все офисы, которые тотчас же начали плодиться быстрее кроликов на советских плакатах. Евреи мирно зажили в складах и магазинах. Сербы заполнили штат лагерной полиции и перестроили ее работу на основе международно-демократической формулы: "Свэ не можно". Кавказцы и украинцы образовали дружескую коалицию вокруг нагрузок и разгрузок лагерных котлов, а на долю русских пришелся высоко-культурный труд подметайл и ассенизаторов. Воровать начали тотчас-же все, без расового различия, но строго держась основ своей местной экономики и расстановки производительных сил.

Мне лично удалось спереть или, вернее, обменять только пару выданных мне для работы ботинок,

сдав вместо них свои подобия некогда парусиновых туфель. Получил же я эти ботинки по большой протекции в силу моей специальности. Имея диплом историко-филологического факультета и некоторое ученое звание, я был назначен на раскопки древнейшей в Чине-Читта выгребной ямы. Очень интересная работа. При углублении в нее, пласты отложений англо-саксонских освободителей сменялись наслоениями эпохи немецкой оккупации. Под ними лежали слои эпохи фашизма... И каждый имел свой соответствующий состав и аромат.

Страшно жаль, что я не успел тогда написать на эту тему диссертации для Гарвардского университета. Несомненно дали бы степень доктора "онорис-кауза". Сам Прокопович к ней представил бы!

Эту научную работу я получил по протекции Володи-садовника, как его звали в отличие от Володи-певца, первого паспартизированного Ди-Пи в Италии.

Володя-садовник был родом из какого-то пограничного с Латвией района, в силу чего имел латыша-отца и псковичку-мать. Сам он считал себя в юности русским и православным, но пришедшие немцы придерживались иных генетических воззрений и забрали его в национальный латышский батальон, позже включенный в списки "SS". В рядах этого батальона Володя достиг церковного совершеннолетия, повоевав под Ленинградом, в Либии, на Дону и для довершения практического изучения географии попал в плен под Монте Кассино.

Как латыш, он подлежал возвращению на родину, но начальствовавшему в лагере для пленных "SS" американскому майору понравилась румяная полудетская мордочка эсесовца из русских латышей. Однажды в мае 1945 года он хлопнул Володю по плечу, сказал "о'кэй", дал какую-то бумажку и отправил с солдатом в только что организованный для беженцев лагерь Чине-Читта. Там солдат передал бумажку и Володю другому солдату. Тот бросил бумажку в ящик стола, а Володю — на произвол его повернувшейся на 180 градусов судьбы.

Володя, стоя в воротах, осмотрелся.

— Гляжу: люди и туда и сюда идут... Часовой пропуска не спрашивает, — рассказывал он. — Я тоже пошел сторонкой. Часовой — нуль внимания. Я дальше. Никто не гонится, не кричит, винтовки не наставляет. Я вон в ту римскую развалину напротив лагеря зашел... Никто — ничего!

Господи Иисусе, Матерь Божья!

Да как запузырю трепака в одиночку!

"Барыня, барыня,

Чего тебе надобно..."

И пляшу, и Богу молюсь! Все молитвы, каким бабка учила, вспомнил...

В Чине-Читта Володя стал старшим садовником. Ремеслу этому он выучился у отца-латыша. Потом заручился какой-то Папской стипендией, окончил в Риме университет и уехал за океан с дипломом агронома и знанием пяти языков: английского, немецкого, русского, итальянского и латышского.

Володя-певец, его тезка, был полной ему противоположностью. Знаменит он был тем, что к августу 1945 г, успел уже съездить в Нью-Иорк и вернуться оттуда к месту первоначальной посадки на пароход — в Геную и далее — в Рим.

— Уехать очень просто, — разъяснял он сложную процедуру эмиграции, — никаких виз не нужно. Проскочи лишь на пароход при погрузке, выбери хазуху потемнее и жди, когда отплывет, и тогда иди в сознание...

Володя-певец происходил из беспризорников и некоторый опыт в эмиграции приобрел еще в детстве.

— Я, например, в уголь зарылся, а когда закачало, вылез на палубу. Всем матросам большое удовольствие доставил. Окружили меня, а я пою и на гитаре подыгрываю:

Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет...

С гитарой Володя не расставался на всех своих путях в обоих полушариях. С ней попал в плен, на ней же аккомпанировал себе "Катюшу", пропетую статуе

Американской Свободы... А в тот несколько трудный момент он пел под ее звон:

Капитан, капитан улыбнитесь!
Ведь улыбка — это флаг корабля!

И капитан, пред лицо которого был приведен покрытый кардифской угольной пылью неизвестной расы певец, не только улыбнулся, но захохотал и приказал дать ему стакан неразбавленного виски.

По этой части Володя был тоже высокий специалист. За выпитым им первым, в его горло прошла длинная очередь последующих — уже от матросов.

Арийское происхождение Володи было установлено лишь при утренней уборке палубы, когда шланг, под давлением трех атмосфер, смыл с него мрачные тени британского империализма — покровы кардифского угля.

До Нью-Иорка Володя доехал с большим комфортом.

— Кроме шеколада ничего в рот не брал, исключая, конечно, финь-шампани...

Но этих двух видов питания хватало с избытком. В уплату за них Володя пел. Голос у него был прекрасный — мягкий, волнистый, как ржаная нива, тенор, слегка лишь тронутый мутью беспризорного детства.

Но посмотреть Нью-Иорк Володе пришлось лишь в отдельных пейзажах через решетки полицейских авто и окна знаменитого Синг-Синга, куда он был тотчас же по прибытии водворен, а через неделю оттуда же доставлен на пароход, уходивший в Геную.

— Ничего! Назад тоже весело ехал! Мировая комса — американцы! В доску свои ребята!

В Генуе высадили и пустили на все четыре стороны.

В Риме предложили место в хоре оперы, но ярый противник всех видов коллективизации, Володя предпочел днем отсыпаться в Чине-Читта, куда определил его отец Филипп, а ночами странствовать с гитарой по этой специфики тратoриям.

Ночью лиры сыпались в его карман. Днем они еще быстрее высыпались в обратном направлении. И карман

и беспризорная русская душа Володи имели одни и те же свойства — они были широки и открыты для всех.

Володя-садовник и Володя-певец были полюсами "новой" русской молодежи, по многим извилистым и тернистым дорогам стекшейся в Рим, чтобы оттуда снова растечься по всему земному шару и даже за пределы его стратосферы с кровавого, не имеющего оправданий себе старта в Римини.

Оба они были двумя крайними звеньями длинной и многообразной цепи психологических, социальных, культурных образов.

Скрепляла ли эти звенья какая-либо общая для них черта, характерная их особенность?

Да. Скрепляла. Это была та отзывчивость к чужой беде, то бескорыстное желание помочь в ней, те проблески, каких уже не видно на "просвещенном" огнями реклам Кока-Кола Западе, но какие все чаще и чаще поблескивают в жуткой тьме "осуществленного социализма".

Освободительное Русское Движение и наиболее организованные его части — РОА и Казачий Стан, через которые прошли почти все "новые" в Италии, были яркими вспышками этих неугасимых искр.

13. ДВА ВИДА ГУМАНИЗМА

— Эх, будь бы здесь наш старый пьянчужка-майор, я бы в два слова устроила ваше дело, — говорит мне хорошенькая евреечка, директорская переводчица в Чине-Читта и мой большой приятель, — а с УНРР-овским лордом трудно, ох, как трудно! . . . Ничего не вышло . . .

События предшествовавшие этой малоприятной для меня фразе были таковы: на стене кухни появился длиннейший список переселяемых из Чине-Читта в лагеря Болоньи и Римини. Подавляющее большинство значившихся в нем фамилий были русскими. Стояла и моя.

К этому времени мы уже несколько ознакомились с гуманными традициями западных демократий и практическим осуществлением великих принципов Атлантической Хартии. Прибывший в Чине-Читта полковник Кучук-Улагай рассказал нам о кровавой панихиде Лиенца. Он был извлечен уже из чистилища, от самых райских дверей, королем мусульманской Албании Зогу Первым, которому некогда оказал услугу.

Король христианской Великобритании не смог сделать того же для генерала Шкуро, носившего орден его Великой Империи, орден, пожалованный его отцом за борьбу с теми, в чьи руки был передан генерал. Шкуро растоптал его, не получив даже ответа на свою телеграмму в Виндзор, честно переданную туда американцами.

—Подозрительно что-то, — сказала жена, прочтя список, — ты как думаешь?

— Думаю попробовать зацепиться в Риме. Не хочется и с Ватиканской библиотекой расставаться... Сколько труда было положено, чтобы туда проникнуть.

— В Болонье, говорят, снег по колено... А у Лоллюшки не ботинки, а одна дыра... Жми во-всю...

Я пошел нажимать на нового УНРР-овского директора. Разговор был короток.

—Ваши мотивы для оставления вас в Риме?— спросил меня величавый лорд-протектор.

— Здоровье ребенка и начатая мною в архивах Ватиканской библиотеки научная работа.

— УНРРА не ставит себе целей культуры.

— Но гуманизма?

Лорд-протектор пожал плечами.

— Мой приказ не может быть изменен. Но вы можете отказаться от предложенного вам покровительства.

— Я это и делаю. Прошу разрешить мне задержаться в лагере на неделю, пока я найду квартиру.

— Два дня не более.

Лорд-протектор величественно взмахнул рукой. Разговор кончен.

— Куда?

Стратегическая обстановка такова: от суммы, вру-

ченной мне нашей венецианской мадам Беттерфлей остались шесть столировых бумажек, то есть стоимость трех кило хлеба. Общежитие отца Филиппа забито сверх меры и, кроме того, находится под беспрерывным обстрелом науськиваемых на него гарибальдийских банд. Живут, как на Везувии в те годы, когда он дымился. Документы мои в порядке, но комната стоит 10.000 лир в месяц, да и трудно ее найти. Положение не лучше, чем у рождественского мальчика . . . Но где-же добрая старушка?

— Жена Улагая рассказывала мне о каком-то Монте Верде, — говорит Нина. — Махай туда.

— А где оно, это Монте Верде?

— Бог его знает . . . Ты порасспроси.

Расспрашивать нужно быстро. Завтра мы должны быть уже на новом месте.

— Лечу к князю!

Я несусь к Риму вдоль арок древних акведуков, перепрыгиваю в другой трам около менее древнего Латерана и, наконец, достигаю нашей прекрасной эпохи в набитом обедающими там в этот час беженцами Русском Собрании.

Князь Романовский, к счастью, там. Но он торопится, и я вкратце рапортую о происшествии.

— Остается только Монте Верде. Где оно и что это такое?

—Это пароккио (абатство). Настоятеля отца Джиованни Бутенелли я знаю. Сейчас напишу ему. Но лучше, если вы возьмете еще рекомендацию от отца Александра . . .

— А где отец Александр?

— В Ватикане . . . Отец Александр Евреинов . . . Там спросите при входе.

Князь очень торопится, дает мне записку и исчезает. Мне тоже надо торопиться. Время близко к четырем.

Несусь через Тибр к колоннаде собора Св. Петра. Ватикан виден за нею. Но где вход?

—Dov'e porta in Vaticano? — склеиваю я вопрос.

Каждый страниер — приятный сюрприз для каждо-

го итальянца. Страниеру можно объяснять. Прежде за это перепадали звонкие лиры. Теперь лиры не звенят, да и страниеры пошли никчемные. Совсем дрянь. Но привычка — вторая натура.

Два итальянца тотчас хватают меня под руки и влекут по колоннаде, оживленно что-то объясняя.

В результате я стою в дежурке швейцарских гвардейцев, самых настоящих швейцарцев, и могу даже объясняться с ними по-немецки.

Сержант говорит что-то по телефону. Я понимаю только слово Эччеленца. Меня проводят во двор Ватикана и указывают дверь.

— Падре Эфрэинофф? — спрашиваю я по-итальянски.

Открывается дверь, и передо мною седенький старичек в католической сутане. Он осматривает меня добрыми русскими глазами и говорит:

—Чем могу вам помочь?

Слава Богу! Могу все рассказать. Но как-же именовать отца Александра? Кто он? Вспомнив о телефонном разговоре, я решаю.

— Эччеленца.

Но эччеленца неожиданно надевает русский монашеский клобук и преображается в инока не то Троице-Сергиевской, не то Киево-Печерской Лавры . . . Как же?

О том, что рекомендацию в пароккио на Монте Верде мне дал глава католиков Восточного Обряда архиепископ Александр, монсиньор Ватикана, я узнал позже, а тут наскоро поблагодарив эччеленцу, я уже мчался на Монте Верде по пути, точно и детально указанному мне добрым, старчески-хлопотливым иноком Троице-Сергиевской Лавры отцом Александром.

Последняя остановка трамвая № 24. Рим окончен. Дальше идут пустыри. С этого самого места Максенций увидел монограмму Христа на знамени Константина и побежал, чтобы утонуть в Тибре, около моста, который я только что переехал. Так гласит история. Но мне бежать по его пути не приходится. Современность, в лице падре Джиованни Бутенелли, прочтя обе запис-

ки, кое-как по-французски дает мне приют и убежище от невзгод.

— А дети у вас есть? — кричит он мне вслед.

— Есть.

— Мальчик?

— Мальчик.

— Беллиссимо! — ликует падре. Почему? Это я узнал потом.

Но дело еще не было кончено и переезд на следующий день чуть-чуть не сорвался. Авто мне лорд-протектор, конечно, не дал.

— За дверями лагеря заботы УНРРА о вас кончены.

Но переводившая мне это гуманное решение евреечка добавила от себя:

— Ничего, не волнуйтесь. Шофер камионетки, которую посылают за кино-фильмами, — мой поклонник. Я устрою.

Устроила, но опять чуть не сорвалось в самый последний момент. Жена второпях привинтила мне в петлицу, чтобы не потерять, мой выдержавший все бури и шквалы университетский значек.

Приятель переводчицы, тоже еврей, любезно открывший мне дверцы своего авто-ящика, вдруг начал выбрасывать мои вещи обратно.

— В чем дело?

— Я не повезу нациста!

— Я — нацист?!

— Голубой крест! — указал он на значек. — Власовец, убийца евреев! . . .

Мое положение становится трудным. Нанять авто — нет денег. УНРРА не отвезет, тем более "нациста и убийцу евреев". Может стать и хуже. Пойди, доказывай . . .

Я посматриваю на римскую развалину перед входом в лагерь. До нее метров триста. Дотащимся и с тюками. Теперь потомки Горациев загоняют в нее овец. Ну, раз живут овцы, так проживут и выходцы из страны "где так вольно дышет человек!" Там бывало и оригинальнее. В городе Россоши я, например, весь ноябрь прожил в дыре, вырытой мною в омете старой соло-

мы... Морозы уже потрескивали, а здесь, слава Богу, все-таки как-никак Италия.

Но Финикова бабушка еще ворожит мне в порядке соцсоревнования с какой-то другой стахановской прародительницей.

Помощь приходит совершенно неожиданно. Среди собравшейся к месту происшествия еврейской молодежи, бурно предрекающей мне участь графа Бернадотта, оказывается старик-доктор, еврей из России.

— Как вам удалось сохранить эту редкость? — указывает он на значек, пожимая мне руку. — У меня его отобрали чекисты при обыске... Как приятно видеть. Вы какого университета? Московского? А я Варшавского. Даже и орел у вас цел? Обычно его обламывали в советское время... Да... Российский двуглавый орел, — вздыхает он и, повернувшись к молодежи, говорит по-немецки: — это один из самых почетных значков мира. У меня тоже был такой...

Доктор, очевидно, имеет вес. Притихшая молодежь вновь устанавливает мои вещи в кино-ящике. Дверь нашей кареты захлопывается и в ее непроницаемой тьме мы пересекаем Вечный Город с тем, чтобы снова узреть Божий свет на той самой точке, где повелитель Запада Максенций был сражен принесенной с Востока монограммой Христа.

Но сейчас нам не до исторической символики. Трясет и бьет о борты, как в хороший шторм.

— Меня что-то придавило, — сообщает сын.

— Мягкое или твердое?

— Мягкое.

—Тогда это связка одеял, — угадываю я, — ничего, терпи! Накрываешся же ты ими ночью? В чем-же разница?

14. ПРОДНАЛОГ НА САТАНУ.

В пароккио Трасфигурационе на Монте Верде, как и во многих итальянских церквах, храм и жилые помещения слиты в одном здании. Внутри его — маленький

дворик. Под аббатством — лабиринт сводчатых темных подвалов. Цель их строительства мне не ясна. Аббатство новое, даже в конструктивном стиле Корбюзье, и в тайниках темного средневековья вряд-ли нуждалось. Однако, эти пережитки страшных времен инквизиции пригодились и в наш гуманный, просвещенный век демократических и прочих свобод . . . Да еще как пригодились!

При захвате Рима войсками социалиста Гитлера настоятель пароккио Дон Джиованни Бутенелли спрятал в них десятка три евреев, неудобных для этого вида социализма. Сам Ватикан принял в свои стены еще большее их количество, в том числе и старшего раввина Рима.

Падре Бутенелли, безусловно рискуя своей жизнью, укрывал, кормил и поил своих жильцов вплоть до прихода союзников. Выпуская их на свет Божий, он тут же восьмерых окрестил по их настойчивому требованию креститься именно здесь, в храме спасшего их аббатства.

После освобождения Рима из-под власти звериного фашизма и утверждения в нем гуманных принципов Атлантической Хартии подземелья пустовали недолго. Скоро пришлось разместить в них иные контингенты жильцов — человек 60-70 русских всех видов, многих с женами и детьми.

Этих крестить не пришлось. Они уже крещеные и даже по два раза: водой и кровью. Но за время двухгодичного житья части их в пароккио на свет появились новые власовцы и красновцы. Этих пришлось окрестить, что падре Джиованни и выполнил. Кое-кого из их родителей пришлось заодно и повенчать с некоторым по существу дела опозданием, но это к лучшему: свадьба и крестины разом — расходов меньше.

Падре Бутенелли не делал различия между обоими контингентами обитателей его подвалов: укрывал, поил, кормил, крестил, венчал всех, кому это требовалось. Но разница была.

Первые, евреи, были гонимы только Гестапо и Эсесовцами, но пользовались сочувствием местного насе-

ления, тесно связанного с ними, и имели твердую надежду на возвращение к жизни по выходе из подвалов.

Вторые, были гонимы всеми христианскими и нехристианскими нациями, были абсолютно чужды местному населению, часть которого была им даже враждебна и, в лице местных коммунистов, не прекращала ни на минуту их травли, защиту от которой вел тот же падре Бутенелли.

Радужных надежд у этого контингента тоже в наличии не было... не было и денег — всемогущих в Италии. Но...

...В одном из окон внутреннего дворика церкви часто неожиданно появлялся падре и что-то кричал по-итальянски... потом из окна начинали сыпаться связки сушеной рыбы, излюбленной итальянцами бакалы.

Это отец Джиованни "поднажал" на своего прихожанина — торговца рыбой.

Теми же путями сваливались во двор пароккио рис, сухое молоко, билетики в бесплатную столовую, связки одежды, дрова... Эти последние почему-то сыпались с крыши, вероятно, из личных фондов падре, который собственной персоной метал их оттуда, отчаянно крича вниз, чтобы остерегались попасть под поток этих, неизвестных Библии, небесных даров.

Истоки этого беспрерывного потока разнообразной манны небесной восходили непосредственно к резному балкончику, повисшему на одной из колонн храма Преображения Господня на площади Монте Верде, — кафедре, с которой каждое воскресенье звучали пламенные проповеди падре Джиованни. Позже, когда я освоился с итальянским языком, я понял, каким блестящим, сильным оратором был этот скромный настоятель бедного аббатства на окраине города. Он излагал слова Святой Книги абсолютно современным литературным языком, сверкая яркими созвучиями Феррары — чистейшего и красивейшего из диалектов Италии. Ни тени елейности, ханжества, фальши! Его примеры жили текущим днем, как хроника ходкой газеты. Его аналогии были геометрически прямолинейны

и в силу этого доходчивы и общепонятны. Добавьте пламя глубокой веры, огненный темперамент южанина и вы поймете, как сумел этот священник не только разъяснить своей пастве нашу подлинную сущность, не только стереть в пыль направленную против нас пропаганду местных коммунистов, примирить нас, чуждых нахлебников, с его прихожанами, но и зажечь в их сердцах искры святых лампад милосердия и сострадания к гонимым.

Практически это выразилось не только в дожде из манны, но и в возможности разместить нас не в глубине подвалов, а в двух, примыкающих к ним больших и светлых комнатах.

Когда огоньки лампады милосердия притухали, а богатых благотворителей под руку не попадалось, падре Бутенелли изыскивал другие пути для прокормления нашей оравы. Он был и здесь человеком и священником своего времени.

Святой Антоний, как известно, боролся с дьяволом, замаривая себя голодом и отхлестывая бичем. На демонов того времени это действовало радикально, и они убегали посрамленными.

В век возрожденного рационализма и торжества плоти над духом, сын этого века Мартин Лютер прибег для той же цели к материальному средству — запустил в сатану чернильницей. Эффект получился слабый, только обои попортились, а сатана увернулся и стал дразнить гримасами Монтеня, Маккиавели, Вольтера, замахал бородой Карла Маркса, поманил ленинскими нужниками из золота и доходами от торговли кровью с людоедами . . .

Падре Джиованни был современным человеком, современным итальянцем и современным священником. Поэтому он . . . обложил дьявола продналогом.

Вместо даров, сыпавшихся с неба, в нашем дворике стали появляться итальянцы и итальянки с пакетами и корзинками. Из корзин же появлялись свежие булки (хлеб был еще по карточкам), салями, сыр и прочие радости, иногда детские платья, ботинки, но всегда с точным адресом:

—Это — младшей дочери инженера, а это — сыну профессора . . . Булочки — всей детворе.

По понедельникам, после воскресной исповеди — ведь итальянцы говеют чуть не каждую неделю — вереница паломников в наш двор становилась заметно длиннее . . . В чем-же дело? Откуда сие? Что за пробуждение любви к русским беженцам?

— Дело не в любви, а в грехе, — разъяснил нам хромой сторож церкви, мрачный аскет Секондо, — прежде падре назначал эпитемьи: прочесть сто раз "Аве Мария" или двести раз "Патер Ностер", а теперь приказывает грешникам и грешницам отнести дюжину булок вашей детворе, а то и ботинки и платье . . . если грех потяжелее . . .

— Да неужели у вас в Италии так сильно грешат? — изумлялись мы, вспоминая цену ботинок на "горячо любимой родине".

— Я думаю, что у райских врат теперь не бывает большой толчеи, — мрачно ответил аскет Секондо; он был воздержан во всех отношениях и более пессемист, чем сам Леонарди.

В результате действий этого налогового пресса дьявол наших дней, видимо, тоже подчиненный законам диалектики, потел, кряхтел, но платил за все пакости, учиненные им в пределах пароккио на Монте Верде.

Сила морального авторитета падре Бутенелли среди его паствы была такова, что даже после его отъезда в Аргентину грешники и грешницы продолжали по инерции нести свои эпитемьи, хотя новый настоятель и не налагал их в этой форме.

Один безнадежный грешник по имени Джулио, очень милый и красивый молодой человек, в течение всего нашего пребывания на Монте Верде, регулярно каждую неделю являлся к моему сынишке с пакетом булок и бутербродов. Мы стали с ним друзьями.

— Скажите мне, синьор Джулиано, — спрашивал я его, — на этой неделе искусивший вас дьявол был в образе блондинки или брюнетки?

— Я отвечу вам откровенно, синьор профессоре,

на этой неделе сатана три раза менял свой образ и цвет волос . . .

Иногда вместе с булками сыну, приплывала половина орехового торта жене или недопитая бутылка ликера мне . . .

— Почему такая суровая эпитемья, синьор Джулиано?

— Соответственно тяжести греха, синьор профессоре . . . Жена моего дяди, что живет в Милане, приезжала к нам на пару дней . . . Вы тоже были молоды, профессоре . . .

— Да. Я был молод, — сочувственно пожимал ему руку я, — и сильно опасаюсь, что при современном финансовом кризисе не соберу средств, нужных для покрытия моих грехов в твердой валюте . . . Но утешьтесь, у нас, у русских, есть правило: "Не согрешишь — не покаешься; не покаешься — не спасешься" . . .

— Очень мудрое правило. Я всегда уважал русских . . . Tolstoy! Dostoevski!

Из цитадели действенного, бытового христианства, утвержденной на Монте Верде, производились и диверсии в соседние области. В нашем дворике, а потом у окна моей "виллы" часто появлялся очень тощий и бледный монашек из какого-то дальнего монастыря. Его сутана была сильно потрепана, как и деревянные сандальи на его босых ногах. Совершенно непонятно, как могли умещаться под ней необычайные по размерам карманы. из которых вылетали целые мешки булок и сухарей кило этак по 10-12, пакеты одежды, ассортименты пасхальных и рождественских подарков . . .

Этот монашек, несмотря на наши просьбы, так и не назвал нам своего имени. Он сообщал только имена грешников, за которых просил молиться . . .

Позже, когда я присмотрелся и понял дух современной, а не картинно-книжной Италии, мне часто приходило на мысль: что стало бы с ее явно вырождавшимся морально народом, если бы вдруг порвались нити, связывающие его с Ватиканом?

—Шерстью бы все обрасли и друг дружку бы по улицам водили, как обезьяны, — уверенно ответил мне

сосед по монтевердевскому углу воронежский хохол Василь, — плясали бы под шарманку... Что им еще робить?

Падре Бутенелли пребывал в состоянии вечного движения.

Его трудовой день начинался в шесть часов, с первым ударом безголосого жесткого итальянского колокола, которым хромой Секондо призывал обложенных продналогом грешников к утреннему покаянию в совершенных ночью грехах. Потом падре служил перед алтарем, реферировал футбольный матч на пыльной площадке перед церковью, непосредственно за решающим голом загонял бэков и форвардов в класс заучивать основы Катехизиса, раздавал подзатыльники ленивцам и шалунам, бежал совещаться с почетными прихожанами, снова служил, отпускал грехи мессалинам и лукрециям, разбирал и судил пару тяжб своих призреваемых страниеров, председательствовал на заседании дамского благотворительного комитета, снова бежал напутствовать чью-то покидающую благословенную Италию душу, вызывал по телефону очередного грешного врача к заболевшей в столь же очередном непрерывном порядке нашей Дусе или Тусе из беспрерывно повышавшейся в числе семьи инженера... иногда этот грешник оказывался даже знаменитым в Риме профессором-специалистом, но и он являлся беспрекословно и... бесплатно.

Таков был падре Бутенелли, современный жизненный и подлинный воин Рати Христовой.

Его перпетуум-мобиле затихал в 10 часов вечера, когда падре укладывался в свою одинокую постель католического священника, но и тут колеса еще крутились по инерции...

Русские беженцы на Монте Верде пробудили в нем глубокий интерес к их духу, быту, языку и он начал учиться по-русски. Читать выучился сам, а для практики в произношении зазывал к себе кого-нибудь из наших мальчишек, чаще всего моего сына, и лежа уже в постели, пытался говорить с ним по-русски.

Это было одним из самых трудных дел всего дня.

Ах, этот русский язык! Как, например, итальянцу выговорить "щ", "ш", "ю", "я", которых совсем нет в его алфавите?

— Миса сигодни кусал ... — комбинирует падре сообщение об обеде живущего в его ванной Миши, но вместо поразивших воображение итальянца русских щей, в его устах получается нечто вряд-ли съедобное ...

— Щи, падре, щи! ... — заливается смехом очередной учитель, получает "гонорар" — шеколадку и прощается.

Я не видал падре спящим, но думаю, что и во сне он не прекращал своего перпетуум-мобиле.

Дети занимают особое и, думается мне, наибольшее место в обширном сердце падре Бутенелли. По строгому католическому канону он может принимать в своей комнате только мальчиков, и он собирает туда ежедневно всех наших, а по субботам привозит еще партию голов в десять из общежития на Виа Тассо, возит их по римским достопримечательностям, а синьора мадре, его мать, живущая в том же доме, но этажем выше, готовит гору пасташуты с пармезаном ...

—Умно это у них устроено, — комментирует догму целибата Василь: — раз своего семейства нет, так он чужих детей годует ... Правильно!

15. Я НАХОЖУ ПРОФЕССИЮ

Первая волна вандалов, накатившаяся на пароккио Трасфигурационе, была стихийна, шумна и бурлива. Семейные с женами, бабками, детьми, холостяки: красновцы, власовцы, остовцы ... какие-то беспредметные особи племен российских, прибредшие неизвестными им самим путями то из Тироля, то из Герцеговины, то из Швейцарии. Они появлялись, исчезали, снова появлялись. Спали вповалку все вместе. Из благотворительной столовой Ватикана притаскивали огромные баки макарон и фасоли, ими насыщались ...

Потом все утряслось. При помощи князя С. Г. Романовского и отца Филиппа холостяки обзавелись документами. Падре Бутенелли рассовал их по тихим провинциальным монастырям. Кое-кто пошел батрачить за корм к крестьянам. Семейные остались и, как полагается, расслоились по схеме, принятой в той стране, откуда притекло большинство... Одна комната стала "итеэровской", а другая — "где всем дают". Как в советских очередях.

В "итеэровской" верховодили два инженера. Один — строитель аэродромов на Камчатке с женой — главбухом и большим, притом неуклонно возрастающим в числе потомством; другой — из Праги, неизвестной специальности с женой тоже неизвестной профессии, без потомства, но зато с долларами. Эти доллары служили неиссякаемой темой для дискуссий женской части населения и одновременно барометром уровня семейного счастья инженерской четы.

— Смотрите, смотрите... инженерша-то опять темное платье надела...

— Обязательно сейчас на кладбище побежит!

— Значит, крепко нынче ночью поругались, а мы и не слышали...

Дело разъяснялось так: при высшем уровне семейного счастья доллары лежали в кармане супруга, при понижении его — переходили в сумочку супруги, а при катастрофическом падении — инженерша закапывала их на соседнем кладбище. Примирившись, снова отрывала, а так как климат любви изменчив, то доллары циркулировали со скоростью не меньшей, чем их братья на бирже Чикаго.

Инженер с Камчатки быстро пристроился при Международном Красном Кресте. Его коллега из Праги — при каком-то совещании формировавшем эмигрантскую группу в одну из южно-американских республик.

Обе профессии были неплохими, хотя и не оплачивались в бюджетном порядке. Они были "мозгами", но сердцем итеэровского коллектива была прехорошенькая Люся с ее поистине замечательным годовалым сыном. Если инженеры смогли лишь поверхностно изме-

нить свои специальности, приспособив их к эпохе, то этот вундеркинд, не сделав еще ни одного самостоятельного шага на нашей планете, сумел пять раз изменить свое имя и национальность. При рождении в Вене он был зачислен с соответственным именем в нацию фольксдойчей, в силу связей своего первоначального отца. Но этот отец был перемещен капризом судьбы на восток, даже на Дальний. Сын же, перемещаясь к югу, стал сначала итальянцем и обрел имя Джеронимо. Встретясь на пути с эшелонами армии генерала Андерса, он полонизировался под звучным именем Ромуальда. В Риме, в униатском комитете помощи единоверцам выяснилось, что он, собственно говоря, украинец и носит имя своего славного князя Романа Галицкого, но, принимая во внимание богатство и щедрость еврейского общества Джойнт, он не настаивал на своем арийском происхождении и предпочитал международное имя Джеролик вместе с солидным денежным и продуктовым пайком УНРРА.

Сердце, как ему и полагается, искало, чуяло, угадывало и вещало.

Мозги, выполняя свою функцию, облекали его эмоции в стройную рациональную форму и далее — в содержимое таинственных мешков и коробочек, вплывавших на вечерней заре в тихие пристани отгороженных немецкими одеялами уголков Итеэр.

Мозгом комнаты "для всех" был Василь, воронежский хохол, прикативший с женой и сынишкой с Дона в Италию на паре своих "благоприобретенных" серых. До Венгрии с ним доехал еще и кабанчик, но там пришлось продать. Больно вырос за время пути.

Самое большое и верное сердце из всех, бившихся в этом помещении пароккио, трепетало последними вспышками в груди уральского казака Плотникова, семидесятилетний путь которого был много длиннее, чем у нас всех.

Начало его я знаю лишь в отрывках. Старообрядческая казачья семья на берегу Яика, строгий, суровый отец, служба в полку . . . Война. Потом снова война уже

у себя в степях. Полковник, с которым прошел урядник Плотников обе боевых страды, смертельно ранен.

— Дочь у меня остается в Уральске... — хрипит он, захлебываясь кровью, — тебе, Плотников, ее поручаю... Женись и сбереги..

Урядник Плотников выполнил этот последний приказ своего командира, женился, сберег, привез в Сербию, берег и холил там, в черный год довез до Рима и оберегал здесь, сколь хватало старческих сил, служа ей до последнего дня... А этот последний день пришел так: собирая щепки для самодельного мангала, старик зашел на двор, где были собаки. Они его покусали. Лечили в итальянской клинике, но перевязки там были таковы, что на пятнадцатый день появилась гангрена и верное сердце перестало биться.

Мозг нашей комнаты пульсировал весь день на римских базарах, сбывая там беженское барахло и неизвестные в Вечном Городе товары: самодельные жаровни из консервных банок, подсоветские "тапочки" из негодного уже к продаже сырья, вообще "совутиль", которому он умел найти применение, чему и нас учил по вечерам.

Сердце тоже учило — верности, чувству долга и серой, не блесткой мужицкой чести.

Таков был, по программе солидаристов, "ведущий слой" русского поголовья пароккио Трасфигурационе. Он же был и "правящим слоем", как, можно надеяться, произойдет и у них, если какое-либо государство станет объектом национально-трудового эксперимента.

Кроме того, в обеих комнатах размещалось еще десятка полтора семей, особой активности не проявлявших, так сказать, масса, среди которой выделялась лишь единственная нерусская семья, состоявшая из трех поколений славного племени Черной Горы: бабки, майки и внучки; да и то из них внимание привлекала лишь бабка. Она была очень активна и склонна к полемике, которую вела беспрерывно, или чередуя своих оппонентов, или обобщая всех разом. Самым сильным ее аргументом была демонстрация собственного тыла.

Этого довода не выдерживал даже упорный хохол Василь, плевал и выносил резолюцию:

— Экая скаженная стервь! Ее бы на Иоську пустить! Она бы всю его генеральную линию повернула . . . Сам с Кремля утик бы.

Отдельно, в ванной комнате падре, в три этажа размещались: наверху Миша, в средине его мама, внизу — морская свинка. В закоулке под лестницей — Светлана с очередным мужем, при данной ситуации необходимым: одиноких женщин падре в пароккио не пускал. На этот раз должность досталась здоровенному грузину, прирожденному плановику, таланту-самородку в этой области. Он каждый вечер неизменно составлял точный план, пользуясь которым, к вечеру следующего дня должен был стать миллионером. Неуклонно применял его, но миллионером не стал ни разу.

— Апять малынькая нэточность вышла. Удывытелно! — подводил он итог, составляя новый план. — Тэпэр бэз ашибки!

Порой прибывали и новые поселенцы, хотя удобной для их землеустройства площади уже не было. Так однажды, в жаркий полдень, в нашу "для всех" комнату влетело нечто среднее между выкатавшимся в сухих листьях ежом и Робинзоном с иллюстрации очень дешевого издания этой, столь заманчивой для нашей современности, книги. При более углубленном изучении это существо оказалось больше года не стриженным и соответственно немытым человеком, даже доктором, как мы потом узнали.

Это "оно" обежало весь круг наших кроватей и поочередно тыкнуло всех их владельцев пальцем в грудь.

— Этого знаю! Этого тоже знаю! И этого тоже знаю, — повторяло оно, а закончив звездный пробег, село на пол как раз там, где старик Плотников раскидывал на ночь свою постель. — Здесь я занимаю!

— Нет, мил дружок, — отозвался Василь, — здесь живой человек спит . . . А ты откуда?

Место рождения ежа-Робинзона было выяснено лишь в общих чертах.

— Сволочи! — завопил он. — А еще русскими людьми считаетесь! — и зарыдал.

Перед нами на полу сидело опять нечто среднее, но уже между вконец замученным человеком и буйным помешанным. В перерывах между всхлипываниями мы слышали:

— Жена . . . дочка . . . за вокзалом, под откосом сидят . . . Черти вы, а не люди! Не жрамши . . . третий день по Риму гоняю . . .

—Сюда тебя воткнуть некуда, мил человек, — разрешил сложную ситуацию Василь, — а коли ты крыс не боишься, так рядом складское помещение есть, светлое . . . Один там будешь. Идем к падре!

К вечеру докторское семейство было сложено в углу замусоренного склада, а утром этот угол уже был уютно огорожен стеной из пустых ящиков. из них же была сконструирована кровать, даже на окне появилась занавеска из выстриженной фистончиками валявшейся на полу склада бумаги. Сам склад был выметен. Докторша отмывала своего потомка в вывезенном Василем из-под Воронежа корыте. Потом отмыла в нем же и доктора, а нагрешивший за эту неделю парикмахер, по записке падре ,его остриг.

Так шли дни.

Но сколь ни усердствовал воспринявший темпы века сатана, вводя монтевердевцев во грех и в убытки, продналог не мог покрыть потребления и спроса.

—Нету у тебя настоящей профессии, — журила меня жена, — вон, смотри, что инженерно-техническая специальность дает! Камчатский аэродром опять сегодня полсотни банок сгущенного молока сдал . . . и мясных консервов тоже . . . индюшку купили . . . а ты! . . .

Фабрикация жаровен и прочих теплотехнических агрегатов у меня, действительно, не шла. С детства ненавижу всякую технику. Даже когда гвоздь забиваю, всегда стукну со злости по паре собственных пальцев. Где уж тут до современной техники!

— Падре, мне нужна работа! Нет ни гроша.

Падре Бутенелли задумывается. Он подсчитывает грехи всех возможных работодателей.

Наиболее отягченными ими оказался инженер, ведавший общественными работами по починке означенной во всех учебниках знаменитой римской дороги — Виа Фламминиа.

— Копать землю вы сможете, профессоре?

—Эге! Чего подсоветские профессора не смогут? И глаза вставляют, и очки втирают, и туфту забивают! — последние две профессии мне пришлось назвать по-русски. Во французском языке, на котором мы объяснялись, этих терминов не нашлось. Совсем бедный язык! Но падре был удовлетворен моим ответом, настрочил письмо, с которым я явился на прямо противоположную окраину Рима и был там зачислен в рабочую команду.

Ах, как славно работать в Италии!

—Поко (мало), пиано (тихо)! — подталкивают меня лопатами оба соседа в шеренге копачей.

— Поко, поко! Пиано, пиано! — бодро покрикивает сзади десятник, "джеометро".

— Покиссимо! Покиссимо! — мягко роняет появляющийся на миг инженер.

Но и трудно. После стахановских норм, ударных темпов, авралов и прочих милостей социализма рабочему люду ужасно тяжело привыкать к итальянскому методу: весь день проявлять максимум трудового напряжения и дать минимум трудового производства... Для такой системы большая культура нужна. Но я человек восприимчивый и быстро ее усвоил.

Платили неплохо: 800 лир в день и надбавка на семью, дальность и т. д. Подкатывало к 1000, т. е. к пяти кило хлеба с вольного рынка при 200 гр. по карточкам.

Но истинное счастье всегда мимолетно. После моей второй недельной получки принявший меня грешный инженер был проконтролирован безгрешным представителем синдиката. Палец главного прокоммунистического оратора в нашей группе, так сказать, местного активиста, вытянулся в моем направлении:

— Иностранец!

Хотя предоставление работы иностранцам ограни-

чено проклятым фашистом Муссолини, все законы которого отменены победой демократии, меня все-же выперли, а грехи инженера остались неискупленными.

Вопрос об изыскании профессии стал снова на повестку дня.

— Видишь, — говорю я жене, — профессий у меня за годы подсоветской житухи накопилось более чем достаточно. Перечисляя в хронолигическом порядке, я коневод, жокей, лесоруб, вязчик плотов, ассенизатор, актер, грузчик, журналист...

— А теперь отчего за журналистику не взяться?

— Желудочные соки не позволяют.

— Опять чудишь...

— Не чудю, — подыскиваю я правильную форму для этого трудного глагола, — а на самом деле. Эти самые соки гонораров требуют, а у издателей в промфинплане таковые не значатся. К тому же и газеты русские только в США издаются.

— Вот и пиши в США. А гонорар не с издателей, а с читателей получай.

— Теперь ты чудишь.

— Нисколько не чудю. Получает же "Россиянин".

Этот "Россиянин" тоже обитает у нас в итеэровской комнате и значится там доцентом то ли географии, то ли космографии. Я знал его еще по Толмеццо. Там он был журналистом, давал корреспонденции с фронта. Фронт же его был совсем недалеко — в оперативном отделе штаба ген. Доманова, а личный штаб самого корреспондента, тогда носившего другой псевдоним, — в уютной комнатке близ Толмеццо. Практично и гигиенично. Сидит бывало, корреспондент у окошечка и о подвигах пишет. А за окошечком приблудившаяся в Польше коровка травку щиплет... Вдохновляют такие пейзажи!

— Вот это журналист! — продолжает жена. — Всю американскую общественность всколыхнул. Написал о своих страданиях — Рыбаков ему фонд в "России" открыл... "Фонд бедного Россиянина"... Да! Даже какая-то нищая вдова доллар наскребла и послала! Значит, за сердце взял!... А ты...

— Куда мне до "Россиянина"! ... Он и здесь американского майора за сердце прихватил ... аванс у него под книгу выдавил. Кому что дано! Куда мне ...

— Куда тебе ... — презрительно цедит жена. — Ты вот на Лоллика едва-едва одного пакета из Международного Красного Креста добился, а он из трех мест на трех детей получает ... на двух функционирующих, да на одного запроектированного ... Квалификации у тебя нет.

— Ну, это ты врешь! По всем статьям квалифицирован, только раз на экономизме срезался, и то не я, а пифагорейцы виноваты ...

— Какие пифагорейцы?

— Обыкновенные. Римские, там, греческие ... Видишь ли, они не довели до масс свою теорию внутреннего содержания чисел. Что мы с тобой знаем из их великих истин? Только элементы, которые покойные Евтушевский с Киселевым популяризировали ... Таблицу умножения да еще бессмертную истину о штанах великого философа, формулированную великим поэтом в звучном стихе:

Пифагоровы штаны
На все стороны равны ...

— А что еще надо знать? — загорается женским любопытством жена.

— Нужно знать внутренний смысл чисел, так сказать, их социалистический реализм, — разъясняю я. — Вот я не знал. Пришлось мне в качестве экономиста калькулировать себестоимость годовалой курицы-несушки на Росошанском гиганте-птицесовхозе. Я подошел к анализу грубо элементарно. Подсчитал, подытожил, вышло, что эта годовалая квочка стоит нашей социалистической родине вдвое больше, чем годовалая телушка на вольном колхозном базаре. Конечно, с такой квалификацией меня тотчас выперли. Хорошо еще, что под суд не отдали!

— Ну его, Пифагора ... Еще чем ты был?

— Был еще собирателем плодоовощных косточек, профессором, сортировщиком утильсырья, музейным работником ... Стоп! — хлопаю я себя по лбу. — Эв-

рика! Будем кукол делать! Я, работая в музее, папье-маше формовать у макетистов научился. Такого Ворошилова под Царицыным отмял, что весь крайком им любовался, пока крысы его не обгрызли . . . Техничка нафталин спера. Директору три года вкатили . . . Но это ситуации не меняет: будем делать кукол!

На грешниц был наложен особый сбор. У нас в углу выросла куча тряпья всех видов.

Комбинат кукольного производства начал работу.

**
*

Я — Роден или Бенвенуто Челлини? Сам не знаю. Отливаю гипсовые формы итальянок, турчанок и кого угодно . . . Жена — Ворт, помноженный на Пакэна, — шьет им соответствующие одеяния. Старик Плотников сидит тут же, мастерит какое-то приспособление к своей патентированной жаровне из целой комбинации консервных банок. А за окном, на солнышке, беседуют две инженерши. Сидят они на ящиках.

— Мы в Праге всю меблировку бросили, — вздыхает чешская инженерша. — Я с одной сумочкой выскочила . . .

— И у меня все, ну, все было . . . — отзывается камчатская.

Ее собеседница явно задета за живое и язвительно спрашивает:

— Что это "все" у вас в Совдепии?

— Все, ну, решительно все было, — не уточняет ответа камчадалка. — Мы с мужем так прекрасно зарабатывали, он — главинж, я — главбух . . .

— Врет она, или там правда так жилось, — отрывается от работы Плотников, — вот у нее все было, а другие говорят — и спичек там порой не достать было . . . Не понимаю!

— И не поймете, Кондрат Иванович, — отвечаю я. — Чтобы это понять, пожить там нужно, в этом самом пролетарском котле провариться. Проваритесь, — дадут вам по блату ржавую селедку или полфунта колбасы, а у соседа и того не будет, тогда и скажете, что "все" у вас есть . . .

— А что это за блат такой?

— Это дело сложное. Вы лучше у инженерши спросите. Она — главбух. Ей и книги в руки.

— "Все"! — вступает в наш разговор жена. — "Все"! Действительно! Он вам ничего объяснить не сумеет, у него не так голова устроена. Я вам про "все" и "ничего" расскажу. Мне семнадцать лет было, когда у нас на Кубани эта свистопляска началась, я только что епархиальное училище кончила . . . И с тех пор, верите ли, шестнадцать лет, все шестнадцать лет, пока замуж не вышла, у меня сменного платьица не было! Стучала на машинке . . . мать старая, сестренка — девочка, отец, к счастью, умер, брата-корниловца убили, дядья к Шкуро ушли и сгинули . . . Одни мы одинешеньки! Верите ли, нет ли, а за всю мою молодость я себе флакончика духов паршивеньких купить не могла . . . ни одного дрянненького пузыречка . . . В пединститут босая поступала . . . А как хотелось — ленточек каких-нибудь, чулок . . . Девчонкой ведь была . . .

Она вскипает и несколько раз обегает вокруг стоящего на средине комнаты "общего" стола. Плотников водит за ней старческими тусклыми глазами и тянет:

— Да-а-а . . .

— "Все"! — стучит по столу жена. — "Все" это проклятое, нищенское, мизерное! А потом мы с мужем на шести службах больше двух тысяч в месяц выгоняли, а все-таки в пригородный лес бегали "карандашики" в "буржуйку" собирать, в колхоз на аврал картошку копать из десятой доли . . . Почему? Потому что блатовать не хотели . . . Как это вам объяснить? Пресмыкаться, что ли? Жульничать? Не сумею . . . Так вот, — подбегает она к Плотникову и трясет его за плечи, — вот если бы мне тогда метр шерстянки на юбчонку дали, колбасы полкила, да одеколона флакон . . . и я бы сказала: "все" у меня есть . . . от души, от сердца бы сказала . . . понимаете?

— Понимаю . . . — опускает Плотников седую свою голову. — Теперь понимаю.

— Нет, вы слушайте, слушайте . . . тогда вы, "ста-

рые", нас, "новых", поймете, — не унимается жена. — "Все" это проклятое я здесь получила. Что мне? Лоллик обутый бегает, дрова с неба падают, макароны в Папской столовой сегодня дали и завтра дадут ... Вот оно, мое "все"!

Волна годами всей жизни скипевшейся горечи, мути серых, беспросветных дней спадает. Нина, дочь казачьего священника, лишенка, щепка, пронесенная с Кубани на Тибр, устало садится на кровать.

— Вот для всех ваших, каких я в Белграде видела, немцы враги были, поработители ... А я за них каждый день молюсь, что вывезли, вызволили из жизни этой проклятущей ... Вы не поймете ...

— Нет. Понимаю. Как не понять.

Две мутные слезы катятся по иссеченным морщинами щекам.

16. ВЕКА И ДНИ

Пьяцца Колонна — один из лучших районов сбыта наших кукол. На ней крупнейшая в Риме стоянка авто. Мы готовим для их шоферов маленьких куклят — "porta fortuna", каких вешают на передних окнах машины: ангелят, чертенят, негритят, паяцев.

Приносит ли наша продукция обещанное счастье, я точно не знаю, но клятвенно уверяю в этом покупателей на своем русо-гало-романском наречии.

— Фортуна! — сую я в кабинку негритенка. — Мольто фортуна! Пароль д'онер! Ни одной старухи не задавишь, итальянская твоя голова! Чента лире! Дешевка ... Покупаре и пеньяре монэтто!

Мои слова, очевидно, кажутся покупателям чем-то вроде магических заклинаний, и доверие возрастает в равной степени и к ангелятам, и к чертенятам, несмотря на общепринятое представление об их несколько различных ремеслах. Адско-небесный товар идет ходко, и я нередко вижу на Корсо машины, украшенные произведениями нашего искуства.

— Донателло! Микель Анджело! — восклицаю я тогда. — Смотрите, ваши ангелы в музеях да в старых церквах с тоски дохнут, а мои по Корсо порхают, фаршированных долларами янки от бед оберегают... Чей козырь старше в игре сегодняшнего дня?

Площадь моего торга получила свое имя от высящейся на ней колонны. По колонне вьется спираль ленты высеченных на камне горельефов. Она рассказывает о великих деяниях жившего в далеком от нас веке могущественного императора, философа и законодателя, победного в битвах полководца и скромного в жизни мудреца. Колонна славила его имя в веках...

Но пришли дни, когда изображение славного императора сволокли с колонны его славы и бросили в непотребное место. При новой смене дней его вырыли из мусора, а заодно прихватили из праха веков коечто из его мудрых речений. Императора отмыли от мусора минувших дней и водрузили на иной постамент, в ином помещении, в назидание потомству дней грядущих. Потомство притекает его лицезреть, назидается и уплачивает за это назидательное лицезрение знаками дней. Порою звонкими, порой незвонкими, но всегда существенными, действительными и, следуя формуле мудрейшего Гегеля, — разумными. Прихваченные заодно его речения тоже рассовали по соответствующим помещениям, тоже в назидание, но существенная польза от этого их размещения весьма сомнительна. Ни один день не дает за нее ни одного своего знака. Колонна с его великими деяниями осталась стоять на прежнем месте. Знаком ушедших веков. Торчит и торчит. Лицезри и назидайся от нее, сколько влезет. Знаков дней за это с тебя не причитается. Если же таковые тебе в какой-либо их форме, звонкой или глухой, потребуются, — пожалуйста! Вот они! Тут же!

Русский язык, самый диалектичный и прогрессивный, так их и титулует: ден-знаки. Просто и точно. Прочие консервативные нации на это неспособны. Поэтому вокруг колонны и трещат на всех языках устарелые термины:

— Фунт! Марки! Пезо!

Это обычным повседневным говорком. Потом громозвучно, торжественным возгласом:

— Доллары!!!

А рядом минорно, просительно, стыдясь своего унижения и падения:

— Франки франчезе . . . динары . . . лиры . . .

Знаки дней прыгают и поют свои песни на площади Колонны. Знак веков на ней торчит и молчит . . .

Опознать своего соотечественника в международной толкучке на пьяцца Колонна более чем трудно. Знаки дня стирают с лиц и фигур все прочие обозначения. Но руские встречаются и здесь. Где их нет теперь в Риме?

Вот передо мною мелькают спина и затылок. В них что-то очень знакомое. Они на мгновение исчезают, тонут в серой, мутной волне и снова выныривают на ее поверхность . . . снова тонут и снова выплывают, как будто их владелец беспрерывно кладет земные поклоны.

В чем дело? Я протискиваюсь сквозь сгустки человеческой пены, обгоняю его и заглядываю в лицо.

— Михаил Михайлович! Вот не ждал видеть!

Еще одна такая-же, как и я, щепка из порубленного леса, занесенная на площадь Колонны веков ветрами, знаменующими дни. Он был бессменным секретарем нашей, подхваченной этим ветром редакции, менявшей свои пристанища, сотрудников, заголовки газет в петлистом тысячеверстном пробеге и бессменно хранившей на всем его протяжении лишь одно — верность в ненависти и любви.

Четкость, методичность, спокойствие — его основные черты. Вероятно, по ним я и узнал его спину, размеренно погружавшуюся в людское месиво и столь же бесстрастно поднимавшуюся из него вновь.

— Михаил Михайлович, а ведь я считал вас погибшим!

— Как и я вас. Вероятно, мы оба были недалеки от истины.

Но, оказывается, что я был гораздо ближе к ней: круживший над Италией черный ворон, скользнувший

до мне лишь тенью своего крыла, держал уже его в своих когтях. У Михаила Михайловича не было ворожившей мне мимоходом стахановской бабушки Финика. Он и его старуха-мать застряли в одной из деревушек близ Толмеццо, были схвачены партизанами и водворены за проволоку в советский лагерь.

— И выбрались все-же?

— Как видите.

— Но каким образом?

— Католический священник принес под рясой садовые ножницы. Ночью прорезали проволоку и выползли небольшой группой.

— А мать с вами?

— Конечно. И она проползла.

Голос Михаила Михайловича тих и ровен, и рассказ его спокоен и бесстрастен, как отчет об очередном профсоюзном собрании в районной газете.

— Это-ж хроника. Спаслись, значит, не стоит тратить патетических красок. А вот о Польском знаете? Его увезли, а жена его утопилась. Кроме нас, мало кто выскочил из-за проволоки.

— Охраняли строго?

— Нет... В начале даже совсем слабо. Тут иная причина. Сдавливала, обессиливала, стерегла безысходность. Куда же потом, прорезав проволоку? Вот это сознание и разрыхляло волю.

— Но нашли же вы это "куда потом"?

— Нашли. Но знаете, как искали? Хотите послушать?

Мы покидаем площадь крикливого, потливого дня и его затрепанных, изорванных жадными руками знаков, бредем путаными переулками, выходим на укрытую от зноя аллеями старых буков набережную и садимся близ какого-то полуразрушенного портика. Перед нами густая зелень кипарисов вокруг мавзолея Августа. Позади — желтые волны Тибра. Это века.

Под кипарисами навалено несколько куч ржавых банок из-под американских консерв, пробитых бидонов из-под бензина. Это дни.

Невдалеке от нас один из мостов. Он носит имя ге-

нерала Гарибальди, не вложившего ни одного камня в его основу. На мосту, надрываясь, звонят трамваи, ревут авто, орут газетчики. Рядом с ним из воды торчат две арки другого моста, имени которого никто не знает. Они единственные сохранившиеся в днях от веков Вечного Города, веков, когда он был сердцем и мозгом мира. На них тихо, никто не кричит и не звонит. Живут ли там еще хотя бы ящерицы или крысы? Вряд-ли . . .

Михаил Михайлович рассказывает, я слушаю. Тибр струится в веках. Рассказ течет в днях.

В жутких, мутных днях, когда он и его мать Николавна, столь российская, пшеничная, русской печи теплом обуюченная, что другим именем он и сам ее назвать не может, брели по дорогам Италии, прятались в пустых вагонах и в них куда-то ехали, где-то под оливами ночевали, тоже хоронясь за камнями . . .

Михаил Михайлович рассказывает неторопливо спокойно, как и все, что он делает. Вероятно, эта его размеренность и помогла ему все-таки найти дорогу. У других ее не было. Их толкал порыв. Сила его иссякала, и они погибали. Он выжил.

— Ну, а теперь чем, как, где живете вы?

— Чем? Вот чем. — Михаил Михайлович лезет в карман и выгребает горсть окурков. — Собираю их по улицам, особо посещаемым солдатами союзников. В хороший день сбор граммов 150-200. Этот американский табак на рынке 2 лиры за грамм. Его подмешивают для вкуса к итальянской дряни. Где? Вот там. — Он указывает за Тибр и называет один из глухих переулков — Как? Сопоставьте одно и другое, а лучше заходите к нам. Тесновато, две семьи на шести квадратных метрах, но спокойно и всего три тысячи лир в месяц.

Я произвожу в уме беглый подсчет. В окурке может остаться не более одной десятой грамма. Следовательно, для того, чтобы набрать 200 граммов, нужно нагнуться две-три тысячи раз. Нет, Финикова бабушка мне еще не перестала ворожить. Мои куклята добрее и щедрее, чем пажити улиц, излюбленных англо-саксами . . .

— Ну, а в лагерь, в УНРР-овский, не пробовали?

— Обхожу стороной даже само управление УНРРА. Второй раз прорезать проволоку мало приятно.

Эта операция оставила глубокий след в сознании Михаила Михайловича. Несмотря на страшную нужду, он до отъезда за океан так и не прибегнул к помощи лагерей ни УНРРА, ни ИРО. Стреляная ворона . . . Даже к князю С. Г. Романовскому пошел только после долгих моих уговоров и заверений в том, что там ему ничто не может угрожать.

Был ли он трусом? Я знаю его достаточно, чтобы сказать нет. С его стороны это была только спокойная, разумная осторожность, трезвая продуманность своих действий, столь свойственная его натуре. Он допускал лишь неизбежный минимум риска. Не больше. Многие факты нашей дальнейшей жизни показали, что он был прав.

***

Мать Миши, того, что живет с нею и с морской свинкой в ванной комнате падре Бутенелли, — моя землячка. Она знала меня по фамилии еще задолго до того, как начались наши скитальческие дни бесприютного мыкания по европейским развалкам. Вероятно поэтому она, получая обед в Русском Собрании, говорит со мною. Но те немногие слова, которые я слышу от нее, всегда произнесены шопотом, в темном углу передней, с оглядкой, сторожко, боязливо . . .

Страх — основная эмоция, владеющая всем ее существом, управляющая каждым ее движением, каждым словом, каждым взглядом . . .

Страх, страх и только страх . . . Когда я смотрю вслед ей, уходящей со своими судками из консервных банок по залитому полуденным солнцем блистательному Корсо, мне кажется, что она убегает от собственной тени, гонящейся за нею, и прыгающей по стенам домов, по асфальту троттуара.

Страх . . . страх . . .

Для удобства рассказа я назову ее Мариной, но это не ее имя. Марина не вымышлена мною, не персонаж, склеенный из кусочков разных людей. Она существова-

ла и существует теперь, в дни, когда я пишу эти строки. Сейчас она живет в каком-то итальянском монастыре, куда ее загнал страх.

В те дни, когда все мы, стремясь как-то оформить свои компрометировавшие нас в странах гуманизма русские беженские лица, выправляли себе липовые и из прочих, столь же сомнительных, материалов документы, Марина решительно отказалась и от помощи наших новых русских друзей и от помощи понявших нашу трагедию католических священников. Она не выправила себе ни "карта д'идентита", ни "соджорно", хотя это делалось довольно легко. Как сумел прописать ее у себя падре Дон Джиованни—непонятная для меня тайна. Могу лишь предположить, что и здесь не обошлось без какого-нибудь совершившего все семь смертных грехов полицейского инспектора . . . Дело того стоило.

Мы толпимся в передней Собрания, ожидая, когда очередная Домѐника признает готовность своего супа с макаронами, и славная адмиральша, за которой даже сам Колчак, будучи в мичманском чине, ухаживал, сядет за свой столик и начнет выдавать билетики. Мы шуршим, как пчелы в улье, делясь новостями. Новости разные: где-то записывают в какую-то доселе мало кому известную экзотическую республику, где-то что-то выдают беженцам, откуда-то, кто-то, что-то сообщил о предстоящей перемене во внешней политике какой-то великой державы... вдруг... искрой в мутной полутьме:

— Из Чине-Читта сегодня утром трех увезли . . .

— Куда?

— Не понимаете, что ли? Вчера родились?

Марина хватает свои судки порываясь бежать . . . Куда? Куда же?

— А на Виа Тасс сегодня ночью партизаны опять налет сделают . . . Из самых верных источников слышал . . .

Куда же?! Куда?! Марина ставит судки на пол. Некуда.

— Ничего. Обойдется. Отец Филипп отстоит. Саков туда на ночь поедет. А князь уже кого надо подготовил. Не раз уже налетали, да и поворачивали оглобли.

Бальзам ободряющих слов не в силах подавить страха Марины. Никому, ни во что она не верит. Ни в дипломатический такт отца Филиппа, ни в мощь стоящего за ним Ватикана, ни в силу связей князя Романовского, ни в жертвенную смелость А. Н. Сакова . . . Ни во что. Под конец ее жизни на Монте Верде она заподозрела врага даже в укрывшем ее падре Бутенелли, бежала оттуда и скиталась дни и ночи по садам Рима, кладбищам, тихим, открытым весь день церквам.

Не только совместная жизнь с нею, но и случайное общение стало тягостным . . . Встречая ее на улице, я прятался в ближайших подъездах. Падре Бутенелли принужден был увезти контрабандным путем Мишу в Аргентину. Надо было спасти этого талантливого, не по летам рассудительного мальчика.

Никто и никогда не подсчитает легионов таких Марин всех видов, возрастов, характеров, мечущихся в наши дни, в наши трижды проклятые дни по лицу всего мира. Но я, профессиональный репортер этих проклятых дней, заносящий в свой блокнот факты и только факты, утверждаю, что в каждом из нас, людей этих дней, от диктующих свою волю миру Трумана и Сталина смертника-доходяги, доживающего свой последний час на Воркуте, содержится зерно того же страха, который заполнил собою все существо Марины. Разница лишь в его размере.

Крупица этого страха проклятых дней, таящаяся в сердце защищенного двумя океанами и всею мощью сильнейшей мировой державы Диксона или Джонсона, разрастается и заполняет все существо никем и ничем не защищенного, но всеми и всюду гонимого, мечущегося по враждебному миру Петрова и Иванова... "Цыпленки тоже хочут жить . . ."

Я знаю несколько самоубийств на почве этого страха, совершенных в лагерях ИРО в Италии.

В лагере Пагани я наблюдал трагикомическую одиссею некоего Гриши, бывшего красноармейца, разыскавшего в Нью-Иорке свою милую и к тому же состоятельную тетушку. Эта тетушка выслала ему через знакомых пакет с одеждой и приличное количество

долларов. Но к тому времени, когда эти радости, переплыв океан достигли берегов Европы, зерно страха, привезенное Гришей с "горячо любимой" родины, разраслось. Гриша усмотрел в извещении о посылке ловушку и убежал в другой лагерь от доставившего пакет итальянца. Честный итальянец снова нашел его, но Гриша снова убежал. Так гоняли они по всем южным лагерям Италии, пока Грише не подвернулась австралийская вербовочная комиссия, охотно укрывшая в какой-то пустыне бедного Гришу от посягательств тщетно звавшей его в Нью-Иорк доброй тетушки. Куда дел итальянец недоставленный пакет, я не знаю.

Другого бывшего красноармейца я видел в больнице для безнадежно помешанных в городке Ночеро. Боясь отравы, он не принимал пищи, и его кормили насильно, связав смирительной рубахой. Худой, как скелет, он ничего не говорил и никого не узнавал, неподвижно лежал на своей койке.

На Пасху несколько русских из соседнего Пагани пришли к нему вместе с приехавшим из Рима священником отцом Антонием... Ни на одно их слово ответа не было. Потерявший свое имя занумерованный труп не шевельнулся, и лишь увидев крест на груди отца Антония, прошептал:

— Отец... Филипп...

Искра памяти вспыхнула и погасла в темной пучине страха...

Страх — владыка дней. Проклятых дней!

***

В средине мая 1947 г. по общежитию на улице Тассо, по Русскому Собранию и всем углам, где ютились русские беженцы, прозвучало полное страшного значения слово:

— Римини.

Сперва проползли неясные слухи: в кампо Римини, близ Болоньи, куда были отправлены партии русских из Чине-Читта и других лагерей, произошла выдача.

Кто был выдан, сколько людей было обречено на гибель, кем совершено это подлое дело — не знали.

Страшная правда, казавшаяся многим невероятной, невозможной в мире христианской цивилизации, стала во всей своей наготе из рассказа прибежавшего пешком в Рим полубезумного от ужаса человека.

Группы русских беженцев, вывезенных из Чине-Читта и других лагерей, были замкнуты в Римини тройным рядом колючей проволоки. Батальон войск христианской британской армии нес усиленную охрану. На постах были установлены пулеметы. Внешние дозоры вокруг лагеря патрулировали днем и ночью. Сам лагерь был поделен проволокой на клетки, контролируемые внутренней стражей. Жили в палатках. Пропуски в город выдавались лишь несшим внутренние работы в лагере раз в неделю.

Комендантом Римини был полковник Мартин, офицер британской армии. Неофициальными начальниками русских были майор РОА Иванов и полковник Лобасевич, казак, с женой и ребенком.

5-го мая полковник Мартин объявил об отправке в Англию на работы 165 русских, отобранных им самим. Вызывали по списку и полковник Мартин заверял честью британского офицера, что выдачи не будет. Потом он вызвал к себе майора Иванова и снова лично заверил его, поклявшись на Библии.

Майор Иванов, вернувшись, передал его заверения и клятвы, в которые сам глубоко поверил. Впечатление было таково, что многие, не занесенные в список, стали просить о зачислении их в отбывающую группу.

Им было отказано. Полковник Мартин действовал строго по инструкции своего социалистического правительства.

Люди из безбожной страны верили клятве, верили чести офицера христианской армии, защищавшей основы гуманизма, свободы, демократии, цивилизации.

Квадрат № 4, где были собраны 165 русских, предназначенных к отправке, был изолирован от остального лагеря сплошною цепью автоматчиков. Там шел обыск. Отбирали все острое и режущее, вплоть до иго-

лок. Опыт Лиенца, Дахау, Платтлинга был учтен. Порой оттуда слышались крики избиваемых. *)

Утром 6-го мая началась отправка на станцию, бывшую в пяти километрах от лагеря. Увозили на грузовиках, и каждый был окружен мотоциклистами-автоматчиками. Позади каждого шел джип с пулеметом.

При посадке били.

Место погрузки на станции было подготовлено заранее, тоже опутано проволокой и патрули не подпускали к нему никого ближе трехсот метров.

Железнодорожники-итальянцы позже рассказывали, что там произошла схватка. В течение десяти минут слышалась сильная ружейная и пулеметная стрельба, разрывы ручных гранат. Посадочная площадка потом охранялась в течение трех дней. К ней не подпускали даже итальянцев. Очевидно, шла уборка трупов.

Потом об этом рассказывали так. Майор Иванов вырвал гранату у одного из конвойных, метнул ее в стражу и безоружный бросился на нее. Ему удалось схватить карабин и сделать несколько выстрелов. За ним бросились на прорыв еще несколько человек. Они пробились к железнодорожным путям и засели под вагонами, имея несколько захваченных винтовок.

Англичане открыли по ним пулеметный и ружейный огонь, которым они были поголовно истреблены.

Такова легенда, но точность ее сомнительна. Очевидцев нет. Вполне достоверен лишь сам факт происшедшей схватки. Майор ли Иванов или кто другой пер-

---

*) Рассказ о предательстве в Римини записан мною со слов очевидцев, бывших там, но не попавших в проскрипционный список. Из числа попавших в него я не встречал ни одного человека и не слыхал, чтобы таковой был. Думаю, что не спасся никто. Две семьи, зачисленных в список, но уцелевших, были отправлены из Римини отдельно, под конвоем команды капитана Хильса, который за свой страх допустил их побег. Очевидно, порядочные люди попадаются даже в британской армии.

Б. Ш.

вым бросился на прорыв, но попытка смертников погибнуть с честью и бесчестное уничтожение их сомнению не подлежит.

Поезд с репатриируемыми был отправлен под сильнейшим конвоем и шел без советской охраны до границы. Передача состоялась вне Италии. Таможенный офицер, просматривавший вагоны на границе, рассказывал о виденных им лужах крови, мертвецах и умирающих, перерезавших себе горло и вскрывших вены жестью от консервных банок. Сообщение об этом глухо промелькнуло в итальянской прессе. В свободной печати страны классической демократии — Англии — ни один голос не прозвучал, обличая это гнусное дело своего социалистического правительства, от которого полковник Мартин получил награду за блестяще проведенную им операцию.

Могли ли мы, избравшие свободу российские беженцы жить без страха за свою свободу и самую жизнь в те дни торжества и победы защитников и апостолов всех демократических свобод и гуманизма?

***

Но разговоры в шумном в этот час Собрании далеко не всегда полны страхом. Волны очередных паник взметываются, проносятся, и снова играет лазурь безмятежных небес, распростерших свою синь над Вечным Городом.

— Господа! Я только-что из собора Св. Петра... Самого Папу видел! Народу было! Тысяч сто! Великолепие!

Рассказчик не врет. Я тоже был там в этот торжественный день канонизации какой-то новой святой. Народу было, действительно, около ста тысяч, как сообщило уже радио. Оно же транслировало и речь Папы, услышанную на пяти шестых современного мира.

Голос веков пытался зазвучать в мире дней. Дни ответили ему громом аплодисментов. В католической Италии тенорам, чемпионам бокса и Заместителям Христа на земле апплодирует с одинаковым усердием.

Да и почему же не апплодировать Его Святейшеству Папе Пию XII, действительно самому блестящему оратору страны, чуть не в каждом городе которой вы можете видеть отделение "Банка Св. Духа", где тончайшие сорта вин названы "Слезой Христа" или "Молоком Богородицы"?

В Святом 1950 году мне пришлось видеть выставку современной религиозной католической живописи. Экспонаты были собраны со всех стран мира, в каких обитает полумиллиардная паства Римского Отца. Я бродил, как зачарованный, замирая то перед утонченной китаянкой Марией, возносящей за спиной Своего жертвенного Сына над хаосом облачных драконов, то перед индусской Девой, экстатической святой Баядерой, окруженной неземным великолепием райского сада, то молитвенно следовал за арабом Иосифом, бережно проносящим рожденное Слово Жизни сквозь мертвенное безмолвие пустыни...

Нет, думалось мне, могучая праматерь племен, загадочная Азия еще не одряхлела, если таит в себе источники и силы **такой** веры. Пожалуй, мы, русские, должны гордиться близостью своего родства с ней.

В самой большой из зал я тоже остановился, но по другой причине. Мне показалось, что я попал на конкурс рекламных плакатов. Краски нестерпимо блестели, кололи, жгли, кричали, пестрели множеством и разнообразием формы. Полотно подражателя мастерам Возрождения висело рядом с геометрическим чертежем ученика Пикассо... Формы, формы и только формы, бездушные, бессмысленные... Это была зала Италии, все запасы духа которой остались в сейфах банка San Spirito. Впрочем, в отделах других стран Европы, за исключением Испании, духовности было не больше. Отчего же не апплодировать блестящему оратору Пию XII, по сравнению с которым и Толлиати, и Ненни, и сам медоточивый Саррагато не более, как жалкие заики.

— Какая пышность, — продолжает рассказчик, — сначала шла швейцарская гвардия в средневековых костюмах, потом гвардия нобилей — в наполеоновс-

ких... Прелаты, кардиналы в алом, малиновом, лиловом... шелк... бархат... Потом вынесли самого Папу под балдахином и все сто тысяч пали на колени, как один человек... Потрясающе!

— Ну, а дальше?

— Дальше он говорил.

— О чем же?

— Я, знаете ли, не силен в итальянском, да и поздно уже было. Некогда.

Я был терпеливее рассказчика, и у меня было еще свободное время. Я слушал. Духовный глава полумиллиарда людей просвещеннейших, культурнейших наций наших дней призывал свою паству к пробуждению в себе угасшего Духа.

Его ежедневная молитва теперь: "Спаситель мира, спаси Россию".

Вторит ли кто-нибудь из паствы этим словам Пастыря?

***

Когда я возвращаюсь из собрания к себе на Монте Верде, мне приходится проходить по кварталам, прилегающим к площади парламента. В днях 1946-47 г. г. этот путь был чреват самыми неожиданными препятствиями, возникавшими там, где их совсем нельзя было ожидать. Идешь, например, по прекрасно знакомому переулку, где вольготно, зевая по сторонам, проходил всего лишь час назад, вдруг перед тобой оказывается густая цепь карабинеров в полной боевой готовности...

— Стоп! Баста! Закрыто.

Ладно. Везде свои порядки. У свободных демократий тоже, а мы — народ привычный. Сворачиваю в боковую уличку, так сказать, во фланговый обход и... упираюсь в самый настоящий танк с торчащими из башни пулеметами.

Тоже дело знакомое. Следовательно, надо поворачивать обратно, на Корсо и продвигаться глубже в обход, через пьяцца Венеция, километра полтора крюку. Иду. Но опять неожиданность: там, где я только что

глядел на ссору двух торговцев черешнями и практически осваивал красоты языка Данте Алигиери, моих учителей уже нет, а вместо них стоит молчаливый пехотный пост тоже с пулеметом!

— В чем дело, синьор? — обращаюсь я к твердо укрепившемуся в своем бункере торговцу газоттой.

— Политическое событие, — дремотно отвечает он, — в Турине полицейский ранил любовника своей жены . . .

— Но ведь это, так сказать, локальная акция, мы же в Риме . . .

— Грохот политических событий раскатывается по всей стране. Ждут выступлений коммунистов. Нужно охранять парламент.

— Да, конечно, нужно защищать депутатов от их избирателей, но как мне теперь проскочить к понте Гарибальди?

— Идите вон в тот двор, синьор, через него попадете в другой, а оттуда к Пантеону. Дальше спросите.

Милый народ итальянцы! Всегда помогут иностранцу. От Пантеона к мосту я дорогу знаю.

Я люблю Пантеон больше, чем какой-либо из храмов Рима. Он всегда пуст и тих. Редко-редко подъедет к нему авто с туристами, и даже их крикливый гид умеряет свои словоизвержения под держащим тяжесть двух тысячелетий куполом.

"Марк Агриппа — Неведомому Богу", гласит надпись на его фронтоне. Два тысячелетия ее не стерли. Она жива. Бог остался столь же неведомым человеку, как неведом Он был Марку Агриппе, выстроившему Ему этот храм. Марк Агриппа был сенатором и префектом Рима веков.

Что строят сенаторы и префекты Рима дней, огородившись танками и пулеметами?

Я медленно обхожу циркульный зал храма Неведомому. Иду мимо ряда ниш. В веках там стояли статуи укутанной покрывалом Изиды, нерушимо хранившей тайну Праматери всего сущего, загадочных судий человеческих жизней в обвитых мудрыми змеями тиарах, радостного Юноши с овцой на плечах.

К ним приходили. Их вопрошали.

Теперь в этих нишах разместились пышные гробы с истлевшими костями.

К ним никто не приходит и ни о чем их не спрашивает.

Через круглое окно в вершине купола видно вечно безмятежное небо.

Оно молчит.

Из сумрака храма я возвращаюсь в свет дня. По площади с грохотом ползет танк.

17. "РУССКИЙ КЛИЧ"

— Господа! Уважаемый докладчик нам только что блестяще и всесторонне осветил всю глубину творчества Достоевского, но преклоняясь перед почтенным профессором, я все-же позволю себе внести некоторые дополнения. Совсем коротко, господа! Не беспокойтесь!

Дмитрий Семенович Товдин смахивает улыбку со своего подвижного, остренького личика и, придав ему комично глубокомысленное выражение, прогуливается по эстраде. Публика замирает, готовясь прыснуть смехом. Она знает своего любимца — злободневного куплетиста, рассказчика и конферансье.

— Итак, — поднимает палец Товдин, — недостаточно освещена современность Федора Михайловича Достоевского. Время позволяет мне коснуться вопроса лишь бегло. Я отмечу только созвучие названий его произведений с темами наших дней, именно наших, дипиевских, господа, наших! Каков провидец! И нас, вот нас, здесь сидящих, ухитрился увидеть.

Некоторые из занимающих кресла и скамьи Собрания, в этот вечер чествования памяти Достоевского, начинают посматривать на эстраду с опаской: а вдруг сей-

час меня продернет, подлец... Язык у него, как шило... и в мешке достанет!...

— Начнем с "Преступления и наказания" — вечная тема. Нашкодил, так сказать, а я тебя, голубчика —цоп!... И сам не знаешь, за что! Вот и у нас, в доме на Виа Тассо, то же. Сидит это человек, вернее дипивец, и режет табачок... Ну, какое же, кажется, в этом преступление? Табак — не старуха-процентщица, его без греха резать можно... Нарежет кило три и тащит на базар. Вот, думает, честным трудом на пол кила мордоделки, колбасы этой, заработаю... Мечтает, а его — хлоп! Ты, говорят, распространиерная твоя душа, на свободу нашей освобожденной страны посягаешь! "Преступление". Заберут три кило табака (ведь это на три тысячи лир выходит!), да и самого в каталашке ночь продержат. "Наказание". Ну, как-же не провидец Достоевский?

Вся публика сочувственно ржет. Кто не грешен в резке листового табака для прокормления своего бренного дипиевского тела!

— И дальше... Возьмем "Бедных людей". Разве их без гениального провидения угадаешь? Сам ведь у него пачку долларов пальца в три видел! Думал — богач. Ан — нет!

Кое-кто начинает поеживаться. Кое на кого уже поглядывают.

— Стоишь это где-нибудь, — продолжает Товдин, — где на бедность подают... Ждешь часика три... вдруг, видишь: он самый из кабинета выходит и здоровенный тюк тащит... на бедность, значит... Ну, если бы был богачем, разве такую тяготу поволок бы?

Не в бровь, а в глаз кое-кому! Вот шельма Товдин!

— Или "Идиот". Исключительно современное и всеохватывающее произведение, подлинно, как докладчик сказал, всечеловеческое! Кто он — идиот этот? Да тот, кто надеется, что его в эмиграцию, примерно хоть в Аргентину, вывезут... Ну, не идиот ли? Как по-вашему?

Здесь уж острие сатиры жалит в самое сердце. Мы все записались в Аргентину, но получают визы через Синодальный Комитет почему-то сербы... Поче-

му? Председатель Комитета свято хранит разгадку этого трудного ребуса.

Зал дружно грохочет аплодисментами. Товдин раскланивается.

— Еще лишь два слова, господа. Закончу свое внеочередное сообщение цитатой из другого русского классика: "Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!"

Сатирик Товдин был неизменным заколачивателем последнего "гвоздя" на еженедельных вечерах-концертах в Русском Собрании Рима.

Князь С. Г. Романовский и автор этих строк столь же неизменно начинали их докладами на тему русской культуры, средину составляли музыканты, певцы из обитателей лагеря Чине-Читта и общежития на Виа Тассо. Душой и организатором этих вечеров был секретарь Собрания А. Н. Саков. Зал всегда бывал полон.

Были ли они только развлечением томящихся от скуки дипийцев?

Вряд-ли. Прежде всего потому, что в напряженной обстановке тех дней, скуке, ностальгии не было места. Вернее будет предположить, что их успех был обусловлен общественным инстинктом, неразрывным с жизнью людей даже в дипийно-нечеловеческом состоянии.

Характер сатиры Товдина был идентичен направленности советского анекдота: и в одной и в другом был выражен протест "угнетенных и оскорбленных", но бессильных защитить свое человеческое достоинство. В этом таился и секрет их успеха.

От Чине-Читта до Собрания часа полтора езды. Назад — еще больше. Вечером чине-читтинский трам ходил реже, и его ждали подолгу, порою под дождем. Но ехали. Влекло. Что? Не высокое качество выступавших артистов. Его не было и не могло быть. Тянуло иное — стремление почувствовать, осознать, назвать себя своим русским именем, отнятым, брошенным, поруганным и растоптанным.

Это чувствовалось и ощущалось всеми, но было осознано не многими. Оформление этого сознания проявило себя на трех страничках печатанного на машинке текста под заголовком:

"Русский Клич".

В 1946 году в Риме не получалось ни одной русской газеты. Их не было тогда в Европе. Мельгуновские сборнички и "Русская Мысль" стали выходить позже. Изредка попадали случайные, сильно запоздалые номера "России", а возникшие в германских лагерях гектографические выпуски совсем не доходили.

— Сможете вы к пятнице дать статью? — обратился ко мне А. Н. Саков, секретарь Русского Собрания.

— Куда? На сколько строк? — воспрянул я, как кавалерийский конь при звуке трубы. Давно, давно не слышал я этих магических для каждого подлинного журналиста слов.

— Попробуем выпустить журнал... Ну, пожалуй, сказать журнал будет слишком громко... так, что выйдет. На гектографе...

Вышло через неделю три печатных листика под заголовком "Русский Клич".

— Не слишком ли громкое название?

— Нет. Почему же? Ведь Москва от копеечной свечки сгорела. Это не только пословица, но реальный неоспоримый факт.

Так прозвучал "Русский Клич" — первый русский журнал, вышедший в Вечном Городе. Он был слаб. Еле слышен. И все-же на него тотчас-же откликнулись другие русские голоса.

Инициаторами, создателями, организаторами, типографами и экспедиторами новорожденного были А. Н. Саков и Н. Э. Вуич, "старые" эмигранты, уже пустившие прочные корни в почву Рима. На их голоса тотчас откликнулись "новые" и с Монте Верде, и из дома на Виа Тассо, и из рассеянных по всей Италии лагерей, и из Бог весть каких еще углов, по которым спрятались русские люди, не смевшие подать из них своего русского голоса.

А теперь подали. "Клич" выходил регулярно и рос с каждым номером. Рос и в объеме и по качеству содержания. Из Рима раскатился по лагерям, перемахнул и за границу Италии... Откликнулись и оттуда "ста-

рые" и "новые". Откликнулись и слились в общем русском кличе:

—Слышишь ли ты меня, батько?

— Слышу, сынок, слышу!

Первыми примкнувшими к "Кличу" Сакова и Вуича были Викторов и я. За нами потянулась лагерная молодежь. За границей откликнулись молодые Рудинский и Каралин, старик Юрпе. "Клич" стал выходить уже брошюркой, не хуже, а даже лучше многих народившихся тогда по германским лагерям русских изданий. В Италии он был единственным.

На втором году своего существования "Клич" и объединившийся вокруг него литературно-художественный кружок смогли провести конкурс, собравший в Италии до 30 участников. Были стихи, рассказы, воспоминания, и интересно, что среди приславших свои работы был итальянец, долго живший в России. Он даже премию получил. Получил также премию и занял второе место старый казак Лозинка за свой искренний и яркий автобиографический рассказ "Чудо". Я хорошо его знал и любил подолгу слушать его изустные, цветистые и смачные рассказы, которыми сам Шолохов не побрезговал бы для своего деда Щукаря. Но я глубоко уверен, что мастер живого слова вахмистр Лозинка впервые брал в руки карандаш для служения им отечественной литературе, именно участвуя в конкурсе "Клича". Вероятно, и в последний раз.

По своему политическому направлению "Клич" был монархичен. Почему? Была ли его программа заранее предрешена его издателями? Нет. Вначале они ставили своей целью только объединение русских людей, но в процессе этого объединения создалась и программа журнала, выявился и развернулся стяг, под который он стал. На этом стяге было начертано имя

Великого Князя Владимира Русского,

Главы Династии Русских Царей.

Оно пришло на русский клич. Отозвалось.

Иначе и не могло быть. Вся масса нахлынувших в Рим и Италию беженцев была полностью монархична. Немногие солидаристы, вкрапленные в ее среду; от-

крыто не выступали, стремясь действовать подпольно, при помощи интриг и личных связей, протискиваясь всеми правдами и неправдами к теплым местам. Порою им это удавалось. Представительство Православного Комитета Митрополита Анастасия в Риме было ими захвачено полностью к большому прискорбию многих выброшенных за борт корабля эмиграции русских беженцев, подвергнутых этой неприятной операции во имя принципов национальной солидарности . . .

Представителей других партий и политических течений в числе беженцев, к счастью для них, совсем не было, не считая, конечно, неизбежной ВКП(б), рука которой в лагерях была явно осязаема. Многие почувствовали на себе ее хватку.

Большинство их совершило путешествие на пустынный остров Липари — итальянские Соловки.

Разные пути вели русских людей на эту скалу в Средиземном море. Местные коммунисты по указу Кремля вылавливали власовцев и красновцев, укрывшихся от травли на крестьянских фермах, где они батрачили за одну кормежку. УНРРА, особенно в царствование недоброй памяти Ла Гвардия, выдавала по одиночке и небольшими группами тех, на кого указывали наполнявшие ее аппарат прямые прислужники Москвы. Придирались к документам или ставили обвинение в несовершенной краже. Этого было достаточно, чтобы выдать беженца итальянской полиции, которая отправляла его на остров "до разбора дела". Несколько человек схватили уже при посадке на "Санта Крус" — первый транспорт, увозивший беженцев в Аргентину. На этот раз ВКП(б) действовало прямиком через итальянскую полицию на основе пункта 45 мирного договора СССР со свободной демократической Италией.

"Русский Клич" долетел и до Липарийской скалы. Оттуда ответили ему вопли русских людей, заточенных там свободными демократиями гуманного Запада только за то, что они, эти русские люди, хотели свободы для себя и своей страны.

Эти вопли были услышаны "Русским Кличем" и ру-

ками А. Н. Сакова и русского князя С. Г. Романовского переброшены за океан другому русскому князю С. С. Белосельскому-Белозерскому. Оттуда пришла помощь: деньги, защитник — американский адвокат. Министерству внутренних дел свободной демократической Италии стало несколько не по себе. Вставала угроза громкого, неприятного для него процесса. Выдать русских под шумок не удалось.

Клич о безвинно томящихся русских людях зазвучал и в Париже. А. Н. Саков осведомил о липарийцах "Русскую Мысль". В Мюнхене откликнулся САФ. Всколыхнулась даже разбуженная трагическим русским воплем обыкновенная человеческая, на этот раз беспартийная, совесть в таком неудобном для нее месте, как сердце бывшего главы просоветского "Народного Фронта" социалиста Леона Блюма.

От копеечной свечки сгорела Москва . . .

Липарийские узники были освобождены побоявшимся мирового скандала демократическим правительством свободной Италии.

***

— Можете вы что-нибудь сделать вот с этим? — сказал мне однажды А. Н. Саков, передавая пачку исписанных листков.

Повидимому, это были стихи, написанные так, как редко можно видеть даже в тетрадках самых упорных "рецидивистов безграмотности" перманентного советского ликбеза.

Некоторый опыт в повышении качества такой поэзии я имею. Мне приходилось работать в рабкорских отделах советских газет, а там и посложнее задачи бывали: делать нечто приемлемое для печати из полностью бессмысленного хаоса слов. Здесь же, несмотря на полное пренебрежение к правилам орфографии ,неумение строить ритм, в прыгающих и то наскакивающих друг на друга, то внезапно проваливающихся буквах косых строк чувствовалась большая искренность и еще большее желание сказать что-то та-

кое, чем полна душа, крикнуть об истомившей ее боли, заорать от переполняющего ее гнева.

Захватив листки домой, я расшифровывал их целый вечер. Мне помогала жена. Бывшая редакционная машинистка, она привыкла к разбору самых сложнейших иероглифов.

— А знаешь, — сказала она мне, — ведь это тоже... русский клич. Да еще какой полный и яркий! Ты отбрось формальный критерий... Слушай только то, что внутри этих неуклюжих слов, в их сердцевине. Ведь это живой человек орет... А его каленым железом припекают... Разве не слышишь!

— Слышишь ли ты меня, батько, вскричал Остап.. — отвечаю я. — Да, ты права. И я слышу.

Из этих стихов мне ничего не удалось сделать, но потом случилось познакомиться с их автором в одном из лагерой ИРО на медицинском осмотре. Передо мной в очереди стоял здоровенный красивый детина. По его обнаженному торсу прямо анатомию изучать можно было бы, так рельефно выступали тугие узлы и связки мускулов. Я залюбовался, — он заметил, расправил плечи, напружил грудь.

— Есть силенка!

— Русский?

— Пожалуй, что так...

Потом мы встретились в читальне. Он смотрел итальянский иллюстрированный журнал "Нуово Мондо" и смачно ругался.

— Сволочи, так их перетак!... Иоськина пропаганда врет, так она свою цель имеет... А эти чего брешут, мать их...

Причиной страстного монолога моего нового знакомого было фото на странице итальянского журнала, на котором изображалось несколько плачущих женщин, идущих одна за другой в ворота, на которых красовались перекрещенные серп и молот. У ворот стояли часовые.

— Что плачут — это верно. Заплачешь, да только не с радости, а тут видите, что сказано, — упер он в подпись крепкий, темный палец и, медленно ведя его

по строке, с запинками, но правильно прочел текст, — от радости! Ах, сукины дети!

—А вы по-итальянски уже читать приучились?

— Я по-итальянски читать прежде, чем по-русски выучился.

Моему собеседнику было лет около тридцати. Явно русский. Судя по говору, должно быть южанин, в хохла отдает. Ясно — "новый". Что за притча?

—Как же это у вас так получилось?

—Очень просто. Я в Италию неграмотным пришел. — Так и сказал: пришел.

— Из России?

—В Италию — из Чехии . . . Ну, а в конечном счете —из Горловки . . . Знаете? Бывали?

—Знать — знаю. Бывать не приходилось. Ну, а много подсчитывать пришлось пока от Горловки до итальянских прелестей добрались?

— Это как подсчитывать? Километры, что-ли? Кто их знает? Путаные этапы были.

— Вот про этапы я вас и спрашиваю.

—Тоже подсчитать нелегко. Начались они на Донце, когда я на немецкую сторону перешел.

— Сами перешли или в окружение попали?

— Сам, как есть, и два передка со снарядами принес. Я в артиллерии служил.

— Что-же вас потянуло?

—Это дело серьезное, — задумывается Александр Иванович (так зовут моего собеседника), — я из лишенцев. Батька моего раскулачили в 33-ем году, а он человек очень характерный был. Советскую власть эту никак не уважал. Не русская она, говорит, а жульническая . . . одно мошѐнство. Даже и в школу меня не пускал. Добру, говорит, там не научат.

—Поэтому вы и неграмотным остались?

— Так и получилось. Я плачу, прошусь, когда мальченкой был, мне обидно, а он не велит. Ну, а потом некогда было. Когда выгнали нас со двора, мы в шахты ишачить оба подались. Какое-ж там учение . . .

— А на службе вас не обучали?

— Это в армии? Как-же . . . политрук оченно на-

легал. А я уперся. Дурака из себя строю, говорю — неспособен.

— Да ведь вы хотели учиться?

— Тут у меня другая думка была. Обучат — значит,в комсомол пишись, а то хуже будет. А я в комсомол не желал.

— Почему?

—Не хотел. Правильности в нем нет. Одна трепотня. Соглашательство.

— Какое же в комсомоле соглашательство? — искренно удивился я. — Там против соглашательства, оппортунизма ведут борьбу.

— Это для наружности, а у самих соглашательство. Комсорг зачитает, и все соглашаются.

Вот, думаю, индивидуалист какой выискался. Интересно. Конфликт личности и коллектива — проблема сложная.

—Ну, а все-таки почему вы к немцам пошли?

— Вот от этого соглашательства и пошел. С самолета листки сбрасывали. "Сталин капут"... Русская Освободительная Армия формируется, — значит, не один я несогласный. Представился момент, я и перемахнул.

— И к генералу Власову попали?

— Нет. К румынам. Я им листок даю с немецкой печатью, пропуск, какой с самолета кидали, а они не берут, и меня — в концлагерь.

— Из него как выскочили?

— В казаки поступил.

— К Краснову попали?

— Нет, к фон Панневицу. Полковник один приехал к нам в лагерь и завербовал. Я, говорю, не казак, а русский. Он говорит: ничего, мы тебя в казаки перепишем, нам это безразлично.

—Так у фон Панневица и воевали?

— Не долго. Я на курсы нового оружия оттуда подался, в город Лецеп.

— Что вас туда дернуло? Я знаю, там трудно было, да и специальность опасная.

— Обратно от соглашательства ушел.



Пагани. Автор за работой над книгой. Еще тихо — 5 часов утра.



Чине-Читта. Проф. Ширяев работает по специальности, раскапывая "древнюю" выгребную яму.



В общежитии на Виа Тассо.



Падре Джиованни Бутинелли и его русские питомцы на Монте Верде.



Паррокио Трасфигурационе на Монте Верде. Слева — церковь, справа — дом, где спасались русские беженцы.



Лагерь Баньоли близ Неаполя.





Лагерь Вилла Альба размещен в бывшем сумасшедшем доме. Решетки и традиции сохранены полностью. На верхнем снимке — крыша лагеря.



Пагани. Семья автора. Какое счастье иметь собственное окно!



Слобода Ширяевка. Савилов на своей кровати. Рядом — логовище холостяков. Справа — подсолнечный парк "Виллы Четырех Ветров".



"Вилла Четырех Ветров" закончена.
Строители любуются своим созданием
в стиле "Барако".

— С кем же казаки соглашались?

— Они, может, и не соглашались, а пропагандист опять соглашательную линию вел на немецкую руку. Устроим, говорит, всевеликий Дон под немецким протекторатом, — это трудное слово Александр Иванович выговорил легко, вероятно, пропагандист его часто употреблял, — значит, обратно русской власти не будет, а только соглашательство.

Эге, думаю я, проблема-то разрастается: теперь протестует уже не личность, а нация . . .

— Дальше куда вас кинуло?

— По окончании школы к Власову ушел. Тогда разрешение вышло всем желающим в РОА итти . . . Отовсюду. И из лагерей, и от немцев, и от казаков . . . от грузин, там, и всяких . . . на русскую сторону.

— И много вас пошло?

— Да, кроме грузин, — вся школа, человек до двухсот.

— Все русские?

—Нет, там всякие были. И черкесы, и елдаши . . . что бы чистых русских, так мало.

— Все к Власову потянулись? Знали, что-ли, его?

— Кто же его знал? Портреты, конечно, смотрели, да не в том дело, а в РОА . . .

— То есть?

—Да что эти буквы обозначали? Российская Освободительная. Понятно?

Как не понять? Плыли горловские, воронежские, шушинские, баталпашинские Одисеи и искали свою Российскую Итаку . . . между Сциллой и Харибдой . . . и обоим в зубы попали . . . не доплыли . . . А этот как проскочил?

— С первой дивизией и прихлопнули вас?

— Наш батальон на походе окружили. Комбат со штабом на переговоры пошел, а я разом в канаву, осушительный дренаж. Им и дополз до леса. Что было делать?

Дальше расспрашивать нет нужды. Эту часть пути российских Одисеев, уже не на поиск Итаки, но лишь ради спасения своей жизни, я знаю достаточно. Сам им

прошел. Но слушаю. Этапы Александра Ивановича красочнее и экзотичнее пройденных мною. Тут и ночевки на сеновалах добродушных баварских бауэров, и переход лесистых Тирольских Альп, и питание отбросами из базарных свалок, и проскакивание мимо пограничных кордонов, аресты, побеги из-за проволоки...

Приятно читать авантюрный роман, но далеко не сладко стать самому одним из его героев.

Почему Александр Иванович потянул к югу, в Италию? Этого он не смог мне объяснить. Ни географии, ни языков он не знал. Бежал по инстинкту затравленного зверя, волчьими тропами, заячьими петлями и, попав в Италию, был глубоко этим удивлен.

Прятался и здесь, работая у крестьян за чашку макарон. Потом, когда о нем пронюхали местные коммунисты, "падроне" его предупредил, — бежал в Рим и нашел в нем осколок своей Итаки.

Здесь и русской грамоте выучился по затрепанным листкам "Русского Клича".

Символика реальности или реальность символики? Черт их разберет! Я не знаю. Я репортер дней и записываю то, что в них вижу. Только!

Нити наших петлистых путей, мой — недорезанного интеллигента Российской Империи, и его — неграмотного донецкого шахтера рабоче-крестьянского царства победившего социализма сплелись на пару лет под лазурным небом Италии. Я еще вернусь к нему на страницах этих записей.

Почему же я поместил этот клочок воспоминаний о нем в главу "Русский Клич"?

Потому, что мы оба его слышали. Не писанный, не печатанный, а подлинный, живой, страшный своею мукой, своей безнадежностью. Слышали внутри себя слышали вокруг себя и сами кричали, вопили им:

— Слышишь ли ты меня, батько?

18. РОБИНЗОН И РОБИНЗОНИХА

— Когда падре Дон Джиованни уедет, нас безусловно отсюда выпрут, — определила вырисовывающуюся ситуацию жена.

Я не спорил. Это было очевидностью. Падре Джиованни получил новое назначение — сопровождать в Аргентину транспорт итальянских переселенцев, а его заместитель переехавший уже в пароккио, не скрывал своей антипатии к его русским жильцам.

Местная коммунистическая организация неустанно нажимала на него, ведя предписанную ей кампанию, распускали слухи, запугивали. А тут еще наши итеэровцы устроили вечеринку, назвали гостей. И Светлана, по комсомольской своей несознательности, услаждала их советскими песнями в часы вечерней мессы. Ревностные католики стали на нас коситься. Светлану пришлось спешно выселить, но и под нами заколебалась почва.

Положение становилось критическим. Нанять комнату не на что. Общежитие на Виа Тассо переполнено и само пребывает в состоянии осажденной крепости, его спасает от разгона лишь дипломатия отца Филиппа.

— Знаешь, что, — говорю я жене, — давай выстроим себе дом.

— Ты что, с ума спятил?

— Нисколько. Почему мы его не выстроим? Совсем маленький барак. Ведь мы в Италии, слава Господу, климат здесь не сибирский.

— Где же? На чьей земле?

—Падре Джиованни еще два, три, а может быть и четыре месяца пробудет хозяином пароккио. Он разрешит построить на пустыре, знаешь, около школы . . . А там видно будет!

— Романтика! Подумаешь, какой Робинзон выискался. Да у тебя ни топора, ни пилы нет. Один молоток Лоллик со свалки притащил.

— Добуду. Соседи дадут.

— А материалы? Доски? Крыша?

— Достану. Выпрошу старых ящиков в Красном Кресте, всякого хлама в Собрании, еще где-нибудь...

— Сумасшедшее предприятие, — покачивает головой жена, но я вижу, что она уже начинает мне верить. Опыт нашей бродяжнической жизни много раз уже доказывал ей, что удаются именно совсем невероятные предприятия. Я знаю это лучше, чем она. Мой личный опыт обширнее.

— Ну... пробуй.

Проба начинается с падре Бутенелли. Я излагаю ему свой план и разом нахожу точку опоры. Кипучая душа падре воспламеняется моей идеей, и мы оба бежим выбирать место для постройки.

— Здесь, — указывает падре. — Смотрите, пол уже готов. Поблагодарите Гитлера.

Верно! Немцы устроили здесь бетонную площадку для зенитки размером 4 на 8 метров. Мне хватит и половины. Пол готов. А стены?

Но падре Джиованни уже обзирает окрестности. Он весь, без остатка охвачен моей идеей.

— Вон тот забор тоже мой. Он все равно развалился. Берите его!

— Да ведь из этого камня можно Колизей построить! — с восторгом кричу я.

— Берите и десяток столбов, поддерживающих сетчатую загородку, только через столб, чтобы она не упала... И вот ту кирпичную тумбу... Вы будете культуртрегером. Я выдам вам арендную записку... Avanti!

Подбадривать меня не надо.

— Видишь, — кричу я жене, — видишь! А ты боялась. Помещиками будем, черт возьми! Evviva великая романтика! Она побеждает!

Теперь и Нина во власти обрастающей плотью мечты.

—Курицу заведу. Обязательно! Хоть одну: пестренькую... Каждый день Лолличке яичко будет...

Какой-то маленький, но колючий, кусачий червячишко шевелится в моем сердце.

— Борис Николаевич, — говорю я себе, — экс-фе-

одал, экс-владелец семи тысяч десятин, тысячи лошадей и пр... Ваша жена мечтает о курице. Об одной курице и одном яичке в день...

Я раздавливаю червяка. "Было" — мертво, но "будет" — живо.

— Великие цезари и могущественные папы строили Рим. Слушай, Нина! Мы тоже строим его. Папы создали стиль барокко. Мы поведем работу в стиле баракко. В чем разница? В одной только букве. Стоит ли обращать внимание на такой пустяк? Мы не буквоеды. За работу! Avanti!

И работа кипит. Я с ожесточением громлю забор занятой у соседа киркой и перевожу камни на взятой у него же тачке. Немазанное колесико отчаянно визжит.

— Слушай, Нина, эту песню! Она сладкозвучнее флейт и кимвалов!

Нина разгибается и слушает. Ее подол высоко подоткнут, руки в глине, лицо тоже в глине. Голова обвязана какой-то тряпкой, а то и в волосах будет глина. Вероятно, ее кубанская прабабка так же повязывалась, когда мазала свой курень в приволье ковыльной степи.

— Курочку, обязательно курочку... и подсолнухов посажу. Есть здесь подсолнухи?

Мечта обрастает телом. Угловые столбы и притолоки вкопаны и уравнены без опилки. Пилы достать не удалось. Кладка стен высится с каждым днем. Иронические улыбки стираются с лиц наших итеэровских сожителей. Они подсмеивались, но Василь и старик Плотников смотрели на нашу возню сочувственно.

— Энтузиазму у вас, Борис Николаевич, хватает, — говорит, проходя, Василь, — вам бы еще силенок подбавить!

— Ничего. Хватит и силенки.

— А вот коровьего навозу мне не хватает, — кричит со стройки жена, — разве без навозу мазка? Обязательно нужно...

— Этому где вас учили, Нина Ивановна? На вашем литературном факультете? Кто технику саманного производства вам читал?

Старик Плотников подолгу стоит, опираясь на палку. Его мутные старческие глаза неотрывно следят за работой жены у стен. Что они видят? Ее или какую-то другую женщину, мазавшую свою хату на берегу многоводного Урала. Иногда из них скатываются слезы.

Наше предприятие становится злободневною темой обедов в Собрании. Прямо сенсация! Она достигает даже стен Ватикана: — выслушав рассказ о русском профессоре, собственноручно строящем себе дом на окраине Рима, maestro della casa дворца Пап, римский нобиль, маркиз Сакетти дарит мне остатки своего бомбоубежища.

— Двадцать одну четырехметровую доску! Даже с доставкой! Две тысячи лир на оплату грузовика дал! Теперь живем! А ты говорила . . .

— Что-ж, чудеса бывают, — отвечает жена, — а когда начинали стройку, у нас и двадцати лир не было.

Представился маркизу, родовитому наследственному коменданту Ватикана. Заодно осмотрел его родовое палаццо и полюбовался плафоном Цуккерини.

— Удивительная страна ваша родина, — говорит маркиз представлявшему ему меня "русскому римлянину", — профессора ворочают камни . . . но тонко чувствуют нюансы красок . . . изящество линий . . . Непонятно!

Нужно быть справедливым и к врагам. Даже врагам всего рода человеческого. При постройке нашего дома мне помогали не только светлые силы, витающие в стенах Ватикана, но и темные, хотя не по своей воле.

Падре Бутенелли не преминул прихватить за хвост владыку ада. В одной из своих проповедей он указал своей пастве на стройку, рассказал обо мне и провел соответствующие аналогии.

Овцы его паствы приходили, смотрели, а потом тащили кто-что: доски, старые двери, ящики . . . какой-то погрязший в тягчайших грехах вдовец притащил даже соответствующую их весу тяжеленную калитку от своего сада. Из нее я сделал притолоки к двери.

Холодные осенние дожди полили как раз в тот день, когда стены были уже закончены.

Но крыша?

Крыши не было.

— Если бы тентом верх затянуть... по римскому климату этого было бы вполне достаточно.

Дом вышел очень хорошим. Бетонный пол — от Гитлера. Стены, обшитые внутри ящичными досками — от пароккио Трасфигурационе и маркиза Сакетти... Два длинных продольных окна а ля Корбюзье... Стекол, правда, еще нет, но ведь мы в Италии — и без стекол жить можно, хотя бы заставляя окна картоном от кэр-пакетных коробок. Но без крыши?

Если бы старую палатку достать?

— Эврика! — говорю я. — Римским отделением ИМКА заведует старый полковник Нельсон. Мы с ним приятели. Не сможет ли он достать еще более старую палатку на каком-нибудь военном складе... На базаре их сколько угодно по 5000 лир продают.

Полковник Нельсон и его помощник профессор Грациани покровительствуют беженцам-интеллигентам. Они устраивают стипендии студентам, подкармливают кэр-пакетами дряхлых профессоров. Через них можно получить доступ в книгохранилища или пару штанов при их отсутствии... Но крыша? Входит ли такой вариант культурной работы в программу ИМКА?

Оказалось — и крыша входит.

Выслушав меня, полковник Нельсон лаконически спросил:

— Не хватает только крыши? Или еще чего-нибудь?

— Только крыши.

— Сколько стоит палатка?

— Пять тысяч.

Длинная зеленая бумажка с этой цифрой переселилась из кармана полковника Клаудио Нельсона в мой. Он пожал мне руку и пожелал успешного окончания работы. Американцы говорят всегда кратко и дельно.

Итак, мы в "своем" доме. Он не хуже иных прочих. Дверь даже с инкрустациями. Есть и обстановка: стол, кровати, стулья. Их дал на время падре. Есть печка — подарок Василя. Он мужик хозяйственный, принес ее

еще до окончания стройки, чтобы трубу в стену вывести. Даже вместе с трубою. Значит, наша квартира лучше обычных римских: в тех печей нет.

— Вот спасибо тебе, Василь! Действительно услужил, — восхищаюсь я, — хотя и поржавленная, но дыр нет. Дымить не будет... И трубы с коленцами... Где ты ее выискал?

— Та я там проходил под над стенкою, — неопределенно указывает Василь куда-то в сторону Ватикана, — гляжу, а вона стоить у садочку...

— Ты, что-ж, выпросил ее у итальянца?

— Та не, нэ просив.

— Так как же? — допытываюсь я.

— Та взяв и пишев с ею.

— А трубы?

— А воны коло ей лежали.

— Значит, ты печку спер?

— Та нет же, не спер. Она так, сама стояла коло стенки. Я перелиз, та и взяв.

— У нее же хозяин был? Ведь это грех!

— Якой же грех, — уверенно возражает Василь, — на що вона ему? Вона старая, а вин, итальянец той, соби новую наживе. А вам и така сгодится...

Логика Василя неоспорима. Печка очень нужна нашему "Палаццо Четырех Ветров", как мы решили назвать наш дворец. Не возвращать же ее в самом деле хозяину, да и где его найти!...

— Спасибо тебе, Василь!

Курицы, о которой мечтала жена, у нас нет. Но есть пара кроликов — подарок на новоселье графини Орловой-Денисовой.

Есть и еще скотина: котенок, подарок очередной Доменики, унаследовавший от нее пламенный южный темперамент. Когда я вез его в трамвае из Русского Собрания, завязанного в носовой платок, он, к великому удовольствию всего населения вагона, вопил разом тенором, басом и колоратурным сопрано. Очень талантливый котенок. Два раза вырывался. Ловили его тоже всем вагоном. Это было трудно, но весело. Котенок шмыгал под лавками, ловцы падали друг на друга, то-

же вопили басами, тенорами, сопрано . . . Двадцать пять минут пути от понте Гарибальди до пьяцца Трасфигурационе пролетели незаметно.

. . . И подсолнухи вокруг дома были насажены, когда пришла весна. Ведь мы полтора года прожили в этом доме. Да какие еще подсолнухи вымахали! Метров в шесть высоты, как деревья, и цвели, переливаясь золотом.

— Джиросоле! — удивлялись прохожие итальянцы. — Мы никогда не думали, что они могут быть такими красивыми!

В первый вечер нашего новоселья лил холодный осенний дождь. Он то громкозвучно барабанил по туго натянутому тенту градом крупных капель, то шуршал волнами мелкой россыпи брызг. Жена с опаской поглядывала наверх.

— Не беспокойся. Американское производство — не советская новостройка, выдержит, — бодрился я. И не ошибся. Тент выдержал все зимние ливни. Вряд-ли у раскулаченных мужиков, сосланных в тайгу, их палатки были того же качества.

Печка быстро накалилась докрасна. Ближние свалки и базарная площадь в часы конца торговли сулили неиссякаемый запас дров. Функции главтопа были поручены Лоллику, и он перевыполнил план заготовок. Небывалое в нашем подсоветском прошлом явление.

Котенок пробрался к теплу, свернулся калачиком и запел свою древнюю балладу семейного очага.

— Ставь скорее чайник на печку! Пусть он вторит коту . . . Эх, сверчка еще не хватает!

— А как ты думаешь, — спрашивает жена, ставя наш видавший многие виды, некогда эмалированный чайник на печь, — у Робинзона был чайник?

— Вряд-ли. Многого у него не было, и прежде всего не было Робинзонихи, умевшей класть стены из жемчужных раковин . . . — отвечаю я, обнимая ее.

Котенок потягивается и сладко зевает . . .

19. СЛОБОДКА ШИРЯЕВКА

Наступившая зима внесла много перемен в жизнь русской колонии на Монте Верде. Падре Дон Джиованни уехал в Аргентину, захватив с собою Мишу. Отбыл в том же направлении, но в иную республику пражский инженер с супругой и перманентно переселяющимися долларами. Он тщательно подобрал ехавшую с ним группу. Но из монтевердевцев в нее попал только Василь. Прочих просивших включить в число эмигрирующих было нельзя по объективным и непреодолимым причинам. Василь же, почесав в затылке и не один раз просчитав содержимое заветного кожаного мешечка под рубахой, хоть и поскрипел всем своим черноземным хозяйским сердцем, но все же преодолел объективные преграды конкретными данными.

—Тамочки усе вернем, Бог даст!

Прочие оказались по разным причинам к конкретному мышлению неспособными. Наиболее талантливый в этой области инженер с Камчатки метил в США, куда тоже вскоре отбыл, предвосхищая подпись Трумана под законом о приеме Ди-Пи оживленной перепиской с социалистическими стражами дверей нашего беженского капиталистического рая.

Всех же прочих новый настоятель пароккио оттеснил в глубь подвалов, в мрачные, темные катакомбы. выбираться из лабиринта которых приходилось ощупью. Мы были единственными, благоденствовавшими в своем "Палаццо Четырех Ветров“. Ветры эти дули, как им и полагается дуть в римскую бесснежную мокрую зиму, но стены кубанской кладки им твердо противостояли. Американский тент сдерживал потоки небесных хлябей, печка верно служила, куклы резво попрыгивали даже в вестибюлях шикарных отелей. Европа кое-чему нас уже научила. Срисовав из этнографического альбома итальянские национальные костюмы, мы стали фабриковать одетых в них кукол. Уже не чертят и ангелят, но знойных неаполитанок в черных корсажах, флорентинок с полотенцами на головах, окрученных каскадами пестрых оборок феррарок . . . Американ-

цы их брали нарасхват, ибо ... русский варвар оказался единственным в Риме мастером, вспомнившим о том, что жили когда-то в Италии пленявшие взоры художников пламенные читадинки и контадинки, вспомнил даже о продувном Пульчинелло и лукавой Коломбине, глупом болонском докторе и хвастуне-капитане, странствовавших некогда по ее пыльным площадям, разбежавшихся с них по миру и позабытых на своей родине ... Коллекционер-американец заплатил новенькими долларами за всю их возрожденную скифом веселую компанию и увез за океан последний жалкий отзвук некогда звонкого солнечного смеха Comedia dell Arte ушедшей в века Италии.

Весной, наконец, пришли долгожданные списки. Первые партии беженцев двинулись в единственную тогда смилостивившуюся над ними страну — республику генерала Перона.

Мы в эти списки не попали, хотя и были внесены в них одними из первых. У римских заправил ведавшего ими отдела Комитета были несколько иные представления о порядке чисел. Да и не только о такой мизерной арифметической детали. Национальный вопрос, например, ими решился тоже своеобразно, в духе жертвенного славянофильства: русскую очередь на получение виз в Аргентину вдруг сплошь заполнили сербы, правда, не какие-нибудь нищие братушки, а стажированные солидным взносом "на содержание комитета", как разъяснил эту доктрину его глава оставшимся за бортом эмигрантского корабля российским недоумкам-мракобесам.

Те, конечно, пошли на жертвенный подвиг в привычном им по жизни на "родине" добровольно-принудительном порядке. Стали ждать и ждали, пока ...

... пока напористые загонщики "охотников за черепами" не взяли штурмом твердыни отца Филиппа на Виа Тассо и ее жертвенному русскому населению не пришлось в аврально-ударном порядке искать себе нового пристанища.

**
*

И вот, в одно прекрасное летнее утро, как писали в старинных романах, на пустырь перед нашим палацццо, едва не опрокинувшись в незасыпанную до того времени траншею немецких зенитчиков, въехал грузовик необычного для Рима вида.

На его площадке громоздилась сложная футуристическая конструкция из железных кроватей, ящиков, узлов, матрасов. В ее пролетах гнездились, как попугаи сказочных джунглей Бразилии, дети, старцы, девы, матроны самых разнообразных форм и окрасок. Их мужья и братья бежали рядом и поддерживали конструкции в особо авральных местах, подбодряя друг друга боевыми кликами какого-то варварского народа. На вершине конструкций, держась за переплеты кроватей, восседал, видимо, вождь этого племени мой большой друг Алексей Анатольевич Савилов, хорунжий Российской Императорской армии, партизан Донских и Сальских степей.

Сторожиха соседней школы выглянула из двери, всплеснула руками и побежала рассказывать соседям о взятии Рима новыми, неизвестными варварами.

Смотревший из окна церковного дома новый настоятель развел руками и никуда не побежал. Бежать ему было некуда и незачем. Племенное имя вторгшихся в его владение дикарей ему уже было сообщено вместе с предписанием не мешать им селиться на окраинах его территории. Разведя руками, он пошел умывать их по методу Понтия Пилата.

Между тем, вождь дикого племени, покряхтывая, спустился со своей колесницы и направился ко мне с явно дружескими намерениями:

— Покажи нам границы церковной земли. Как у тебя тут с полицией? Не гонит?

— Сначала являлся инспектор. Требовал документы, пугал . . . Но я сбегал к Мясоедову. Он через министерство уладил, и теперь тихо.

— Мясоедов — дошлый старик.

Александр Николаевич Мясоедов, советник последнего царского посольства в Риме, представитель ВМС в Италии, служил тогда в ИРО, в офисе, ведавшем при-

емом и оформлением беженцев на предмет зачисления их в ряды ди-пи элиджибль, то есть на право как-то все-таки жить. Сотни и тысячи русских людей всех видов, званий и наименований, лишенные всех этих, свойственных прочим народам, признаков, посидели на кресле перед его служебным столом.

Придет вот такой, пробегавший года полтора-два по дорогам и развалкам Италии, постоит в очереди у дверей кабинета Мясоедова, волком озираясь на соседей, войдет, сядет и начнет плести свою вероятно-невероятную одиссею на привычном ему с детства российском наречии. А Мясоедов по-английски ее записывает . . . Потом поправит очки и прочтет записанное.

— Я переведу вам по-русски, а вы подпишите, — скажет он дипломатически мягко.

Травленный волк слушает и удивляется. Как это ловко получается по-английски! И про него и совсем не про него. Сам он себя до сих пор считал "наемником нацистов" и "изменником родины", а теперь оказывается, что он "жертва нацистов" и самый настоящий, действительный, потомственный штатлос-аполид, у которого и отечества-то никогда не было, а если и было, так какое-то междупланетное и в географиях неотмеченное.

— Вот он какой настоящий дипломатический язык царского времени! — восклицает новый подданный дипийского государства, пряча в карман удостоверение в подданстве.

Многие, очень многие из рассеянных теперь по всем материкам вспомянут добрым словом имя старого дипломата А. Н. Мясоедова, и многие повторят с проклятием имя сменившей его русской княгини из французских эмигранток, пламенной антифашистки и "патриотки". С приставкой "сов" или без нее, кто ее знает. Дирекция ИРО такими пустяками не интересовалась. Многих она погубила.

Мы с Савиловым быстро обошли всю пограничную зону, и он скомандовал своему племени:

— Сгружайся и вертай машину за второй партией. Планируем так . . .

Но подробностей плана новорожденного поселка я не слыхал, так как ушел за обедом в Собрание, а когда вернулся, то еле смог втиснуться двадцать третьим в собственное палаццо. Как смогли в него влезть и вместиться предыдущие двадцать два, мне до сих пор непонятно. Но причина этой густоты населения явствовала даже из моего собственного вида: с меня потоками лилась вода.

Буря и ливень застали меня уже в сотне шагов от спасительного трамвая на понте Гарибальди, но, когда, пробежав с резвостью призового жеребца эту дистанцию, я вскочил на его площадку, кондуктор вежливо осведомился:

— Синьор, вы выпрыгнули из Тибра? Вода там сегодня, кажется, теплая? . . .

Единственным укрытием от ливня на пустыре Монте Верде было мое палаццо, но при всем его уплотнении в нем поместилось меньше половины нового племени. Большая его часть промокла до костей, прижавшись к стенам соседней школы, двери которой не раскрылись. Между школой и церковью шла глухая борьба. Директор школы был коммунист и антиклерикал.

Прибывшие варвары были в прошлом, безусловно, оседлыми. Лишь только пронеслась буря и вновь засияло солнце, их женщины забили в землю какие-то палки, натянули на них веревки и начали сушить промокшие одеяла, а к вечеру пустырь бил покрыт рядами своеобразных построек, горели костры, варварята обоего пола с наслаждением шлепали босыми ногами по непросохшим лужам, а мужчины племени заканчивали строительные работы.

Архитектура жилищ была проста, но лишена изящества и вкуса: к четырем углам полученной от отца Филиппа железной кровати привязывали четыре грациозных палки. Сверху на них натягивали серое немецкое одеяло, а с боков завешивали различными цветистыми тканями, смотря по вкусу и достатку владельца.

Мое палаццо гордо высилось над новым поселком, окруженное садом цветущих подсолнухов.

Я чувствовал себя разом Ромулом и Ремом, но по-

хищать сабинянок не собирался. Своих хватало с излишком.

—Что это за люди? Откуда они? —спросили меня два пришедших карабинера.

Я объяснил, как мог.

— А они будут очень много красть? Вас мы уже знаем. Скажите, нужно ли здесь выставить дополнительный пост?

— Если верите мне, то гарантирую: краж не будет. Скандалы разберем сами. Поста не нужно.

Эти объяснения и гарантии мне пришлось повторять много раз. Я был уже своим человеком в околодке. Но мне все-же мало верили и с сомнением покачивали головами. Однако, мои гарантии были выполнены с большей точностью, чем данные некоторыми великими демократиями. За все время существования слободы Ширяевки (так окрестили поселок в Собрании) его жителями не было совершено ни одной кражи, ни одного незаконного поступка.

Но имя поселку было дано не совсем точно. Я был лишь первым по времени его поселенцем и владельцем "Замка сеньора". Подлинным же вождем племени, его старшиной, судьей и законодателем был Алексей Савилов. Он, как истый вождь ко всему привычных кочевников, не раскинул шатра, а поставил свою одинокую кровать под открытым небом, у стены школы.

***

День в слободке Ширяевке начинают рано, задолго до того, как хромой пессимист Секондо взбирается на свою кампаниллу и призывает всех добрых католиков к первой утренней молитве. Солнце еще не поднимается из-за одетого садами холма, того самого, с которого нечестивый Максенций увидел победные знамена Повелителя Востока, а около шатра многочисленного семейства Посельских уже начинается хлопотливая возня. Родительская чета торопливо увязывает корзины и жаровню. Им, позевывая и потягиваясь, помогает старший из пятерых потомков. Остальные еще спят, сваленные под одно одеяло.

Посельские торгуют суфлями, итальянскими пирожками с соленой рыбой бакала, на каком-то очень отдаленном от Монте Верде базарчике. Лучшее время торга — ранний час, когда фруктовщики и овощники лишь прикатывают туда свои тележки и ставят палатки. Поэтому нужно выезжать с первым трамом. Это и дешевле: до 8 часов на траме билет идет в полцены, а дорога каждая лира: пять потомков — не шутка! У каждого из них есть ноги для обувания, тело для одевания, а, главное, рот, который всегда чего-то требует.

Посельские считаются в Ширяевке буржуями. У них каждый день выручка, но и работают оба, как лошади в самом буквальном смысле этого термина. Даже как вьючные. Тащить на себе пуда два теста, жаровню, угли, латок не каждому под силу. А накричавшись за день в базарной сутолоке, отдыхать тоже некогда. Надо месить тесто, варить рис, готовить для начинки рыбу... Когда я засыпаю, то еще слышу возню в шатре Посельских, а засыпаю я поздно.

Вскоре после их отбытия на базар, в шатре холостяков что-то начинает ритмически хрипеть и постукивать. Утренний час самый удобный для резки табака. Это дело опасное. Контрабанда. Табак — монополия правительства Свободной Италии. На базаре его надо сбывать с опаской и знанием обстановки, но на слободке резать легче. Полиция проверила документы слободчан, прописала их на ненумерованной жилплощади пустыря и успокоилась.

— Слава Богу, итальянцы — не немцы, а сами непримиримые враги всяких "ферботен"... да и к "орднунгу" более чем равнодушны.

Когда солнце уже поднялось, художник устанавливает свой самодельный мольберт очень интересной конструкции. На нем полотна, вернее картонки от кэр-пакетов, стоят в три этажа. Это новый конвейерный метод живописи. Он очень удобен. Сначала углем — три контура. Потом лазурью — три неба. Дальше белилами — три снежных поляны... На небеса — три луны, а на поляны — общим счетом пятнадцать елок. Мыть кисти или смешивать краски не приходится, рабочее время

сокращено и разом готовы три произведения искусства. Общим счетом на триста лир, то есть на полтора кило хлеба.

Снежные пейзажи идут на базаре ходко. Леонарды разные и всякие там Рафаэли их писать не умели и потомков своих не научили. Конкуренции нет.

Имя этого художника я знал и раньше. Я видел его под репродукциями пейзажей в художественных журналах. В другой стране, где было много снега. Там он писал цветистые, залитые солнцем луга. Здесь — снег и мертвенную луну.

Завалив на спину узлы с дипийской рухлядью, выбирается на базар Катюша. Она — комиссионер не только всей слободки, но и всех столовников Русского Собрания. Фирма ее уже старая, всем известная и заслужившая полное доверие клиентов.

— Господжин Ширяев, — кричит она мне, — тамо у Собранию скажите, што я у три саты приду.

Слово господин она произносит с "дж", по-сербски. Она выучилась ему, лишь попав "остовкой" на Балканы. В России она его не слыхала.

Вслед за Катюшей ухожу и я со своими куклами.

Савилов, горбясь, сидит на кровати. Его сотрясает утренний кашель. Туберкулез обоих легких в последней стадии.

Дети водят хоровод и поют итальянскую песенку:

Cavallo per gente.
Che costa? Cinque cento . . .

После обеда мы постепенно, по-одиночке стягиваемся к своим пенатам. Мой кукольный ящик переменил свое содержимое. Куклы проданы, а он набит редиской, картошкой и прочими доступными дипийскому племени припасами. В руках — ведерки из консервных банок, в них — обед из Собрания. Под мышкой — шмоток стружек. Это я прихватил на базаре для набивки кукол. Сырье для моего производства я черпаю из самых неожиданных источников и без каких-либо лицензий.

Перед кроватью Савилова целый женотдел. Это он ведет разбирательство очередной ссоры. В судьи его не

избирали и не назначали. Это само собой вышло, но его авторитет непоколебим и решения обязательны.

Солнце, обойдя свой круг над Вечным Городом, садится за виднеющимся с нашего холма куполом собора Св. Петра, и к нам приходят гости.

Прежде всего — перуанец Свидин. Он устремляется к моей жене и расшаркивается:

— Добрый вечер, тетушка!

Родство это для меня не совсем понятно, но признано ими обоими. Дело в том, что довольно давно отставной генерал Свидин развел огромный сад на берегу Кубани, близ станицы Баталпашинской, а над ним на горе тоже отставной полковник Удовенко разбил свой сад. Любители-садоводы дружили между собой, а их внуки играли и в том и другом саду. Одна из внучек полковника гоняла там обруч, а один из внуков генерала просто орал на руках своей матери. Внучкой с обручем была моя жена, а орастым внуком генерала вот этот самый Свидин, перуанец. Тогда они были знакомы лишь поверхностно, так сказать, мимолетно, но прошли года, умерли и полковник и генерал, сад полковника вырубили под корень, а сад генерала случайно уцелел и тот же проказник-случай привел в него на жительство внучку с обручем, мою жену, и меня вместе с нею.

А орастого внука занесло через моря и океаны в самое Перу, откуда он, по непоседливости своего характера, перемахнул на Балканы, когда там русские офицеры взялись за оружие, чтобы освободить свою землю. С Балкан его перенесло в Рим, где он обнаружил занесенную туда тем же ветром девочку с обручем.

— Ну, как же она мне не тетушка? Ведь она на семь лет меня старше. Тетушка, едем со мной в Перу! У меня там ферма есть. А родство я в ИРО хоть сейчас докажу! Тю! Родства-то кровного не доказать! . . .

Вслед за перуанским казаком Свидиным подтягивается Гогин папа, грузин, инженер. Гога — лучший друг моего Лоллюшки, хотя они дерутся не менее пяти раз в день. Воинственность, очевидно, наследственная у обоих. Мне пришлось повоевать несколько более, чем я

хотел, а Гогиному папе — несколько меньше его желания. Лет пять назад он собрал три тысячи своих грузин и засел с ними в лесах над Сухумом. Подраться кое с кем ему очень хотелось, но нужно было ждать подхода немцев с оружием для этой драки. Они не подошли и даже подальше ушли. Воинственному инженеру пришлось уводить своих грузин горными тропами, через снега перевала, вслед за ними, и он все-же довел большую половину. Где она теперь? Кое-кто, усвоив армянское происхождение, еще сидит в венецианском монастыре, иные еще блуждают по долинам Италии, третьи, ставши во-время турками, двинулись в Истанбул, но большинству двигаться некуда и незачем. Лежать им спокойно. Одним — под развалинами фортов Ла Рошели, другим — в древней земле Эллады, третьим — в долине Дравы близ Лиенца . . .

Мы усаживаемся на камушках около кровати Савилова.

— А, святой человек! Вали под наш кур! Твоими молитвами живы!

Святость наш новый гость обрел сравнительно недавно. Только после разгона дома на Виа Тассо, откуда он побрел в единоличном порядке и осел в недалеком от Монте Верде бернардинском монастыре в качестве огородника. Но раз с монахами живет, значит, свят, хотя прежде и много грешил, особенно против советских заповедей и заветов Ильича. И в степях партизанил, и с Колымы удрал, и еще потом . . . Но об этом пока лучше молчать, так как я называю его собственным именем — вахмистр Лозинка, подхорунжий.

Стекаются к Савиловской кровати и прочие мужи кочевого племени. Последним появляется Володя-певец. Он тоже здесь, слегка разойдясь во взглядах на свободу личности с ировским директором Чине-Читта. Своего шатра Володя не раскинул, не чувствуя в том надобности. Ночью он гастролирует, а днем отсыпается в моих подсолнухах. На кой же черт шатер!

Володя не садится. Он обводит собравшихся еще мутными со сна глазами, но, как всегда, веселыми, до-

стает из кармана комок смятых бумажек разного достоинства, прикидывает их на вес и подмаргивает:

—Сходить, что-ли? Я в момент сбегаю!

Получив утвердительный кивок вождя, Володя несется в мое палаццо.

— Нина Ивановна, одолжите ваше ведрышко на минутку! — поет он медовым голосом. Ох, хитер!

— Опять пьянствовать собираетесь! — слышится из палаццо. — Не дам! Алексею Анатольевичу вредно, да и другим тоже . . . Пьяницы!

"Другие" — это, конечно, я. Но я молчу. Женщины и должны ругаться, когда мужчины пьют. Это все, что осталось нашим дням от вечной женственности дней Гете.

— Эх, была бы у меня такая жена, как у тебя, — никогда бы я не пил! — говорит мне Савилов, но раз такой жены у него нет, то подмаргивает Володе: — вали! Нажимай!

Дело в том, что наше ведро — единственное во всей Ширяевке эмалированное. Подарил его моей жене еще армянский турок в Венеции, а где он его достал — история ведра о том умалчивает.

— Нина Ивановна, — поет еще слаще Володя (прямо Карузо!) — нам на минуточку и всего полведра . . . Много ли на 15 человек!? Кстати мне и умыться надо . . .

—Что же вы вином, что-ли, умываться будете?

— Нет, я вообще, в части ведра . . . — несколько путается в тексте Карузо, — Нина Ивановна! . . .

— Берите. В последний раз и не больше, чем половину . . .

Володя отбивает дробь по облупившемуся до́нцу венецианской посудины, делает пируэт и уносится.

— Итальянцы на базаре болтают, что обязательно власть к коммунистам отойдет после выборов, — мрачно сообщает Посельский.

— Куда отсюда поскапаришь?*) Крышка!

С вином, которого Володя притащил, конечно, полное ведро (стоит ли за полведром бегать! Ночной вы-

---

*) Итал. scapare — убегать.

ручки как раз на пятнадцать литров хватило. По литре на рыло . . . а на трам соберете . . .) настроение поднимается.

— Де Гаспери власти не сдаст! Его Папа поддержит. Здесь религию уважают.

Но волна пессимизма накатывается снова вместе с приходом последнего из обитателей итэровской комнаты, Никиты Петровича, доцента то географии, то космографии, то геологии, смотря по настроению.

Он элегантно раскланивается и поправляет очки.

— Привет вам, отбросы родины!

К подобным характеристикам мы привыкли и потому не обижаемся. Даже наоборот.

— Садись, Никита Петрович, — предлагает Лозинка, — выпей чашечку с отбросами . . . А ты сам из каких будешь?

— Конечно, признаться надо, все мы гниль, навоз...

— Без навозу, браток, и земля не рожает!

— Чего же вы в свою творческую жизнь не возвращаетесь, а с навозом мешаетесь? — не выдерживает воинственный инженер.

— На это у меня особые причины, — глубокомысленно парирует доцент. Он всегда говорит веско и уверенно, чувствуется привычка к бессловесно внимающей аудитории. — Но оценим сами себя. Там кипит жизнь, творческая работа, а мы здесь разлагаемся, барахольничаем . . .

— Прекратим этот разговор, друзья, — похрипывает Савилов, — считает себя навозом Никита Петрович — его дело. А я о себе и всех нас иного мнения. Раз вырвался из чертова логовища, значит, смог. А раз смог, значит — силен. О каком же навозе разговор?

Вечером он спрашивает меня:

— Как думаешь, засланный он?

— Нет, не думаю. Поумнее заслали бы, потоньше. Просто комсомольская закваска еще не перекисла.

— А деньги у него откуда? Живет хорошо . . .

— Ловкость рук и никакой магии. Недавно ухитрился в американской пропаганде сотню долларов

аванса под книгу об СССР получить...*). Из Америки тоже перепадает. Нет. Это не засылка, а просто прилипшая к нам грязь... Поторопился при немцах карьеру сделать и промахнулся.

—Кое с кем такие случайности действительно произошли. Верно.

Осушив содержимое ведра, мы растекаемся: Лозинка — в свой монастырь, я — в палаццо, прочие в шатры... В стороне собора Св. Петра взлетают ракеты и повисают огненными каскадами в темном небе. У итальянцев одна из многочисленных фест, праздников.

У нас — будни. Через так и не дождавшееся стекол окно я слышу, как в подсолнухах возится Володя. Он готовится к своим ночным дебютам, подстраивает неразлучную спутницу-гитару и тихо напевает классическую песню своего поколения:

Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет.
А я мальчик еще молод
Счастья-доли мне нет...

На своей одинокой кровати задыхается в пароксизме кашля Савилов. Это — Россия его поколения, соловецких, колымских, печерских доходяг.

Чей-то ребенок взметнулся, напуганный страшным сном, вскрикнул и залился плачем... Это его песня.

**
*

Так протекают спокойные дни слободки Ширяевки. Но иногда над нею проносятся бури... Ветры, дующие в стране, куда нас загнала бродяжья доля, нагоняют облака. Солнце меркнет, и страх сжимает сердца железными, колючими тисками...

Самый сильный порыв таких ветров пронесся в день парламентских выборов в Свободной Италии. Ве-

---

*) Эта книга им, конечно, написана не была. "Доцент" Никита Петрович — лицо не вымышленное. Изменено лишь имя. Б. Ш.

тер, дующий из той страны, откуда мы вырвались в грохоте битв и дыме пожаров, рванул, напрягая все силы. Задолго до дня выборов все улицы Рима уже пестрели вереницами ярких плакатов, и с каждого из них на нас смотрело лицо зверя... того, из берлоги которого мы ускользнули. Щупальцы спрута тянулись к нам и укрыться от них было уже негде.

— Вот, примерно, сидим мы здесь и беседуем, — рассуждал Лозинка, — а думка у нас всех такая, что на мушку мы все уже взяты... Вон он свой наган-то на нас навел!

Со стен школы, в которой надлежало стоять избирательным урнам района Монте Верде, на нас смотрело знакомое усатое, самодовольное лицо. Да не одно, а целый ряд портретов, чередовавшихся со столь же знакомой эмблемой.

— Серпом тебя подрежет, а молотом пристукнет... и амба!

— Амба!

Рано утром в день выборов к школе прибыл отряд спешенных конных жандармов.

— Ребята ладные, — осмотрел их опытным глазом Савилов, — сытые, снаряжение в порядке.

—Ладные-то ладные, а за кого они повернут?

— Кто-же их знает.

Посмотрели слободчане на молодцов, подивились на их блестящие, с вызолоченными эфесами сабли и без сговора, но единодушно стали растекаться кучками с пустыря.

—От греха подальше... А там увидим. Стреляная ворона, говорят, и куста боится.

— Очевидно, свои основания к тому имеет.

— Куда же пойдем?

— Да куда же? Остерии-то открыты сегодня?

— Настежь все, как одна.

—Так пошли?

—Ну, и пошли. Не всем скопом в одну, а по разным, колхозами — человека по три-четыре...

— Так и пересидим незаметно.

Сидеть пришлось долго. Избиратели стали соби-

раться лишь часов с десяти. На доске перед входом в школу каждые полчаса писалось число проголосовавших граждан Италии. Оно росло, но довольно медленно. За столиками остерий, занятыми группами слободчан, ход выборов тоже отмечался количеством стоящих на них пустых бутылок. В Италии их не принято убирать со стола. Эта запись росла пропорционально быстрее.

К полудню проголосовала половина избирателей.

К этому же часу число бутылок на столах дошло до предельной нормы.

— Точка, — распорядился Савилов — И некуда и не на что. Айда домой . . . Будь, что будет.

Обратный путь на пустырь мы совершали в порядке взаимной кооперации, то есть шеренгами, заботливо поддерживая друг друга. Некооперированным единоличникам приходилось туго. Особенно на ступеньках лестницы, ведшей от школы в слободку. Премущества колхозной системы сказывались на них особенно ярко. Преодолевает такую трудность единоличник и качает его, как сосенку в бурю.

—Piano, piano, — подхватывает его под руку бравый жандарм.

—Верно, друг, пьяный я, как есть пьяный . . .

Общий язык с опорой Де Гаспери и взаимное понимание были установлены.

—Замечательные ребята! Никакой тебе грубости или некультурности! Сочувствуют нашему состоянию... Понимают!

Вряд-ли жандармы понимали на самом деле нас, диких "страниеров", предпочитающих, вопреки здравому смыслу, жизнь на чужом пустыре возвращению в свои, столь прекрасные на плакатах, дома.

— Как разъяснить им это? — грыз меня нераздавленный еще червячек журналиста-агитатора. Нельзя, побьют еще коммунисты . . . вон их сколько гогочет перед плакатами . . . Да и с языком слабовато.

Но разъяснитель все-таки нашелся и жандармы кое-что поняли.

Их блестящие сабли, краги, широкие красные лам-

пасы и прочие красоты неудержимо тянули к себе моего Лоллюшку.

Кудрявый, светлоголовый мальчишка незаметно для самого себя оказался среди жандармов и достиг заветной цели — подергал за кисть темляка сержанта.

— Ты откуда?

— Вон оттуда, — ответил мальчишка по-итальянски, да еще со звонким феррарским акцентом. Разговоры с падре Бутенелли вряд-ли научили русскому досточтенного отца-настоятеля, но его учитель постиг все красоты благородной Феррары.

— Ты итальянец?

— Нет, русский.

— Из самой России, от белых медведей?

— Нет, медведей там как-будто не было, — с большим сожалением сознается Лоллик, — я их только в Берлине в Цоо видел.

— А шеколад там был? — протягивается к нему солдатская рука с пайковой плиточкой американского рациона.

— Был . . . только . . . — разъяснение сложной системы снабжения трудящихся продуктами питания в стране победившего социализма Лоллику не удается. Выясняется лишь одно: будучи в России, шеколад он ел только раз в течение всей своей сознательной жизни. Но гастрономическая проблема интересует обе стороны: жандармов — теоретически, а его — практически, так как для наглядности плитку шеколада сменяет кусок колбасы, а колбасу — апельсин. Лоллик чужд рутины. Поэтому он поглощает все в порядке поступления, не придерживаясь устарелых традиций. Интересный разговор между тем продолжается и в порядке прений выясняется, что в этой самой России ее достигшее вершин благосостояния население ветчины не ест, предпочитая ей кладбищенские консервы из собственных дедушек и бабушек.

Страшные рассказы о колбасе из отрытых трупов, слышанные на далекой родине, видимо, глубоко засели в памяти ее блудного сына.

— Стой, — говорит сержант, — этот мальчишка

рассказывает занятные истории; позовите лейтенанта, ему будет интересно.

Лоллик повторяет свои воспоминания перед пришедшим офицером.

—Слышите? — говорит тот солдатам, — ведь так складно врать мальчишка не может. Он еще слишком мал для пропаганды . . . следовательно . . .

— Следовательно, врет "Баффоне" и наслушавшиеся его дураки, — решает сержант.

"Баффоне" значит по-русски "усач". Это старинная кличка итальянского Фальстафа, хвастуна и враля, героя позабытой уже кукольной комедии, "Петрушки" залитых солнцем площадей. Теперь о ней вспомнили и приклеили ее к Сталину.

—Вот вам и разгадка того, почему эти люди скитаются здесь по пустырям и развалинам, а не возвращаются на родину, как наши из Германии.

— Мертвечина вряд-ли вкусна! Даже с пармезаном и оливами . . . Брр . . . — плюются жандармы.

Собеседование на русские темы длилось до ухода отряда. Лоллика оно обогатило. Пришлось даже сбегать домой за коробкой, чтобы сложить в нее непомещавшиеся в руках апельсины, шеколадки, куски колбасы, початые банки консервов . . . Вероятно, и его слушатели несколько обогатили правдой свои представления о стране, где жизнь так свободна и прекрасна.

Наутро мы облегченно вздохнули. Радио прохрипело о победе католиков.

—Пронесло на этот раз мимо! Еще поживем.

Но обрывки плакатов со столь знакомыми нам усами висели еще долго и злобно шуршали по ночам.

— Это "горячо любимая родина" нас с тобою зовет, — говорил тогда мне Савилов. — Слышишь ее?

Я слышал и, наслушавшись шорохов спал сторожко и тревожно.

Куда уйти от них? Где скрыться от ее "призывов"?

***

Счастливый день, когда шорохи оборванных плакатов и другие более основательные причины перестали

тревожить сны большинства обитателей Ширяевки, пришел под осень.

На пустырь, как и весной, покачиваясь в рытвинах, въехали два грузовика и слободчане устремились к ним, таща чемоданы, сумки и ящики . . .

— Кто в Венецуэлу — на первый, а в Аргентину — на второй! — пытался установить порядок кто-то, незабывший еще немецкого "орднунга".

Тщетно! Да и к чему? Все равно всем вместе еще до Неаполя ехать. А там . . там рассеются по неведомым путям.

— Счастливо! Устроитесь — напишите!

— Обязательно! Не сомневайтесь! И вас вытянем!

Конечно, никто ни слова не написал и никто никого не потянул. Да и тянуть было некого. Ширяевка опустела. На пустыре остались лишь мы в своем палаццо, Савилов на своей кровати, да еще какие-то тряпки и камышевый шалаш около стены моей виллы, в который нужно было вползать на четвереньках.

Тряпки сгребли и выкинули на соседний участок, а шалаш оставили "на всякий случай".

Проводили мы чужих, случайно сбитых в одну кучу с нами людей, а все-же было грустно. Было грустно прощаться с нами и отъезжавшим. Вновь обросший густой гривой доктор долго тряс мою руку.

— Я вас добром вспоминать буду . . .

— И в память обо мне постригитесь в первый же день по приезде, а то там всех перепугаете, — пробовал шутить я, но шутка не вышла.

— Проводили, — сказал я Савилову, когда авто скрылись из виду, — а мы куда?

— Ты — не знаю, а я — туда, — указал он рукой на монастырское кладбище, — мой маршрут ясен.

Он не хлопотал об отъезде, даже никуда не записывался.

— Зачем я очередь занимать буду? Еще на дурня чью-нибудь визу перехвачу. Человека зря обездолю.

Он ясно видел свою путевку и не ошибся. Когда полили дожди, Саков и Вуич свезли его в госпиталь.

Зашли к нему через несколько дней и попали как раз в ту минуту, когда агония подходила к концу.

Савилов лежал неподвижно, вытянув свое худое, длинное тело под серым больничным одеялом, но был в памяти и узнал их.

— Передайте Наследнику Престола Князю Владимиру, что моя последняя мысль, последнее слово о Нем.

Так и было. Больше он не сказал ни слова. Саков и Вуич донесли его последний вздох до Великого Князя. Я это знаю.

Схоронили его на итальянском кладбище, но отпевал русский священник.

— Стоило ли тратить столько сил, бороться, прорываться, пробиваться, проскальзывать, блуждать, погибать, воскресать, чтобы положить свои кости в чужую и чуждую землю? — сказал я жене.

— Стоило, — ответила она, стряхивая слезу, — уж для одного того стоило, чтобы в последний час сказать то, что он сказал, и чтобы умереть, зная, что будет услышан... тем, к кому пробивался всю свою волчью, бродяжью жизнь. Разве не стоило?

Снова лили зимние дожди и снова горели в печке собранные на свалках дрова. Котенок стал уже взрослым красавцем-котом, грозою всех крыс пароккио.

— Каждый день у него мясное, — с завистью говорит Лоллик, — по три крысы в день притаскивает!

А кот явно хвастался обилием продовольствия. Притащит здоровенную крысу, положит на средину нашей жилплощади и поглядывает: "Вот я какой!"

Вечерами горела лампа, и на ее огонек порой приползали тени... Стук, стук в дверь, и из-за нее слышится полушопот:

— Русские здесь живут?

Я уже знаю. Это какой-нибудь отсталый волк выполз из логова, где скрывался год-два. Логова были разные: погрузочные площадки генуэзского порта, крестьянские фермы, иногда монастыри.

— Как вы нашли меня? Кто сказал адрес?

—Люди сказали, — слышался всегда ответ. Очевидно, люди еще жили даже в Европе.

— Я завтра буду в лагерь проситься, а сегодня переночевать у вас можно? Больно уж дождик зачастил . . .

— Разместимся как-нибудь.

— Только документы вот я завтра выправлять буду . . . Не в порядке они немного.

—Не беда. В полиции ко мне уже привыкли, да и в такой дождь, кроме того, ни один итальянец из-под крыши не вылезет.

Что-то стелили на площадку, оставшуюся от немецкой зенитки, ночевали. Наутро тень исчезала. Имен я не спрашивал, но позже встречал иных в лагерях.

Но иногда они сами говорят свои имена. Однажды днем к нашим дверям подошел стройный красивый юноша с едва пробивавшимися усами. Здороваясь, он назвал свою фамилию. Она была мне знакома. Я читал в Белградской газете о подвиге, совершенном полковником А. в борьбе с титовцами. Он два дня защищал свой бункер против во много раз превосходивших числом врагов и, расстреляв все патроны, взорвал последней гранатой себя и единственного из оставшихся в живых соратника.

— Полковник А. ваш родственник?

— Это мой отец. А капитан А. — мой брат.

— Он где теперь? Знаете?

— Убит.

Сам пришедший ко мне А. поступил в Русский Корпус почти ребенком, при отступлении был ранен, оставлен. Под чужой фамилией проскочил в Италию. Несколько раз попадал в различные титовские, английские, советские концлагеря, то бежал из них, то выскальзывал . . . Длинная и странная одиссея у этой молодой, едва начавшейся жизни . . .

Он прожил в нашем палаццо несколько дней, пока отцы Руссикума смогли его “оформить” и отправить куда-то за океан.

Нас в лагеря не тянуло, хотя теперь слабо еще, но дули уже иные ветры. Было легче.

В новом 1948 г. на нашем пустыре появились геометры с рулеткой. Они расставляли вешки.

— Проводим новую улицу. Ваше палаццо придется снести.

Ничего не оставалось, как подать А. Н. Мясоедову просьбу о направлении в лагерь. Я подал. Приняли.

Через пару лет мне пришлось заглянуть на Монте Верде. Мое палаццо еще стояло, но было индустриализировано: окна забиты и дверь заперта. В нем хранились теперь инструменты прокладывавших улицу рабочих. Улица была все еще в проекте, и вещественная память о слободке Ширяевке еще жила.

На могиле Савилова я не был и не знаю, сохранился ли напоминавший о нем холмик желтой итальянской земли.

20. О БУКВЕ "ЯТЬ" И ПРОЧЕМ ПОДОБНОМ

— Могу тебя поздравить! Теперь мы самые настоящие Ди-Пи, зарегистрированные в двух десятках офисов с приложением стольких же соответствующих печатей, к соответствующим местам, к счастью, не лично нашим, но бумаг нашего досье, — сказал я жене после трехчасового регистрационного пробега по офисам Чине-Читта. Сел на свои узлы, сваленные близ ворот, и облегченно вздохнул. Было от чего.

— Тебе ничего не напоминает наше новое звание? — спросила жена.

— Пожалуй, птичку какую-то, — пожал я плечами, — дрянь такая эта птичка, не щегленок, и не чижик . . . Прыгает без толку, трясет хвостом и попискивает.

— Ну, а мне другое. У меня в детстве кукла была резиновая .Морда у нее глу-у-пая была. Нажмешь ей на животик, а она высунет язык и пискнет: "ди-пи"! Уверяю тебя, именно "ди-пи" она кричала!

—Ну, это, знаешь ли, символика и мистическое

предвидение. Мои ассоциации проще и к природе ближе. Дрянь была эта птичка... совсем никудышняя...

— Ди-пи... — раздался вдруг какой-то сдавленный, но вполне реальный, а не символический возглас.

Оказалось, что испустил его наш кот. Лоллик был не в силах с ним расстаться, но боясь, что кота не зачислят на наше дипичеловеческое положение, он держал его под пальто в течение трех часов моего пробега. Дальше ждать кот не смог и напомнил о себе.

Итак, после двух с половиною лет мы снова в Чине-Читта. По внешности здесь мало что изменилось. Разве что площадь, занятая офисами, разраслась, а занятая дипийцами сократилась. Но античная дыра в крыше китайского павильона зияет по-прежнему.

А население изменилось. Старых знакомых — почти никого. Тогда преобладали семейные, прикочевавшие через Вену из Сербии, а теперь — холостяки, повылезшие из убежищ недотравленные волки власовской и красновской стай... Но есть и иные. Они вкраплены яркими пятнами в общий серый дипиевский фон.

Еще во время пробега в одном из офисов меня очаровала гордая импозантная фигура. На левом рукаве ее английской куртки густо толпилось множество всевозможных эмблем, нашивок, галунов. Вышитый серебром британский лев громоздился когтистыми лапами на какой-то голубой крест, а под ним в качестве матраца, лежали полосы звездного флага... Эта ходячая геральдика что-то ожесточенно доказывала регистратору. Разговор шел по-русски.

— Я подданный Его Величества Петра Второго, короля Сербского, князь... — дальше следовала очень звонкая, но совершенно незнакомая мне двойная фамилия.

Насколько я знаю, в Сербии княжеский титул носила только царствующая семья Обреновичей, позже Карагеоргиевичей. Значит — русский. Но в России я никогда не слыхал этой княжеской фамилии. Плохо нас всетаки учил покойник В. О. Ключевский. А еще целую лекцию посвятил родовой борьбе в Боярской Думе, до-

казал приоритет племени Гедеминовичей над Рюриковичами ... А вот об этом знаменитом роде и не вспомнил.

Ладно. Потом познакомлюсь — расспрошу, а пока надо двигаться в указанный мне блок № 13. Он в самом конце кино-городка, метров за 400 от нас, а багажа набралось пудов шесть-семь ... Обрасли всякой дрянью; говорил жене: "брось", а она — "нельзя, все это нужно".

И, как на грех, силы вдруг изменяют. Сборы, беготня, волнения переезда — все это дает себя знать как-то вдруг. Сердце начинает трепыхаться, колени дрожат, и я сажусь на узлы.

— Сердечный припадок ... вот еще не хватало!

Жена — носильщик плохой. Лоллюшка еще мал. А дождик все припускает и припускает, да с ветром, холодным, пронизывающим. Кот отчаянно вопит о своей принадлежности к дипийской нации, и эти звуки привлекают внимание торчащего у ворот полицея. Он подходит, выясняет их происхождение и долго разрешает трудную задачу "можно" или "нэ можно" допустить такого дипийца в лагерь. Но жена выбивает его из размышлений о рамках демократической свободы.

— Мы вещей до тринадцатого блока дотащить не можем ... Муж заболел ... Видите, ребенок промок весь ... Можно авто из гаража вызвать? Ведь гараж в двух шагах ... Можно?

— Нэ можно.

— Может быть, вы кого-нибудь позвать можете? Помочь? Я заплачу. Можно?

— Нэ можно.

— Тележку с кухни прикатить? Сын сбегает?

— Нэ можно.

— Все не можно?

—Свэ.

Положение становится безвыходным. Мимо пробегают люди. Жена сует каждому последние двести лир и просит помочь, но идет крупный дождь и все отмахиваются. Темнеет.

— Господи, что же делать?

— Русские? — здоровенный детина неопределенно-

го вида останавливается около нашей группы. — Куда? В тринадцатый? Я сам оттуда. Это мне враз . . .

— Враз не поднимете. По частям понесем . . . — сживает жена. — Я заплачу.

Детина отстегивает поясок под пиджаком и что-то комбинирует.

— Только на спину помогите завалить . . . А это мы враз . . .

По главному проспекту Чине-Читта двигается шествие. Впереди конусообразная конструкция из узлов и ящиков, завершенная головой детины. За ним жена с двумя кэровскими картонками. Далее Лоллик с набитым чем-то венецианским ведром в руке. Другой — он прижимает к груди кота, который орет каким-то мистическим, загробным голосом и царапается всеми четырьмя лапами. В арьергарде плетусь я.

— Супруга-то вашего поддержать бы надо . . . Он белый стал . . . — то и дело оглядывается голова над конструкцией.

Но добрались. Вступили в какую-то огромную залу без окон и с очень высоким потолком — бывший гараж. Посредине — печка. К ней жмется толпа кроватей, а к стенам прилеплены шалаши из одеял. Широкие ворота-двери открыты настежь.

Детина уверенно проводит нашу колонну в кильватер по сложному форватеру между-кроватных рифов и разгружает в двух метрах от печки.

— Здесь я, а рядом — свой человек. Подвинемся, а вас в середку зажмем.

— Спасибо . . . и благодарить как — не знаю! — сует ему жена двести лир.

— Это за что? Себе оставьте, — отмахивается ручища с густой рыжей щетиною, — не за что!

— Вина себе купите . . . Выпьете!

— Это можно. Выпьем для новоселья. Я враз . . . тут же, за воротами. На все, что-ли, брать? И супруга погреем . . . Я враз . . .

Действительно, враз. Не успела еще Нина достать Лоллюшке сухую одевашку, а детина уже тут-как-тут. В одной руке у него пузатая фиаска, а под другой —

железная кровать. Кровать он бросает на пол с размаху, а фиаску ставит бережно и любовно.

Стакан согретого вина разливается по мне приятной, теплой слабостью. Колотье в сердце затихает. Я слышу, как сквозь сон:

— Вы, что-же, грузчиком, что-ли, работали? — спрашивает жена. — Уж очень вы ловко все дотащили.

— Бывало, что и грузчиком . . . колхозник я из-под Таганрога . . . Таганры знаете? Оттуда. Гамаюнов я, моя такая фамилия, значит . . . Гамаюнов . . .

* * *

Мы быстро обживаемся на двух сдвинутых кроватях между колхозником Гамаюновым и шахтером Александром Ивановичем.

Коту — раздолье. Крыс здесь еще больше, чем в подвалах Монте Верде.

Знакомлюсь и с местным населением. Его состав сильно изменился за два года. Во-первых, появилось много чехов. Раньше их совсем не было. Железный занавес, продвигаясь на Запад, гонит перед собою новые волны. Есть и венгры. Китайцы исчезли, их благополучно и срочно перевезли к Мао. Очень мало осталось и поляков. Их перевезли куда-то в Англию и посадили за проволоку. Многим панам такой прием не понравился, и они предпочли вернуться в ставшую теперь социалистической Речь Посполитую.

Это еще работа УНРРА и ее маршала Ла Гвардия. Союзников-то! Всю двухсоттысячную армию генерала Андерса, которая действительно дралась, как львы, под Монте Кассино! Это и немцы тогда признали. Ну, а у британских социалистов, сменивших Черчилля, другая оценка подвига.

Сильно изменился и состав русской группы. Первая волна нахлынувших на Рим беженцев русских состояла, главным образом, из одиночек и семейных остовцев и просто беженцев, вывезенных из Германии и Австрии в последние месяцы перед капитуляцией. Она прошла через "Казачий стан" в Толмеццо. Из Германии

их вытягивал туда Краснов, а из Австрии — Шкуро под видом "казачьего резерва". Оба генерала служили свою последнюю службу русскому народу, судорожно перебрасывая беженцев, куда могли, спасая их от неудержимо надвигавшейся красной орды.

Эта волна уже схлынула в Аргентину, Венецуэлу, Бразилию. Застряли лишь неудачники, помимо своей воли уступившие свою очередь на получение виз продвинутым комитетом сербам.

Теперь в Чине-Читта вливались две иные струи. Одна шла густо. Она состояла из тех, кого немцы вывезли из Сербии перед сдачей Белграда. Другая просачивалась мелкими частями, каплями. Это власовцы и Хиви,*) проскользнувшие вольчими тропами из Боснии, Австрии, Чехии, Баварии, через Тироль. Теперь они выползали из своих убежищ. "Охота за черепами" уже затихала. Репатриаторы сами больше не появлялись в Чине-Читта, а лишь писали письма прибывающим туда русским. Получил такое и я. Странное. На листке простой почтовой бумаги, без бланка, было написано от руки: "Дорогой товарищ Борис". Без отчества. Дальше шли призывы нетерпеливо ожидавшей меня родины и стояла подпись: "Полковник Глинчиков".

Призывы были обыкновенными, серыми, вялыми, без пафоса и, чувствовалось: без надежды на успех. Так лишь, чтобы выполнить надоевшую работу.

— Но почему нет отчества, раз не по фамилии, а по имени я назван? — удивился я.

— Очень просто, — ответила жена, — твою фамилию и имя "кто надо" прочел на доске объявлений, когда на медосмотр вызывали.

—Ты становишься соперницей Шерлока Хольмса. Это похоже на правду. При регистрациях записывали и имя отца. Значит, не оттуда. Не из офисов сообшают о вновь прибывших. И не те, кто меня знает. Эти зовут по отчеству.

---

*) Хиви, хильфсвиллигерами, назывались русские, служившие в немецких частях и формированиях ген. Кестринга.

Знают меня в Чине-Читта пока только мои ближние соседи — Гамаюнов и Александр Иванович, с которым я познакомился на следующий день по прибытии в Чине-Читта в читальне. Еще их "колхоз", такие же, как они, одиночки, прорвавшиеся в Италию в единоличном, так сказать, порядке по маршрутам перелетных птиц.

Но, кроме них, здесь есть новые. Вот, например, одна дама. Она целый день носится по лагерю и поспевает всюду, несмотря на свою хромоту. Где слышна русская речь, — там и она. Очень разговорчива. Акцент речи явно советский, с жаргонными словечками, но вместе с тем бойко говорит по-фанцузски, сидела в тюрьмах. Вероятно, из "недорезанных". Кстати, пламенная монархистка, пишет довольно скверные стихи о величии и красе скипетра царей Всероссийских и беспрерывно агитирует.

— Вы, конечно, не можете этого помнить, — убеждает она шахтера из раскулаченных Александра Ивановича, — вы молоды, а как жилось тогда всем! Государь, аристократия, помещики строили школы для крестьян, помогали бедным . . . приюты . . . ночлежные дома от благотворителей.

— Помещики выходит, разные были, — угрюмо резонирует Александр Иванович, — а то я вот здесь с одним эмигрантом-помещиком познакомился. Так у него в тетрадке записано точно, сколько берез в саду мужики порубили и какую скотину забрали, и сколько аренды ему за все советское время причитается . . . все, говорит, взыщу . . . когда царь на Руси будет . . .

— Ну, так что-ж, — парирует хромая, — он деньги получит и тем же крестьянам поможет . . . А как жилось при помещиках! Не верите? Вот у профессора спросите, — ловит она меня за рукав. — Расскажите им правду, Борис . . . простите, не знаю, как вас по отчеству . . .

— Твои дедукции получают некоторое подтверждение, — говорю я потом жене, — ты от хромой держись подальше.

Подтверждения поступали и потом. Всюду, где ни

появлялась эта особа, а побывала она во всех лагерях, тотчас начинались склоки и распри: то русские с украинцами, то "старые" с "новыми", то православные с католиками.

Позже я прочел в "Часовом" перехваченную американцами инструкцию МГБ своим агентам в лагерях ИРО.

— Смотри, — показал я ее жене, — как совпадает с деятельностью хромой — по всем пунктам.

Но она к этому времени исчезла из лагерей. Ходили слухи, что ее видали в Риме, выходящей из советского полпредства.

Еще позже, при отборе эмигрантов в США, консул и глава контроля — инспектор, закрывали путь за океан всем, кто признавался в бывшем членстве ВКП(б), комсомола, даже пионерства. Браковали и членов профсоюзов.

Наивный народ американцы. Они думали, что МГБ настолько глупо, чтобы заслать агентом партийца, к тому же раскрывшего свое прошлое. Немцы тоже наивничали, но были все-таки умнее.

* *
*

Александр Иванович, Гамаюнов и их "колхоз" для меня "своя бражка", знакомая по Советскому Союзу. А вот те другие? В Белграде перед эвакуацией я видел их мельком. Каковы они?

В Собрании, куда я часто приезжаю, знакомлюсь с профессором Криницей. Он очень общителен. Так и засыпает меня целым каскадом сведений, главным образом, о себе.

— Вы историк? Я тоже. У меня даже своя теория есть насчет варягов. Их совсем на Руси не было.

— На каких источниках вы базируетесь? — спрашиваю я, вспоминая "варяжскую дискуссию", проведенную перед войной в Советах.

— Очень основательные. Я в энциклопедическом словаре об этом прочитал, только вот в каком — не помню.

Тогда я был несколько удивлен, но при дальнейшем знакомстве с профессором Криницей удивляться перестал и с большим удовольствием слушал его рассказы. Я очень люблю фантастику.

—Врангеля отравили, — просвещает меня профессор, — меня тоже травили. Толченым стеклом в одном кафе. В лимонад насыпали. Одна почка пропала . . .

— Почему же именно на вас так озлились большевики?

— Вполне понятно. Ведь я же прямой потомок последнего гетмана. Мне и булаву предлагали на съезде, но я не хочу почестей, к чему они!

Никогда не было скучно слушать профессора Криницу. Разве лишь минутами, когда сквозь цветистый узор его речей вдруг проглядывали серые будни, выяснялось, что профессура его, собственно говоря, белградская, где он служил помощником регистратора архива в министерстве народного просвещения. А в России он был уездным инспектором народных училищ не то в Кременчуге, не то в Шепетовке . . . Но родину он любил беспредельно.

— Как только случится переворот, а это будет совсем скоро, я знаю . . . мне одно такое предсказание известно . . . я сейчас же домой! Мы там разом повернем дело. Организуем школу. Настоящую, с буквой "ять" . . .

— Трудновато вам будет, коллега, — пытаюсь возразить я, — ведь для России не меньше двухсот тысяч учителей понадобится. Тамошние не знают буквы "ять" и учить ее не захотят . . . А где двести тысяч педагогов в эмиграции возьмете?

— Пустяки, — подавляет меня своей уверенностью Криница, — разом обучим. Ведь "ять" всегда слышен... хлеб, лес — разве вы не слышите?

— Не слышу, — смущенно признаюсь я, — хоть убейте, не слышу. Вот "бег, беда, белый, бес . . . седла, гнезда" наизусть еще помню, а слышать ятя — не слышу. Да и зачем вам эта мертвая буква?

— Мертвая? Зачем? — патетически восклицает мой коллега. — Да какая-же без нее школа? Я всю жизнь за "ять" боролся!

— Распроклятый ты "ять", — думаю я, — сколько из-за тебя слез в детстве пролито и вот опять с тобой пришлось встретиться . . . Живуч ты, подлец!

21. ДВЕ РОССИИ

В течение всей моей двадцатидвухлетней, ставшей теперь "потусторонней" жизни я часто думал о тех, от кого я был оторван волею судьбы, об эмигрантах, изгоях российских.

Как, чем живут они? Как мыслят? К чему стремятся? За что борются и борются ли еще?

Не Врангель, не Кутепов, не Милюков, не Керенский . . . Их лица я знал, и они могли измениться лишь в мелких штрихах, в деталях, а вот сами угли, из которых возникали языки этого разноцветного пламени, масса средней эмиграции, "ты", "я", "он"? Та ее часть, к которой принадлежал я сам и от которой был отторгнут?

Ответа не было. Во время НЭП-а в советских газетах изредка мелькали кое-какие заметки о Зарубежье, русские полемические ответы "Соц. Вестнику", книги Шульгина, "Осколки разбитого вдребезги" Аверченко. Мало.

Оторвались. Ушли. О нас забыли. Или, хуже того, зачислили нас в стан врагов. За что?

Первою ласточкой, принесшейся к нам из свободного мира была "Россия в концлагере" И. Л. Солоневича. Ее дал мне прочесть Г. Э. Эрхардт, русский немец из Петербурга, эмигрант, немецкий зондерфюрер, в г. Ставрополе, в августе 1942 года.

Что было! Господи, что было!

Я прочел книгу, не отрываясь. И не мог сделать перерыва в чтении, потому что на меня наседал, требуя ее, секретарь нашей редакции Б-о.

Тотчас же пустили подвалами ее отдельные главы в нашей газете. Наборщики не отдали ее после набора назад в редакцию, а собравшись группою, читали две ночи. Но Эрхардт уезжал и забирал книгу. Рабочие типографии переплели ее в роскошный парчевый переплет, вшили несколько листков лучшей веленевой бумаги, и все мы расписались на них, коротко выразив рожденные ею чувства... Хотелось бы, чтобы этот экземпляр сохранился еще у Георгия Эдуардовича Эрхардта... Мало кто из русских авторов получал такую рецензию. Быть может никто.

Факты, описанные И. Л. Солоневичем, ничего нового нам не сказали. Мы их знали. Мы видели сами показанную им "девочку со льдом", но когда она появилась на полосах нашей газеты, то в редакцию посыпались требования напечатать всю книгу.

В чем же была ее сила? Почему это, всем нам известное, потрясло всех нас?

"Девочка со льдом" сказала нам, **что о нас помнят, что нас любят, что за нас страдают, что во имя наше борются.**

Большего нам не было нужно.

***

Моя первая встреча с эмигрантами произошла в Керчи в 1943 г.... Это была молодежь из Болгарии, чистые, пламенные юноши. Вся их группа служила в отряде, несшем очень опасную боевую службу. Начальником был капитан, русский немец, которого звали Петр Иванович.

Я провел с ними день и увидел в жизни не написанное в книге, но сказанное меж ее строк. Да, нас любят. За нас жертвуют жизнью. Больше того, нас хотят познать и понять. Но это трудно.

Судьбе было угодно, чтобы я вновь встретился с некоторыми из них теперь, в 1951 г., когда пишу эти строки. "Встретился" лучше взять в кавычки: они в Марокко, а я в Италии, но, прочтя мою фамилию в газетах, они вспомнили меня, написали мне, и из их писем я вижу, что эти **нас узнали и поняли.**

Повторяю, это были эмигранты из Болгарии. Я говорю это потому, что после я увидел, что каждая из зарубежных групп российского рассеяния имеет свое лицо, воспринявшее некоторые черты от среды, в которую ее закинула бродяжья доля.

Потом я побывал в Берлине, Париже, Праге, Белграде, Риме и из встреч, из слов, из действий мог наметить эти отдельные черты каждой группы, а из их совокупности целое —

—Вторую Россию, многоликую, многообразную и во всех своих преломлениях далекую от Первой — Россию мечты.

В Берлине, где мне приходилось не только соприкасаться, но и сливаться в общей работе с местной и стянутой туда войной эмиграцией, деловое лицо Второй России, несколько сухое и холодное, редко с улыбкою, с глазами, пытливо и внимательно рассматривавшими меня и спрашивавшими:

—А скажи, пожалуйста, что ты, собственно говоря, **можешь** делать?

Я спрашивал его о том же и получал ответы от инженеров, офицеров, священников, журналистов, дававших их в действенной борьбе за то же, за что боролся я, с тем же врагом, постольку, поскольку это было возможно. Так словами и действиями ответили мне генерал Краснов, немец — епископ Берлинский, редактор "Нового Слова" Деспотули, генерал Бискупский, десятки офицеров, инженеров.

— Делаем, что можем. Трудно. Приходится многим поступаться, но делать надо. В этом наш долг. А там увидим . . .

Лицо России-мечты было неясно и туманно.

В Париже я пробыл неделю и встреч было мало. Действия эмиграции я не видел, но противодействие чувствовал. Мой близкий друг, молодой офицер и журналист М. С. Давиденко, пробыл там больше, многих видел, говорил, и вернулся в Берлин с тяжелым чувством.

— Все нас там учить стараются, на ошибки наши указывают, а в общем чуть ли не за врагов считают, за немецких наемников, изменников "русской идее" . . Черт

бы их взял! Не Россия им нужна, а их Февральское словоблудие . . . Абстрактную идею со всех сторон рассматривают, а живого человека рассмотреть не могут.

В Праге мне повезло. По роду моей командировки туда мне пришлось соприкоснуться с кружком казакийцев. Встретили любезно и пригласили даже на свое собрание. Какой-то столь же малограмотный, сколь и самоуверенный, докладчик долго и внушительно излагал замечательные сведения, почерпнутые из какой-то "старой книги, хранящейся в Ватиканской библиотеке". Очень глубокая была эта книга. Несмотря на ее древность, из нее можно было почерпнуть новейшие для многих (в том числе и для меня) сообщения об особой казакийской расе, то ли скифской, то ли германской, но от славян очень далекой и враждебной им.

Даже лампасы эта раса носила еще в глубокой древности.

Оспаривать эти ценные сведения, я, конечно, не стал.

В Белграде я прожил семь месяцев. Первые дни встречи с его русскою частью всколыхнули во мне что-то погребенное глубоко в сердце, но неизживаемое, жгучее, хотя и засыпанное толстым слоем остывшего пепла.

Русский собор и в нем — знамена былых славных российских полков. Огромная русская библиотека, в ней — книги, каких не найдешь уже в России. Отблески былой Москвы в архитектуре самого города. Русский Корпус, блещущий самоотвержением и подвигом.

Все это ласкало и, вместе с тем, бередило засохший струп незажившей глубокой раны. И больно, и сладко.

Потом в сладость влилась горечь.

Мощи не оживают, хотя они и нетленны. Музейные экспонаты повествуют о прошлом, но никогда не возрождаются в настоящем. Отрубленный палец не прирастает вновь к телу.

В Русском Корпусе попытались сделать такой эксперимент: сформировали полк, кажется, 5-ый, из навербованных в оккупированной зоне добровольцев. Вышло плохо. Я слушал жалобы с обеих сторон — и от

белградцев и от подсоветских русских. Каждая сторона была права по-своему. И те, и другие искренно и пламенно шли в борьбу за Россию.

Мне было тяжело. Отрубленный палец не прирастал и не мог прирасти. Ему мешала буква "ять".

**
*

Распроклятая буква! Раздавленная, вычеркнутая всею жизнью, она корчится, извивается, многоликая и многообразная.

В Берлине она веяла холодом недоверия, скептицизма. В Париже презирала с высоты "великого идейного наследия". В Праге кривлялась в бутафорском жупане пана Мазепы. В Белграде пугала шелестом высохших слов, истлевшими скелетами.

Проклятая буква! Она убивает живое, превращает высокий подвиг в жалкую карикатуру. В Берлине я однажды встретился со смелым, честным жертвенным русским человеком. Его звали Ларионов. Потом читал его брошюру, написанную с буквой "ять". В ней он рассказывал о совершенном им подлинном жертвенном подвиге. Лет двадцать тому назад, он, движимый глубоким чувством любви к России, с огромным риском для жизни пробрался в Петербург, ставший Ленинградом, и метнул бомбу в собрание народных учителей, писавших без буквы "ять".

Погибли несколько из них и его соратник по этому, совершенному с действительно честными намерениями, подвигу. Потом погибли тысячи расстреляных в ответ на его бомбу.

Но самое страшное было в волне возмущения, обиды, боли, прокатившейся по всей Первой России. Возмущение бесцельностью совершенного, боли от обиды, непонимания и осуждения.

Мечта метнула бомбу в себя самое рукою, писавшей букву "ять".

**
*

Проклятая буква!

Мы сидим с Александром Ивановичем, "новым" эмигрантом из шахтеров, шахтером из русских крестьян,

около ировской печки и читаем. Он теперь научился читать по-русски и жадно глотает все, что возможно. В библиотеке лагеря, кроме "Труда" и "Правды", по-русски ничего нет. Их Александр Иванович не берет.

— И так все знаю, что там Иоська напутлял!

А у меня теперь есть, что почитать. Я добываю оживающую в Европе русскую прессу и кое-что получаю из США.

Александр Иванович читает медленно, водя по строкам пальцем, порой отрывается от листа, задумывается. Мозги у него тяжкие и крепкие, как жернова, все перетирают в муку. Иногда он спрашивает объяснений незнакомых слов и записывает их на бумажку.

— Скажите мне, как эта вот буква называется? Я все позабываю...

—Буква "ять", Александр Иванович, а читается так же, как "е".

— А зачем же ее пишут? Раз другая есть?

— По привычке, Александр Иванович.

— Вот, должно быть, и тот помещик по привычке ее в книжечку писал.

— Какой помещик?

— А тот, какой все свои убытки в книжечку записывал... Я вам его показывал.

— Пожалуй, что так.

— Пишут много и хорошо пишут, — отрывается Александр Иванович от газеты, — правильно пишут, а самого основного нет, самого главного.

—А что, по-вашему, самое главное?

— Чтобы всем нам вместе быть. Как Иоська — генеральную линию взять. Он на коммуну, на колхоз, а нам напротив всем вместе.

— Пишут и об этом.

— Генеральной линии нет. Все друг на дружку восстают... А все русские, все против Иоськи.

— Это потому, что у каждого своя буква "ять" есть, Александр Иванович!

— Как это?

— А так: что запомнилось с того времени, когда в России были, то и тянут за хвост. Помещик вам про

свои березки вспоминает, другие — как они революцию делали . . . Каждый свое . . .

— А всем грош цена . . . барахло это . . . Сорганизовать надо всех на генеральную линию.

— Как же вы это сделаете на чужой земле? Сами видите, в каком мы положении.

— Иностранным державам все разъяснить надо. Ведь Иоська и их слопает, как чехов, к примеру . . . Вот это и нужно сказать, пугануть их.

— Трудно это! Пока сами не попробуют.

— Эх, был бы я грамотным!

— А кто же вам мешает? Время есть. Хотите, я вас грамматике обучу? Писать будете правильно. Вам это особенно интересно. Вот вы и теперь все стихи складываете, а без грамматики это трудно. Хотите?

— А смогу? Мозги заскорузли.

— И медведей плясать учат.

—Спасибо. Попробую . . . только вы учите без этого, как его . . . ятя . . . шут с ним!

22. В ТОЧКУ!

Получаемые и добываемые мною газеты привлекают в наш неуютный барак и русское население других, несколько более удобных блоков. Читать на-дом я даю лишь особо избранным, аккуратным в сроках возврата. Таких мало. Русские люди, как известно, не немцы, и ко времени у них отношение особое. Большинство читает здесь же, примостившись на поставленных "на попа" поленьях.

Разный народ приходит. И "старые", и "новые". Вот, например, два профессора. Они почти однолетки, около сорока каждому, оба читали гуманитарные дисциплины, хорошо по ним эрудированы, очень самоуверенны. Оба, видимо, делали удачные карьеры, оба лю-

бят цитаты — нерушимые для них базисы. Это общее.

Теперь разное. Один из Баку, армянин, надо думать, в прошлом партиец, или из группы "сочувствующих". Я назову его условно Петросяном, ходкой армянской фамилией. Фамилия другого пусть будет Барабанов, он из Сербии.

Оба они любят поговорить и поспорить, а я, грешный человек, люблю стравить их, столкнуть в узком месте. Тогда они начинают искать опоры в авторитетах. Бакинец сыплет цитатами из "основоположников" и свыше утвержденных их "продолжателей", а белградец валит, как из мешка, ссылками на имена мало, а то и совсем неизвестных его оппоненту.

Но Петросян не большевик и даже не марксист. Он прекрасно видит все ошибки, натяжку, отклонения официального подсоветского мышления. Барабанов тоже не какой-нибудь "монархический мракобес". Он "глубоко прогрессивный и просвещенный" демократ и, лишь памятуя стипендии и субсидии краля Александра Сербского, допускает монархию английского типа.

Когда один из них после спора уходит, а другой остается наедине со мною, то, если это бывал бакинец, он неизменно разводил руками:

— Полная политическая безграмотность! Абсолютное незнание основных положений!

—Ограниченность, тупость, элементарная безграмотность, — восклицает в тех же случаях Барабанов, — и вы говорите, что советская молодежь мыслит? Можно ли называть мышлением такое попугайство?

Когда уходит и этот, слушавший внимательно их спор Александр Иванович обращается ко мне.

— Расскажите мне, что это за монархия английского типа?

Я пытаюсь расшифровать попроще формулу "царствует, но не управляет". Александр Иванович молчит некоторое время. Жернова в его голове перетирают мои объяснения в муку. Потом спрашивает:

— А сколько зарплаты английскому королю дают?

— Кажется, миллион двести тысяч фунтов по цивильному листу.

— На наши деньги что это выйдет? — допытывается он.

— На червонцы перевести, пожалуй, невозможно, но в ценах царского времени — двенадцать миллионов золотых рублей, то есть около 10-11 миллионов пудов пшеницы.

— Значит, крестьянин этому дармоеду во какую гору насыпает?

— За что ж вы его так ругаете?

— А как иначе? Если он царь, так должен свою профессию выполнять. Тогда и прибавить ему можно, если высокой квалификации. Управление того стоит — ответственная работа. А такому паразиту за что?

— А это вроде буквы "ять", Александр Иванович. Не нужна, а печатают. Так и англичане короля содержат по традиции. Да и не его одного.

— Традиция, это как понимать надо?

— Привычка. В важных случаях она традицией называется.

— Иоську бы к ним на годок! Он бы эти традиции враз поломал . . .

Однажды оба мои коллеги застали меня за писанием. По старой памяти я заношу в тетрадь кое-какой репортерский материал. Знаю, что не нужен, но тоже своя личная профессиональная традиция.

— Впечатления от Рима? — осведомляется один из них. — Вы где сегодня были?

—Утром в галлерее Боргезе.

— Это записать стоит. Огромное впечатление.

— Но, представьте, не пишу о ней ни строчки. Ведь лучше Рескина, Стендаля да и многих других все равно о мастерах Возрождения мне не написать . . .

— Нет, для себя.

— Тоже не стоит. Есть интереснее. Там, где я был после обеда.

Оба профессора настораживаются, а во мне уже играют веселые, озорные чертенята.

— Где же вы были?

— В публичном доме.

— Шутите!

— Ничуть. Один наш парнишка подгулял... Ну, человек он молодой, к тому же по-итальянски не говорит. Я и взялся быть его гидом.

— Оригинальничаете.

—Ничуть. Это тоже метод. Не помню, кто из умных людей советовал определять культурность семьи не по парадной гостиной, а по состоянию уборной. Вот и я через щелочку в это самое место Италии посмотрел...

— Обогатились впечатлениями, — иронизирует Барабанов.

— Уродство капиталистического общества, — отмечает Петросян.

— И то и другое верно, — соглашаюсь я, — только, пожалуй, дело не в капитализме, а в духе века: он показателен.

— И написать об этом думаете?

— Если вообще приведет Господь писать — напишу.

— Ну, знаете ли, читать вряд-ли будут с интересом.

— Отчего? Написал же Амфитеатров "Марью Лусьеву", а Куприн "Яму"? Как еще читали! Да и Толстой Катюшу Маслову с большим знанием обстановки вырисовал.

— То — дело иное. То Россия. А Италию я предпочитаю изучать по ее бессмертным творениям, — безапелляционно восклицает Барабанов, — Рафаэль.... Верди... Миланский Собор — вот ее критерий.

—Дело ваше. Но вы хоть одного молящегося перед "Преображением" видели? Слыхали когда-нибудь, чтобы три не певца-профессионала, а рядовых итальянца пели прилично, хотя бы как у нас полтавские дивчата поют? А Миланский Собор, к вашему сведению, немцы-архитекторы строили. Вот вам и бессмертные образцы итальянской культуры.

Убедить в чем-либо своих коллег я не надеюсь, да и не стремлюсь. Каждый человек имеет право донашивать подштанники своего дедушки. Марксистские или "прогрессивные" — не все ли равно? Придет время, истлеют до отказа и сами свалятся. Впрочем, к этому вре-

мени, вероятно, накопится новое старье от новых дедушек.

Мои размышления неожиданно прерваны восклицанием Александра Ивановича. Он не слушал наших разговоров, а углубленно читал какую-то газету из принесенной мною, полученной в Русском Собрании пачки. Ее заголовок мне незнаком.

— В точку, — увесисто произносит Александр Иванович, — в самый центр попал. Что надо!

Я смотрю через его плечо. Заголовок газеты "Наша Страна", новый для меня. Александр Иванович читает вкладыш: "Обращение к здравому смыслу делового мира" . . .

Я пробегаю глазами по первым строчкам и читаю дальше, не отрываясь.

— Очевидно, не все еще ходят в дедушкиных подштанниках. Кое-кто примеряет и новые. Кто же автор и кто издатель этой газеты?

23. ОЧЕНЬ ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

В Риме, в главном управлении ИРО, несколько больше пятисот чиновников. Не меньше их и в разбросанных по всей Италии лагерях. А ди-пи к 1950 году осталось меньше трех тысяч. Двадцать тысяч евреев, комфортабельно отдохнувших от тяжелых переходов по маршбефелям Гитлера, а позже по сталинским путевкам для космополитов, отбыли в Палестину. Опустели тенистые сады Барлетто и бархатный пляж Сенегалии. Потом Австралия решила срочно проводить дорогу по какой-то безводной пустыне, откуда убежали все папуасы. Приехала соответствующая комиссия и занялась учетом зубного наличия у ди-пи. Но письменных доказательств того, что данный обладатель всего зубного наличия находился 3-го января 1938-го года в городе

Иксе, на улице Игрека, в квартире Зета, она не требовала. Степенью его личной дружбы с Гиммлером она тоже не интересовалась. Поэтому все, ожидавшие по 2-3 года отправок в более водопроводные страны, уехали в освобожденную от папуасов пустыню.

Несчастные чиновники ИРО совсем голову потеряли. Что делать? Кого опекать? На одного чиновника и двух с четвертью ди-пи не приходится!

Выручил социалистический метод планирования. Прекрасный метод. Сначала распределили всю дипиевскую наличность по классам: на стариков, инвалидов, туберкулезников, кишечников и т. д. Развели всех по соответствующим лагерям. Потом стали по той же системе землеустраивать, например, стариков из альпийской Грульяски под солнце Салерно, а инвалидов из Салерно в Грульяску . . . Примерили, и снова: теперь стариков в Грульяску, а инвалидов в Салерно. Потом стариков перечислили в инвалиды, туберкулезников — в кишечники, инвалидов переосвидетельствовали и разом всех снова переземлеустроили . . . Работы хватало!

Именно этой высокой трудоспособности ировских чиновников я обязан тем, что объездил всю прекрасную Италию от снежных гор Грульяски (Пьемонт) до палящего Марино (Калабрия), от Анконы (Адриатика) до Баньоли (Неаполитанский залив). За это время я побывал и стариком, и инвалидом, и туберкулезником, и даже беспризорной сиротой, жертвой войны. Повидал знаменитую пещеру близ Баньоли, где уже три тысячи лет дохнут от серных паров собаки, и само Баньоли, где последние пять лет столь же интенсивно дохнут ди-пи, черт их знает от чего; смог вволю посокрушаться о бренности мира в Помпеях близ Пагани и возродиться к жизни в Вилла Альба, бывшем сумасшедшем доме, сохранившем все свои славные традиции . . . спасибо ировским чиновникам!

И удивительно: при всех этих переселениях я не только ничего не терял, но даже обрастал имуществом. То в Иези жена по ошибке стул захватит, то в Чине-Читта какой-то шкафчик пристанет . . . Теперь у меня обста-

новка, о какой я не смел мечтать в СССР, — на отдельном грузовике землеустраивались . . .

Вот, с работенкой хуже. Итальянцы нас, профугов, на работу не берут, согласно их демократическим законам. Ну, если без денег, только за харчи, тогда еще можно поработать у какого-нибудь крестьянина, даже и не марая собой его светлых демократических риз.

В Иези, например, я ухаживал за пятью коровами, тремя телками и четырьмя телятами падроне Беппо и получал за это полную миску пасташуты (макарон) с томатом. Полную миску!

Иези — близ Анконы. Здешнего крестьянина не сравнить с беспорточным южанином. По вечерам мимо нашего кампо беспрерывно валят толпы велосипедистов. Это молодежь с ферм катит в город, в кино. Хозяева же проносятся на мотоциклах с женами и младенцами в прицепных корзинах. В маленьком городишке Иези — конторы всех банков Италии. Иези — центр шелководства и один из центров итальянского коммунизма.

Наш лагерь размещен в железных "бочках" — бывших военных складах союзников. "Бочки" стоят в бывшем парке прогоревшего в дым конте Ансельми. Если верить гербам на бывшем кастелло его предков, то они были участниками крестовых походов. Сам конте — чиновник ИРО, а бывший кастелло охраняет итальянское подобие чеховского Фирса. Подобие разрешает нам с сыном собирать шишки пинтий около кастелло. Это очень приятно, т. к. зимой в железных складских "бочках" очень холодно.

Мой падроне Беппо — арендатор одной из последних оставшихся еще у конте ферм. Он, конечно, коммунист. Здесь все фермеры — коммунисты. Распроклятый Муссолини послал его сына воевать против великого Сталина. Сын тотчас же благополучно попал в плен, вполне благополучно, т. к. оказался в числе трех процентов итальянцев, выживших в этом плену. Теперь ждут его возвращения.

По вечерам, когда навоз вычищен, коровы подоены, молоко пропущено через сепаратор, задан корм и проглочена моя пасташутная зарплата, я присаживаюсь

рядом с падроне на ступеньке его трехэтажного дома. В первом этаже— коровы, куры, ослик, лошадь и прочая зоология. Второй этаж — ботанический, в нем кладовые для зерна, фруктов, овощей. На третьем — сам падроне с семейством. Надворных построек нет. Таков древний обычай. Династия Беппо арендует землю у династии конте Ансельми лет уже полтораста. Может и больше.

— Скоро приедет мой сын, — сообщает падроне, — сколько интересного расскажет он мне о вашей дивной стране, — почему вы мне так мало о ней говорите?

— Потому, что вы не верите, падроне.

— Как я могу верить таким глупостям!... Вы говорите, например, что каждый контадино (крестьянин) Республики Советов был бы счастлив арендовать такую ферму, как моя. Какая нелепость, я плачу графу сорок процентов со всего, что рождает земля, почти половину, а у советского контадино своя собственная земля и он ничего не платит...

— Но с коров, молока, сыра, кур, яиц, шелковичных коконов, что вы платите?

— Конечно, ни сольди. Ведь земля родит только пшеницу. Я сею ее два гектара. Теперь так велит закон. Раньше сеял меньше.

— Признайтесь, падроне, в беседе с Апостолом Петром у райских дверей, вы назовете иную цифру урожая, чем в отчете графу?

— Это мое личное дело, да и вообще все эти сказки о рае чушь. Я не калабрийский осел, чтобы быть папистом. Есть только один рай — ваша родина.

— Кстати, насчет налогов на землю. Кто их платит?

— Конечно, граф. Земля его, а не моя. И платить за удобрения обязан тоже он, это в его интересах. Кто же возьмет истощенную землю, если я от нее откажусь? Ремонт строений — тоже...

— Прекрасно, теперь мне понятно, почему вы здесь, а граф — чиновник в Риме...

—Или вы начнете меня уверять, что не ели на своей родине такой пасташуты как я вам даю...

— Да, такой пасты, какую готовит сеньора Анжелина, с томатом, пармезаном, мясной крошонкой, густо политой поджаренными с каперсами олио, я не мог позволить себе там, даже работая на четырех службах по четырнадцать часов в день . . . тем более такой большой миски . . .

— Ну, стоит ли вас слушать? Такую пасту ест каждый нищий по праздникам, а праздников у нас достаточно. Вот, когда коммунисты отдадут землю графа мне, приходите тогда ко мне и я вас угощу . . .

—Я не пойду тогда к вам в Сибирь, падроне. Это будет слишком далеко.

—Ну разве вы не сумасшедший? Моя ферма, мои коровы в Италии, а вы толкуете мне про Сибирь? Ради какого дьявола я туда поеду?

— Именно потому, что у вас есть пять этих светлосерых коров, вас повезут туда, падроне, как повезли уже таких, как вы, из Венгрии, Болгарии, Румынии . . .

— Меня, честного труженика?

—Вас — честного торговца прекрасным пармезаном на базаре в Иези, вас — "кулака". Помните это слово, одинаковое по-русски и по-итальянски, о значении которого вы меня спрашивали.

— Это — враги народа! Я — не враг!

— Послушаем, что скажут тогда Сталин и Тольятти!

— Они — мудрейшие из мудрых, а вы — безумец и враль!

Когда подошло Рождество, падроне Беппо решил его не праздновать, но сеньора Анжелина была иного мнения, и на кухне шла ожесточенная стряпня, а так как почтенная матрона владела шваброй не хуже, чем управлялись с мечем ее предки, легионеры Цезаря, то падроне решил ограничиться лишь нейтральной формулой:

— Ничего этого не понадобится.

Однако, понадобилось.

Ранним рождественским утром, когда сеньор Беппо и его супруга еще возлежали на непомерной кровати своих отдаленных прародителей, петухи распра-

вляли крылья, а я поил светлосерых красавиц, во двор вошел удивительно знакомый мне незнакомец.

Несомненно, я никогда раньше его не видел, но все в нем и на нем было мне знакомо: кепка с полуоторванным козырьком, прожженные полы остатков русской шинели, опорки и обмотки на ногах, а. главное, какая-то настороженность, опасливость его походки, взглядов..., он, словно, боялся того, что враг стоит за каждым углом.

— Вы, наконец, приехали, — невольно по-русски крикнул я, — вас давно уже ждут! Бегите наверх!

Незнакомец остановился, как вкопанный, и на его лице отразился сложный, очень сложный комплекс чувств. В нем были и страх, и удивление, и улыбка, и судорога, и даже, как это ни странно, что-то вроде радости.

— Зачем ты сюда... — с трудом подбирал он русские слова, — ходить?

Но из верхнего окна уже неслись фиоритуры контральто сеньоры Анжелины, и незнакомец стремительно ринулся в родной дом.

Заготовленное к Рождеству пригодилось. Папа Беппо до полудня раз шесть спускался в подвал и выходил оттуда, нагруженный огромными кувшинами из заветной бочки душистого фраскатти.

В полдень сияющий падроне позвал меня.

— Амико руссо, подымайтесь к нам пообедать! — Такое приглашение я получил впервые. Это было вне нашего демократического трудового договора.

На столе красовались все шедевры итальянской кухни: жареные с каштанами цесарки, румяные пиццы с солеными сардинами, заливное из мелких осьминогов, горы мидий и креветок... не перечесть! Кувшины с вином отливали рубинами и янтарем.

Выбритый и одетый в изящный хотя и смятый костюм, незнакомец, улыбаясь протянул мне руку.

— Пожалуйста... здравствуйте... — с запинкой выговаривал он по-русски, потом перешел на итальянский. — вы убежали от коммунистов. Не говорите — почему, я знаю, я видел... — по его лицу пробежала

тень ужаса, а за ней следом расцвела улыбка. Снова по-русски: — русский пополо — карашо, очень карашо, коммунист . . . — несколько крепких русских слов, певуче, как аккорд гитары, прозвучали в устах итальянца. И снова по-итальянски: — Русский, итальянский коммунист — безразлично. Все одинаковы. Мы, военнопленные, били их агитаторов по всему пути от границы: в Удине — двух, в Болонье — трех, в Анконе — одного, но очень крепко . . .

В то время, как я, напробовавшись итальянских шедевров сверх меры и возможности, снабжал устриц и осьминогов родной им стихией в девятом вале фраскатти, папа Беппо, улучив минутку, шепнул мне:

—Не говорите сыну, что я был коммунистом. То, что вы мне говорили, правда! Я знаю теперь — Тольятти — лгун, бестия, порка маяле, маскальцоне . . . — и, вдруг, вслед за потоком итальянских ругательств, снова, на этот раз из уст папы Беппо, раздался тот же певучий аккорд гитары . . .

Кто научил его этому? Вернувшийся из плена сын? Или я сам невзначай? Ухо итальянца очень восприимчиво к звукам . . . Но свой рождественский подарок, от раздающей их в Италии феи Бефаны, я получил.

24. ТАГАНРОГ И ВЕЗУВИЙ

Облезлый вагон трамвая протискивается по узенькой уличке. Эта уличка тянется между густых апельсиновых рощ от Помпей к Пагани, Ночеро. Кава и дальше до самого моря, к сверкающей лазурью бухте Салерно. Улица извилиста и так узка, что встречные авто не везде могут на ней разминуться, а при встрече их пешеходы прижимаются к стенкам.

Немудрено, что трам не идет, а ползет. Иногда ему и останавливаться приходится, упершись в заупрямив-

шегося ослика с грузом помидоров или извозчика, спорящего с пассажиром. Пролетки извозчиков покрыты пестрыми полотнищами, лошади густо разукрашены лентами и султанами. Движутся они тоже медленно, но крики погонщиков и хлопанье бичей не смолкает.

Медлительность здесь никого не нервирует. Юг Италии не торопится жить. Это видно и по его обычаям. Современность здесь не обязательна.

Кондуктор, такой же облезлый, как его вагон, не звонит, а трубит в рог времен дилижансов и карбонариев. Встретив знакомого, он останавливает трам и беседует с ним минут пять. Пассажиры тоже принимают участие в беседе. Протестов не слышно.

Я еду из нашего лагеря Пагани в Помпеи. Расстояние всего шесть километров, но знаю, что будем в пути не менее сорока минут. Едва отъехали — стоп! Навстречу свадебный поезд. Авто молодых засыпано травой, листьями, клочками газетной бумаги . . . Прежде чету новобрачных забрасывали цветами и конфетти, теперь эта роскошь не по карману, но обычай еще жив, — кидают все, что попадется под руку, выкрикивают поздравления, пожелания, далеко не всегда скромные. Это юг. Солнце, лень и беспечность.

Двинулись и тотчас снова стали. Поперек улицы — тележка, запряженная осликом, а на ней древний, разбитый оркестрион. Сохранившийся от минувшего века явный карбонарий крутит ручку допотопного инструмента, а около него две старухи отшлепывают деревянными сандалиями лихую тарантеллу, звонко подщелкивая пальцами. Вокруг них кружок хлопающих в ладоши зрителей.

Тарантеллу я увидел только здесь, на юге. Ни в Венеции, ни в Анконе, ни в Риме ее больше не пляшут, а здесь этот танец еще помнят старухи и его огненный, залихватский мотив еще слышится из дребезжащего облезлого оркестриона.

Двинулись. Проезжаем мимо древних стен замка Ангри и торчащего перед ними цоколя памятника. Стоявший на цоколе "неизвестный солдат" низвержен публикой.

— В чем же он-то, бедняга, провинился? — спрашиваю я соседа. — Ведь его еще в Первую войну убили.

— Его поставил Муссолини. Это вопрос большой политики, синьор! Но вам, иностранцу, я скажу по секрету: Муссолини был совсем не плох. Макароны стоили при нем лиру, а теперь сто . . .

Проехали Ангри и снова остановка. На этот раз самому кондуктору нужно принять поручение от нищего. Нищий лежит на очень приличной кровати в воротах его собственного двухэтажного дома. Он покрыт голубым шелковым одеялом. Но он нищий, безногий инвалид, которого сын возит в тележке по всем окрестным ярмаркам, а по воскресениям на площадь к воротам Помпей. Здесь инвалид читает газету, а сын рисует на троттуаре цветными мелками Мадонну, всегда одну и ту же, с затрепанной открытки. На его произведение бросают лиры и окурки. Иногда и плюют мимоходом. Это юг.

Наконец, доехали. Вот и площадь с колокольней, на которой золотые ангелы, надув щеки, беззвучно трубят в длиннейшие трубы. Пыль и пустота. В будни мало кто приезжает в Помпеи, но торговки все-же сидят у своих ларьков с утра до ночи. На латках украшенные раковинами коробочки, разрисованные куски лавы, коралловые бусы и прочая дрянь. Большая дрянь, грубая, аляповатая, бесвкусная. Кто покупает ее, я не знаю. Ни разу не видел ни одной торговой сделки, но торговки сидят всегда, с утра и до позднего вечера.

По воскресениям здесь оживление. К воротам законсервированного уголка умерших веков подкатывают элегантные авто из Сорренто и Амальфи. В них — важные туристы с карманами, а в карманах — доллары. Поэтому можно даже накрыть скатертями столики облепивших площадь кафе и остерий.

В эти дни на углах площади поют оборванные гитаристы, а против самих ворот разгуливают ворон и сорока. Они тоже обслуживают приезжающих: мудрый ворон вытягивает напечатанные на трех языках билетики, предопределяющие жизненные пути блондинов, родившихся в апреле, а сорока бойко выбирает из корзин-

ки сувениры, "porta fortuna". Позади их хозяина сидит привязанный на веревочку старый общипанный орел. Он ничего не делает, и непонятно, зачем хозяин привозит его. Может быть, как живое напоминание о веках минувшей испепеленной славы?

Орел круглыми немигающими глазами смотрит на двух мальчишек, очевидно, братьев, копошащихся в луже около водопроводной колонки. Старший, лет шести, деловито намазывает грязью физиономию младшего и столь же деловито осведомляется:

— Ti piace? Ti piace? — Тебе нравится?

Младшему эта операция, очевидно, "piace" вполне по вкусу. Протестов он не высказывает, но покорно подставляет щеки.

Войдя в ворота, я разом прыгаю через два тысячелетия и погружаюсь в мудрую тишину могилы. Я часто бываю здесь по будням. Захвачу свои тетрадки, сяду в излюбленном уголке в доме какого-то Клавдия Луция, к счастью его, давно испепеленного, и пишу свою "Неугасимую Лампаду", горевшую в иной могиле — на Соловках. Тихо. Редко-редко донесется трескучий речетатив гида, выкрикивающего свои затверженные годами объяснения.

Я прохожу мимо заросшего зеленью амфитеатра и догоняю девушку. Ей лет двадцать, а ее спутник постарше.

— Русская речь . . . — прислушиваюсь я.

Но это не наши ировские русские, — живущие здесь уже года, "итальянцы". Девушка прочитывает вслух объяснительные таблички и произносит итальянское "с", как русское "ц" — "цлаудио", "цаза" . . .

— А! Вероятно, это "немцы" из баварских лагерей, которых везут теперь в Австралию через Неаполь. Их много в Баньоли, но они так напуганы "чистками" перед посадкой на пароход, что боятся даже говорить с нами, русскими "итальянцами". Основание к этому есть: закамуфлированные среди нас "засланные" не дремлют, а большинство прибывающих русских "немцев" записаны балтийцами, литовцами и Бог еще знает кем. Врата в заокеанский рай очень узки для русских.

Поэтому мне лучше самому стилизоваться под итальянца, если я хочу их послушать. Это легко. Я вынимаю из кармана итальянскую газету и, углубившись в нее, иду почти рядом с парой.

—Смотри, стадион-то какой большой! Не меньше, чем у нас в Харькове, — говорит девушка.

— Да, строили хорошо, — отвечает ее спутник, — а у нас в Таганроге трибуны деревянные были! Их на дрова при немцах растащили.

Мы переходим на улицу таверн. Она хорошо сохранилась. Огромные котлы прочно сидят и теперь в печах почти каждого дома. Около них такие же большие сковороды, противни . . . На стенах — огромные черпательные ложки.

— Вот это были у них рационы! Ого! Не меньше как по литру. Не ировские, а тем более не советские!

— А очереди здесь, как думаешь, стояли?

— Что ты! Смотри, вся улица столовками занята, а городок совсем небольшой . . . районный, надо полагать.

Мы идем дальше и попадаем на форум. Он тоже хорошо сохранился. Стройная белая колоннада задумчиво обрамляет устланную полированным мрамором площадь, на которой высится грандиозная, украшенная горельефами трибуна. Спутник девушки не выдерживает.

— Эх, как жили, черт их возьми! — почти кричит он. — Как жили! Трибуна-то какая! Красота! Не из фанеры некрашенной . . . Да с такой трибуны немой заговорит!

Девушка вдруг разражается неудержимым смехом.

— Ты что? С чего ты?

— Так . . . Вспомнилось. На завод, где отец работал, секретарь горкома приехал, когда война началась . . . конечно, собрание . . . и я пришла. А трибуну . . . — давится девушка смехом, — трибуну второпях выволокли перед управление и не проверили . . . Он стал говорить за войну . . . — снова неудержимая спазма смеха. — только начал: “Сестры и братья”, да и провалился . . . одна голова торчит . . . а он: “вредители, черт вас подери! . . .” Вот как получилось . . .

— В точности так и вышло. Мы на нашем рыбоконсервном провода от мин порезали, когда немцы подходили. Сам комсорг указал и с нами остался . . . Свой парень был, хоть и партийный. “Красного Азовца” взорвало, а мы работали на полный ход.

Дальше итти за ними уже неудобно, заметят, испугаются. Я отстаю, но часа через два снова перехватываю их у дверей музея и с ними вместе вхожу.

Полюбовались керамикой. Бегло взглянули на коллекцию монет, прошли и замерли перед “человеком с амфорой”.

— Смотри, смотри, ведь улыбается!

— Мумия это, что-ли? Бальзамированный?

— Нет. Ведь их засыпало разом . . . кто как был. А потом высохли сами в пепле.

— Так и накрыло . . . пил вино и смеялся. Может, песню пел.

— А мы в Дрездене после бомбежки мертвяков собирали и откапывали, — говорит девушка. — ух, страшно было! Страшней самих бомб. Взглянешь в лицо, а оно все перекошенное! . . . Я уж не смотрела. Зажмурюсь и тяну за ноги . . .

— Это что, — отвечает ей спутник, — ты бы с нами побыла, когда мы подходы к Таганрогу очищали при немцах. Сталин там за зиму двадцать дивизий положил. Густыми цепями по степи штурмовал, а немцам хоть бы что! Садят из прикрытий и с воздуха, всех начисто сносит. К весне горы мертвяков навалили, метров по восемь валы. Не вру. Точно.

— Один на одном лежали? — спрашивает девушка. И ее глаза полны пережитого страха.

— Какой там! В кашу. Они мерзлые, а не разберешь, что к чему . . . У одного ноги из шеи растут, а у другого — голова в животе . . . Как пауки или чуда морские . . . эти не смеялись.

Да. Эти не смеялись, — думаю я, вспоминая вихрь ужаса, потрясший подвал дома в Белграде, когда у входа в него грохнула бомба.

— Везувий-то, он . . . хотя и вулкан . . . стихийная

сила природы, а, оказывается, был погуманнее нашего брата . . . человека.

— Я немку видела, она по улице бежала, а сама горела. Вся горела . . . — прижимается девушка к своему спутнику. — Знаешь, что, — тихо говорит она, — вот мы с тобой, да и все наши все будущего ждали . . . вот-вот, завтра, послезавтра лучезарная жизнь начнется. Вот-вот . . . тем и жили, вся наша комса. А об них думали, — кивает она головой на улыбающийся высохший труп, — темнота, угнетение, рабство . . . А я вот сейчас хотела бы и жить с ними и . . . умереть, как он. Без муки, без страха . . .

25. ЯРМАРКА В НОЧЕРО

Теология южной Италии особая, не записанная ни в одной из мудрых богословских книг. По ее неписанным канонам Санта Мария ди Пагани не имеет ничего общего с Санта Марией ди Ночеро, а покоящийся в соборе Пагани Св. Альфонсо даже несколько враждебен Св. Джеронимо, пребывающему в древней романской церкви Ночеро, в одном километре от него. Во всяком случае он держится настороже и готов всегда защитить своих подопечных от прихожан соседа.

Паганцы — крестьяне, садоводы и огородники. Соседнее Ночеро — центр скупки и перепродажи апельсинов, лимонов и фиг со всей округи. Св. Джеронимо, конечно, печется об интересах торговцев Ночеро и, если бы Св. Альфонсо не стоял бы на страже садов Пагани, то пришлось бы совсем за бесценок отдавать не только лимоны, но и оливы . . .

И Пагани, и Ночеро чествуют память своих патронов торжественными праздниками и трехдневными ярмарками. Но тут преимущества Ночеро неоспоримы. В Ночеро — постоянный базар и, следовательно, его праз-

дник и ярмарка раз в пять больше и раз в десять шумнее, чем чествование Св. Альфонсо в маленьком Пагани.

Утром первого дня, ко времени окончания мессы на ступеньках широкой лестницы, ведущей к древнему храму, уже выстроился приглашенный из Неаполя духовой оркестр человек в шестьдесят. Вот в темных стрельчатых дверях собора показалась статуя Святого. Ее несут на плечах подеста и почетнейшие члены муниципио. Это большая честь, и ее получают лишь достойнейшие. Статуя вынесена на паперть и . . .

. . . кларнеты оркестра грянули марш из "Аиды"!

Под его бравурные рулады и фанфары Святой медленно спускается по лестнице и начинает обход бесконечных улиц и закоулков ярмарки. Впереди оркестр, беспрерывно гремящий маршами, вальсами, увертюрами. За оркестром — статуя Святого. За ней клир собора в облачениях; дальше ряды священников без облачений, но с помпонами на шапочках, потом священники без помпонов, монахи различных орденов, коричневые, белые, черные . . . Потом братства со своими знаменами. За ними группы детей, одетых то ангелами, то невестами с фатой и шлейфом. У всех цветы. Наконец, процессия граждан и блистающие наполеоновскими треуголками карабинеры, набранные де Гаспери, веселые, крепкие и вежливые ребята.

Через каждые пять шагов статуя Святого останавливается. Поднятая на руках девочка, реже мальчик, прикалывает к одежде Св. Джеронима кредитку в 100 лир, изредка в 500, иногда в 5.000. К полудню несколько наслоений банкнот покрывают сплошь всю фигуру Святого.

***

Что это? Уже началась война? Впереди рвутся авиобомбы, с боков идет обстрел пачками.

Не пугайтесь. Это итальянский фейерверк. Он отличен от всех прочих тем, что не дает никакого зрительного эффекта ни днем, ни ночью. Его цель — лишь производить шум. Возможно больше шума.

Производить шум — стремление всей Италии в целом и каждого итальянца, а особенно итальянки, в отдельности. Моя соседка по лагерному углу, итальянка, вышедшая замуж за русского ди-пи, с момента своего пробуждения во весь свой мощный голос рассказывает что-то мужу, когда муж уходит на работу, она становится в дверях, ловит проходящих и рассказывает тоже самое им, если идет дождь и прохожих нет — просит у меня обрывок старой газеты и читает его самой себе вслух, если же и газеты нет, она принимается греметь двумя имеющимися у нее ировскими мисками . . . Тишина приводит ее в ужас.

Казаки ген. Доманова, очищая в 1944 г. районы Изонцо и Толмеццо от итальянских коммунистических банд, выработали такую тактику: обнаружив скопище или базу банды, они не атаковывали ее, а залегали в одном-двух километрах и молчали. Не проходило и часа, как итальянцы открывали сильнейший и столь же беспорядочный, безопасный для казаков огонь; потом начинали метать еще менее опасные для них гранаты и нашумевшись вдоволь, убегали или сдавались без единого выстрела с казачьей стороны.

В 1946 г., когда происходил плебисцит, решавший "республика или король", юг — Неаполь, Салерно голосовали за короля, а север — Милан, Болонья — за республику.

По городам юга двигались религиозные процессии со статуями святых. По городам севера — коммунистические демонстрации с портретами Сталина и Тольятти. И на тех и на других было одинаково шумно и весело.

***

Ярмарка в разгаре. Я . . . но позвольте вам представиться, читатель. На этой ярмарке я не журналист, не наблюдатель со стороны, не бесправный ди-пи лагеря высокогуманного ИРО, не кусок товара в лавочке работорговца, но полноправный и полноценный атом этого переливающегося всеми цветами радуги и ревущего на все голоса организма.

Я производитель пестрых кукол, задорных полишинелей, богато разукрашенных слонов и прочих соблазнов, от лицезрения которых скуповатые мамаши яростно оттягивают своих упирающихся и ревущих потомков. Я — торговец ими и в силу этого полноправный сочлен базара, подчиненный лишь его писанной и неписанной конституции. Я не плачу налога и поэтому не имею права стоять на одном месте. Находясь же в вечном движения я абсолютно свободен и полноправен.

К чести итальянцев, сохранивших в своем вырожденчестве какие-то крохи великой ушедшей культуры, я должен сказать:

—За четыре с половиной года моей торговли куклами во многих городах и поселках Италии, я ни разу не был обруган, осмеян или ущемлен в своих правах. Никто никогда не подшутил над моим очень скверным в первые годы итальянским языком, наоборот, собирались группами и напряженно расшифровывали мою дикую смесь французских и латинских слов, помогали мне, указывая лучшие места и дни торговли.

Итак, я двигаюсь с потоком и дико ору:

Bambuletti, pulcinelli!
Carini, belli, belli, belli!

Не орать, значит не продать. Шум — жизнь Италии. Но для торговли одного шума мало. Вон, одетый индусом торговец противоядиями размахивает связкой самых настоящих змей, и кругом него уже толпа. Мои куклы тоже не ударят в грязь лицом и начинают танцевать фокстрот под раскаты моего привычного к большим аудиториям, хотя и мало музыкального баритона. Но некоторые диссонансы — не беда. Их уже покрывают подпевающие мне галстучник и торговец перцем. Куклы, тоже не одиноки: перед ними танцуют, подобрав подолы, две подлинные мегеры, сорвавшиеся с картины Гойя . . . Пританцовываю с ними и я сам.

Вот и покупатель, но галстучник дергает меня за полу и быстро шепчет на ухо:

—Запроси с него втрое и ни одного сольди не сбавляй. Мы все так делаем. Это коммунист, и Баффоне ему много присылает.

Баффоне значит усач. Это старинное название хвастуна-капитана в театре итальянской площади. Теперь оно крепко приклеилось к Сталину.

Метод борьбы с коммунистами, выработанный в Ночеро, быть может, не вполне демократичен, но зато вполне радикален. Коммунисты возвращаются с базара, ничего не купив, под смех всех соседей, и тут же, на всегда набитом публикой дворе густо населенного дома, получают от жен пламенную отповедь. Достается и Баффоне. Многие не выдерживают этой внутрисемейной оппозиции и выходят из партии.

Коммунист, конечно, не покупает внезапно подорожавшей куклы, но моя торговля под пение и танец мегер идет бойко. Корзинка с товаром уже пуста, а передо мной стоит мой двенадцатилетний сын.

У него изумительное дипломатическое чутье. Он отыскивает меня на базаре как раз в тот момент, когда в кармане сбит в беспорядочный комок результат дневной торговли, а закупки по списку мамы еще не вступили в период реализации. В эту промежуточную минуту всего легче тянуть меня за рукав туда, где вздымаются качели, щелкают выстрелы в тире, а торговцы розовыми вафлями, печеными каштанами и вязкой, как смола, нугой кричат на все голоса только одно слово:

— Favorite — пожалуйста!

Здесь совсем так же, как бывало и на вычеркнутых теперь из русской жизни Поддевичьем, Вербе и — попроще — на уездных ярмарках. Так же, изогнув крутые шеи, бешено кружатся сказочные кони каруселей, вздымаются лодочки качелей, вместо деда-раешника набеленный паяц, неистово колотя в барабан, зазывает публику в балаган взглянуть на такого же, как и на Поддевичьем, неимоверного толстяка, перманентно пребывающего в возрасте 14-ти лет. Те же тещины языки, свистульки, шарики на резинке, разноцветные воздушные шары . . . Только выдумки, смекалки меньше: нет ни тароватого на все руки костромича, ни бойкого на соленую прибаутку ярославца.

Мой сын, как и каждый здоровый мальчик его возраста, охвачен жаждой соперничества, установления

своего превосходства, утверждения своего ego. Но, кроме реальных соперников здесь в Италии, у него есть и живущий в его представлении. Это мальчик, оставшийся там, на покинутой родине, доставлявший ему там не мало горьких минут. Теперь он сводит с ним счеты.

—Скажи, — спрашивает он, — а там, откуда мы уехали, идут ковбойские фильмы с Гарри Купером? А Тарзан? Нет? Даже и директорские мальчики их не видят? А "Тополино" (прекрасный детский журнал) там продается? А марки они собирают? А вот такие карусели и качели там есть?

— Успокойся, мой мальчик, ты отмщен. У директорского Владика, дразнившего тебя голодного бутербродом с маслом и колбасой в институтском детсаду, нет ни твоих ярких марок из Гонолулу и Сингапура, ни забавного "Тополино", ни каруселей... Но не злорадствуй, а пожалей его и всех мальчиков "там". Все эти крохи детских радостей у них отняты, и ты, нищий, бездомный ди-пи все-таки богаче их!

Сын безнадежно застревает около индийского факира, т. е. здоровенного неаполитанца, корчащегося на доске с гвоздями и загоняющего в рот тупые шпаги. А я спешу послушать концерт пополнившегося теперь струнными инструментами, действительно хорошего оркестра, и яростно прорываюсь сквозь густое человеческое месиво.

Господи, что это! Фигура необыкновенная даже на итальянской ярмарке! На голове ее высятся 10-12 надетых друг на друга шляп. Широкие складки женского капота ниспадают с плеч до пят. На левой руке одним рукавом надето 5-6 женских платьев и они при каждом движении взлетают и искрятся, как крыло херувима. Но за правым плечом — крыло темного демона — 4-5 мужских пиджаков. У ног этого существа два открытых чемодана со всяким барахлом, а само оно — мой большой приятель, потомственный раскулаченный Семен Петрович, крестьянин Курской губернии, ныне проживающий в соседнем большом лагере Баньоли. Дед и отец Семена Петровича погибли в Колыме, сам он бежал и после всех соответствующих, ставших теперь

бытом, приключений, попал в южно-итальянские лагеря ИРО. Эти лагеря в стране Петрарки особенные даже в системе этого высокогуманного и разумного учреждения. В то время, как в Германии и Австрии ИРО и союзное командование не только заполняет ди-пи все работы в лагерях, но и продвигает их в немецкие учреждения, в Италии все командные и доходные должности лагерной администрации заполнены итальянцами, низшие—сербами, частная служба ди-пи запрещена. Итальянцы обходятся ИРО в 5-6 раз*) дороже и во столько же раз больше воруют. Кроме того ими создан в лагерях невыносимый полицейский режим.

На ировском пайке не прожить, и Семен Петрович за гроши, четверть нормальной платы, нанялся к соседнему крестьянину. Но по правилам ИРО получать еду можно только лично и новый батрак лишился пайка. Пришлось бросить работу "по специальности". Стал печь "суфли" — итальянские оладьи с сыром, но оказалось, что из лагеря можно выходить только в 8.30 ч., а базар и лучшая торговля с 5-ти. Сербская лагерная полиция обобрала взятками за ранний выход. Пришлось бросить и это.

Но из Германии в Баньоли стали прибывать большие партии ди-пи, эмигрирующих за океан. Для них учрежден особо каторжный режим — без права выхода из лагеря. А там, за проволокой — горы давно невиданных радостей: пирамиды апельсинов, яблок, груш, вино по 100 лир (меньше 1 пезо) за литр . . . и пошла меновая, невероятная по хищничеству торговля. Ненадеванная рубашка — за литр вина, новая шляпа — за три кило апельсинов . . . Львиная доля, конечно, шла той же сербской полиции за пропуск барахла из лагеря. Особенно наживались чехи. Торговый народ! Но и Семен Петрович занялся тем же и вот распродает свой товар на ярмарке. Очень дешево — берут охотно. Но покривляться,

---

*) Врач из ди-пи получает 15.000 лир, а подчиненная ему безграмотная сестра-итальянка — 60.000 лир на всем готовом.

почудить перед итальянцами необходимо. Отсюда и его фантастический наряд.

Меня окликают. Это профессор из Харькова. У него европейское имя.

— Не нужны ли вам женские туфли? Очень дешево...

— Спасибо, но я не покупатель. Ищите итальянца.

— Да, видите ли, вот здесь незначительный дефект, поцарапано. Уж я и чернилами закрасил, и пальцем зажимаю... Увидят и бракуют...

Я уже близок к оркестру. Его мощные звуки несутся мне навстречу. Справа от меня большой дом с решетками на окнах. Это психиатрическая больница для неизлечимых. На одной из ее жестких коек агонизирует русский красноармеец, так и не назвавший своего настоящего имени. В прошлом году я писал в "Русской Мысли" о нем и других жертвах "пытки страхом", страшной пытки, изобретенной лицемерами-гуманистами XX века, века всех демократических "свобод". Тогда он еще ходил и "узнал" крест на груди священника. Теперь он уже не в силах подняться с койки и не взглянул даже на того же незабывающего его отца Антония...

Мимо! Мощные волны оркестра влекут меня к себе. Вот высоко взметнулся какой-то грозный — могучий порыв звуков, и вдруг... над апельсинными садами Ночеро разлилась неповторимо торжественная мелодия:

"Боже, Царя храни..."

И снова сверхмощная стихия безбрежного устремления! И снова трубы архангелов:

"Сильный, державный, царствуй на славу,
"На славу, на славу нам!"

Что это? Я не иду, а бегу и подбежав читаю на плакате программы:

"П. Чайковский. Увертюра 1812 года".

Лица музыкантов напряжены до предела. Кажется, победные фанфары громоподобного финального фортиссимо сотрясают не только сердца слушателей, но и зеленеющие горы:

"Царствуй на страх врагам,
Царь Православный".

Конец. Экспансивные итальянцы остро чувствующие выраженные в музыке эмоции, хлопают до исступления, ревут, беснуются, требуя повторения изумившего их, сыгранного под звон колоколов финала.

Я задаю себе вопрос:

—А если бы мощные звуки этого гимна неслись бы не над крохотным итальянским городишкой, а над Кремлем, над Москвой, над Россией, танцевал бы ты тогда с грязными мегерами, журналист Алексей Алымов? Кривлялся бы ты в женском капоте, русский крестьянин, труженик-хлебороб Семен Петрович? Зажимали бы тогда пальцем царапины на женских туфлях вы, господин профессор, с европейской известностью? И, главное, умирал ли бы ты тогда на жесткой койке, одинокий, замученный и всеми покинутый, безыменный Солдат Русской Армии?

А вы, обезумевшие от восторга итальянцы, бледнели бы вы от ужаса перед призраком атомной бомбы, сброшенной на ваш Вечный Город, на ваш Святейший Престол Апостола Петра?

26. ВТОРОЕ ТУРНЭ ЕСЕНИНА

Попадая в Пагани, мы вытянули один из самых счастливых билетов в ировской лоттерее. Сам городок — дрянь, грязный, вонючий, как все южно-итальянские города. Но наш кампо расположен в густой апельсиновой роще, в удобных небольших коттэджах. Во время войны здесь был американский лазарет. Поэтому, по сравнению с другими лагерями, здесь райское житье.

Вокруг заросшие оливами горы. По вечерам с них сползают туманы, но утром они уходят обратно и к восьми утра уже жарко, настолько жарко, что, к великому моему счастью, наши соседи с обеих сторон теряют способность производить звуки при помощи язы-

ка, то есть то, что ошибочно называется даром речи. Они расстилают в тени одеяла и лежат на них, как бревна. Для меня это время — часы блаженства. Скитания по Кара-Кумам и Кизил-Кумам приучили меня не к такой еще жаре. Поэтому в эти часы я могу читать, писать, работать, что невозможно в иное время. Могу даже думать, вспоминать и раскладывать пережитое по ящикам памяти в каком-то порядке, выбрасывать лишнее, ненужное, закреплять ценное.

Я это и делаю здесь, в Пагани. Сейчас передо мной Рим.

***

Когда влажная бархатистая тьма южной ночи спадает на Вечный Город, в нем оживают тысячелетия. Пусть на Корсо толпятся в крикливой сутолоке разноцветные буквы световых вывесок баров, пусть дико завывают авто, проносясь мимо колонны Марка Аврелия, но под аркою Порта Сан Паоло скользят тихие тени и величавой громадой, как ребра скелета великана, чернеют на звездной синеве арки терм Каракаллы . . .

Я иду мимо них. В Риме я лишь второй месяц; его ночное дыхание чувствуется мною особенно остро и глубоко . . .

Я иду к тому, кто давно-давно доносил до меня это дыхание отживших веков в стройных чеканных ритмах торжественных песнопений, к Вячеславу Иванову, поэту, последнему из славной стаи символистов, владевших думами и душами моего поколения . . . к последнему живому.

***

Маленькая уютная квартирка — маленький уютный обособленный мирок. В нем слабый телом, но бодрый духом, оживленный маленький старичек.

Как далек этот мирок от того огромного, кипящего страстью и страданием мира, откуда я пришел.

—Ну, а меня "там" читают? Многие?

Это один из первых его вопросов. Я не могу сказать правды. Слишком жестоко было бы ответить ему: "нет, никто". Приходится мямлить уклончиво:

—Вас не переиздавали за советское время . . . В библиотеках в большинстве новые книги . . .

—Ну, это безразлично. Я знаю, что "там" крестьянин сыт, и этого мне достаточно!

—Вы это **знаете?** — срывается с моих губ.

—Это ясно.

Стоит ли возражать, спорить в этом маленьком, обособленном мирке? Нужно ли это?

В соседней комнате внезапно начинает орать радио. Это Эйфель дает "Римскую страничку" в форме разговора дамы и мужчины, аборигенов Парижских бульваров. Ее делают дети Вячеслава Ивановича. Он весь превращается в слух.

Да. Эта связь с Эйфелем и с оживающими ночью арками Каракаллы крепче и теснее, чем с оставшимися "там", поэтому для него "ясно", что "крестьянин там сыт".

Мы снова говорим. Теперь о моей книге, выходящей в Венеции, — "Обзоре советской литературы".

—Ну, из поэтов, конечно, Есенин?

—Да. Он на первом месте.

—Помню, как же. В 1923 году, перед моим отъездом в Баку, я читал стихи и какая-то пьяная фигура бросилась обнимать меня и покрывать слюнявыми поцелуями . . . спиртом воняло . . . Помню его . . .

—А стихи его помните, Вячеслав Иванович? От них, пожалуй, по-иному пахло . . .

—Те, что тогда выходили, просматривал. Да, у него была свежесть, но . . .

Говорить дальше не стоит, пожалуй, и на эту тему. Снова ворвется радио с башни Эйфеля и отнимет у меня слова. Да и не стоит нарушать покой маленького мирка, угнездившегося близ мертвых при свете дня тёрм Каракаллы.

—Я мистик, и немногие поймут меня, — восклицает поэт.

Мне хочется ответить:

—Да, вы правы, Вячеслав Иванович. "Там", пожалуй, никто.

Но я молчу. Ведь руины оживают в благости синей ночи. Это их право. Право на свою жизнь. Жизнь величавых руин.

Я больше не приходил к Вячеславу Ивановичу Иванову, поэту, властителю дум юности моего поколения, хотя он и звал меня, хотя к чаю был вкусный кэкс, а я тогда сильно голодал . . . Нет, не приходил

**
*

Через три года в крупнейшем из южных лагерей Боньоли ИМКА организовала среди ди-пи "Общество друзей культуры". Большинство его составляли чешские студенты и профессура, немного кроатов и совсем мало русских. Общего языка среди нас тогда еще не выработалось — "новички" — чехи не понимали по-итальянски, зато хорошо улавливали смысл русских слов и я нередко делал там доклады по-русски, переводя по-немецки лишь основные тезисы.

Доклад мой о последних русских поэтах — Гумилеве и Есенине — собрал полную аудиторию.

При чтении его у меня было два помощника. Валя Юрчук, остовка-украинка, обладавшая недурным мягким сопрано, и развеселый гитарист Гриша Драпов, промышлявший по ночным тавернам Неаполя пением русских песен под свою гитару. В Италии любят русскую песню. "Очи черные" и "Катюша" слышатся сейчас там чаще, чем "Санта Лучия "и "Финикула". Оба они были молоды и уплывали вскоре за океан. Я читал стихи, Валя и Гриша пели песни на слова Есенина. Кто же из русской молодежи не знает его песен?

Профессиональная привычка давно уже научила меня определять "доходчивость" по лицам слушателей. И пока я медленно и раздельно, стараясь говорить простыми словами и короткими фразами рассказывал о жизни Есенина, я видел лишь напряженное внимание, желание понять меня на лицах слушателей.

—Нет, "не доходит"!

Но вот Гриша коснулся своей гитары и матовое нежное сопрано Вали пропело первые строки:

Ты жива еще моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний, несказанный свет...

Словно голубая волна перекинулась к нам с глади Неаполитанского залива и смыла напряженность с лиц. Они ожили и засветились...

—"Дошло"! Дальше, Валюша, дальше!

Снова переливаются, как цветистый луг, струны Гришиной гитары, и тоской о полынной горечи полевых просторов рыдает голос Вали.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне...

"Ага!" — с торжеством замечаю я, — "пробрало! Вон там, в третьем ряду, хорошенькая чешка-поэтесса уже платочек вынула!" ...

Ничего, родная! Успокойся,
Это только тягостная бредь...
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб тебя не видя умереть...

Шеф нашего общества от ИМКА сеньор Джермини явился на мой доклад из вежливости: по-русски он ни звука. Я думал так, но ошибся. Сеньор Джермини — итальянец, и звук, именно сам звук стихов Есенина оказался ему понятен. Впитывая их своим ухом, он улавливал душу поэта. Это было видно по его лицу, по нервно сжимавшимся пальцам.

Теперь мне снова выступать, но уже смело, не замедляя темпа речи, рассказываю о последних днях поэта росистых просторов.

Кончен путь... петля захлестнута.

Друг мой, друг мой.
Я очень и очень болен,
Сам не знаю, откуда
Взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Я не боюсь больше быть непонятым и по памяти цитирую полные ужаса тьмы предсмертные строки поэта:

Черный человек! Черный человек
На кровать ко мне садится...

Я кончил. Вернее не я, а поэт, воскресший на мгновение в чуждой ему бархатистой ласковой ночи, под чужими звездами, ярко горящими на чужом глубоком небе.

Доклад окончен, но чешская молодежь тесно окружает Валю и Гришу, прося спеть еще и еще Есенина, только Есенина...

Пражский профессор Черни, философ и математик, пожимает мне руку.

—Благодарю вас, коллега, — говорит он. —Это было и прекрасно и очень, очень страшно. Чего больше— я и сам не знаю!

***

Пролетают еще два года. Я сижу у окна, выходящего в тенистую благоуханную рощу Пагани и, как полагается, пишу. А за окнами неустанно, как воробьи, которых, кстати сказать, в Италии всех поели, стрекочут звонкие детские голоса. Там, видимо, идет нечто вроде спектакля, и среди его участников слышится порой голос моего сына. То поют, то изображают что-то, то декламируют. Ведь, мы в Италии...

Я вскользь прислушиваюсь к звонким певучим фразам, не вникая в их смысл, и вдруг что-то знакомое, безмерно-родное врывается в мое сердце:

...Sette cuccioli rossi di pelo,
...Sette piccoli la cagna figlió.

Господи Боже, да ведь это Есенин! Это те его стихи о сучке и семи отнятых у нее рыжих щенках...

Я выглядываю в окно. Зацелованная солнцем крохотная итальяночка, широко раскрыв глаза-черешни, стоит на ящике под цветущим апельсиновым деревом и рассказывает о заснеженной тропинке, по которой под бледной луной бежит и плачет замерзающими слезами мухрастая русская сучка... Разноплеменные зри-

тели — сербские, венгерские, итальянские, польские ребятишки слушают молча и сосредоточенно, и их маленькие сердца полны жалости и любви.

...La luna rotoló adagio
...Ed oltre i morti se ne andó.

Ошибки быть не может. Слово в слово!

—Лоллюшка, — кричу я сыну, — спроси у нее, где она выучила эти стихи?

—Зачем спрашивать? — пожимает плечами мой сын. —Это я ее выучил. Правда, ведь прекрасная поэза? (у него теперь всегда влезают в русскую речь итальянские слова).

—А ты откуда взял?

—Да у тебя же, из твоей книги...

Я хлопаю себя по лбу. Верно ведь. Это напечатано там, в бережном и любовном переводе обитальянившейся латышки, венецианской студентки Ирины Долар.

Верно! Я вынимаю из коробки от кэр-пакета последний оставшийся у меня авторский экземпляр: "La panorama della letteratura russa contemporanea" и долго смотрю на портрет Есенина.

—Сергей Александрович, — говорю я, — вы совершаете теперь вместе с толпою нищих ди-пи новое турнэ по заплеванному и загаженному земному шару... И в этом турнэ много больше блеска и триумфа, чем в том, что вы сделали с Айседорой Дункан. Ручаюсь вам в этом!

27. ДЕВЯТЬ ПОМИДОРОВ

Кто-же их, докторов, разберет? Медицина — дело темное. В прежнее время чахоточных даже посылали в Италию лечиться, а у меня под ее нежными небесами застарелый плеврит проявился. Очень почтенного возраста, как доктора уверяют, лет двадцати-тридцати,

значит еще соловецкий, там благоприобретенный. Но там он сидел смирно, а здесь взбунтовался и свалил меня на лазаретную койку.

Эта койка стоит около окна, а окно выходит в густую апельсиновую рощу. Но перед ним небольшой просвет в зеленой гуще и площадка в 3-4 кв. метра блестит золотом солнца. На ней растут тщательно окученные и подвязанные девять кустов помидоров. Десятого куста всадить уже некуда — мала посевная площадь.

Посадил эту овощь мой сосед по койке Андрей Иванович, колхозник из-под Пятигорска.

— Чего земля пустовать будет?

— Да ведь вы урожая, пожалуй, не дождетесь, Андрей Иванович, — говорю я, — болезни наши не тяжелые . . . Скоро выпишемся.

— Ну, что-ж. Я не соберу, так кому другому свой огород, — это он с усмешечкой говорит, — препоручу. Он соберет, а земле зачем же зря гулять?

Не нити, а, должно быть, какие-то крепкие троссы связывают с землей русского крестьянина Андрея Ивановича . . . даже вот с этой, не своей, а итальянской, и даже не с землей, а с каким-то вулканическим мусором.

— Выходит, вы здесь культуртрегер!

— Это что такое означает?

— А вот агрокультуру на пустошь приносите . . .

Андрей Иванович посмеивается.

— Мы все такие. Все семейство. Дед мой мальчишкой еще со слепцами на Кавказ пришел, поводырем, из Тульской губернии. Тогда на Кавказе земли пустой много было. Степь. И ему дали. Разом справно зажил.

— А потом?

— Ну, как обыкновенно. По столыпинскому закону еще прикупили и на хутор вышли. А потом и раскулачили нас. Обыкновенно . . .

Да. История обыкновенная в колхозных буднях. И в дальнейшем ничего особенного, из ряда вон выходящего, в ней нет. Например, когда началась война, Андрей Иванович исчез из колхоза и год с месяцем, пока не пришли немцы, просидел в подполье, вырытом им

за печкой. Ничего выдающегося в этом образе жизни нет. Я знаю с десяток таких подпольщиков.

— И как интересно получилось, — рассказывает Андрей Иванович, — очень даже удобно. От печки тепло идет по земле и сырости нет, а сверху на день жена будыльями подсолнечными заваливала. Ночью же для здоровья на улицу выходил. В женском наряде, конечно. Береженого, Бог бережет.

Не было ничего необыкновенного и потом, когда Андрей Иванович с сынишкой Колей запрягли Гнедка в свою тачанку и отправились с отходящими немцами, вместе с тысячами других таких же Андреев Ивановичей.

Жена осталась караулить уцелевшее добро, а они до Триеста доехали.

В дороге тоже все шло вполне обыкновенно. И в окружение попадали, и прорывались вслед за немецкими танками, настегивая что было мочи своего Гнедка, и сами отстреливались от партизан из выданных немцами русских винтовок.

— Как все. Что же тут такого, — пожимает плечами Андрей Иванович.

Капитуляция их застала уже в Италии. Опять ничего особенного — работали оба у какого-то контадина, а работа привычная и контадин попался дружественный, сознательный, а когда полегчало для русских людей — ушли в лагерь.

— Обратно все обыкновенное, — говорит Андрей Иванович.

Болезни у нас не тяжелые, и когда врач разрешает выходить из лазарета, мы вместе идем в город. Тогда я смотрю на колхозника Андрея Ивановича и несколько удивляюсь.

Он тщательно выбрит. На нем галстучек и пиджак, не какая-нибудь ировская дрянь, а умело купленный по случаю, ладный и добротный. Трудно поверить, что еще недавно он был задрипанным, залатанным колхозником. Теперь он более смахивает на добропорядочного немецкого бауэра в воскресный день и, во всяком случае, выглядит более европейцем, чем расхристан-

ные, грязные и оборванные итальянские контадины, привозящие на базар салат и апельсины.

На базаре у Андрея Ивановича дел много. В лагере он окончил курсы изготовления портфелей, дамских сумочек, бумажников и теперь работает "от себя".

— Продавать, конечно, процентов на сорок дешевле магазина приходится, а все-же тысячу лир в день выработать можно безо всякой стахановщины . . . Поко-поко, по малости.

По итальянски он говорит теперь бегло, лишь с некоторыми собственными поправками к итальянской грамматике: спрягать глаголы он находит лишним, а ставит их всегда в неопределенном наклонении. Но его понимают и он всех понимает.. Что еще нужно?

Коля, его сын, тот говорит уже правильно и не только по-итальянски, но и английскому подучился, собираясь третий год в США. Он теперь квалифицированный столяр, имеет диплом и служит в мастерской ИРО.

— Ремесло всегда при себе будет, — рассуждает Андрей Иванович, — хоть и вернемся в Россию, а портфели и там пойдут . . . тоже и сумочки.

— А вернемся, Андрей Иванович?

— Обязательно. Война будет? Непременно. Без нее не обойдется. Все к тому идет. А тогда и за нас возьмутся.

— Думаете, опять армия Власова образуется?

— Власова или другого кого . . . генерал найдется. А если не здесь, так "оттуда" выдвижение будет. Само дело выдвинет. Не иначе.

Вернувшись с базара, мы обедаем. Кормят в лазарете хорошо, и дежурный санитар выносит на свалку полный бак объедков. Андрей Иванович провожает его с досадой.

— С этих бы помоев какого кабана выкормить возможно. Да не одного. Эх! Свининка-то здесь семьсот лир за кило . . .

Он не любит, чтобы что-либо зря пропадало. У него все идет в дело. Даже наши пустые, никчемные дипийские лагерные годы у него не пропали даром. Что-же, освоено два ремесле. Выбраны они умно: Коле —

ходкое столярное. Нигде с ним не пропадешь. Себе — тихое, стариковское. Тоже кусок хлеба обеспечен. Пожалуй, и с маслом. Заодно прошел и курс пчеловодства.

— Это на тот случай, если Господь приведет к своему хозяйству, пчелки — золотое дело, и мед я очень уважаю.

— А где это хозяйство будет, Андрей Иванович?

—А кто-ж его знает? Надеюсь на свое вернуться, а там . . . да ведь везде люди живут.

— Тоскуете вы по своей родине? — спрашивает его лежащий в соседней палате старый полковник из Болгарии.

— Тосковать зачем-же? Жену, конечно, сожалею, одинокая женщина осталась, и местностью своею интересуюсь.

Ностальгия, тоска по родине, такая, как изливают ее в своих стихах наши эмигрантские поэты, сидя за рюмкой абсента в монмартрских кафе, чужда и непонятна Андрею Ивановичу. Его родина не нудная мечта, не болезненный и чахлый призрак. Она вполне конкретна и реальна: свой хутор под Пятигорском, свой огород, своя жена, своя корова Буренка и мерин Гнедко. Она ясна до мельчайших деталей.

— Ну, а если в бой за нее пойти доведется, пошлете Колю? — спрашивает, кашляя полковник.

— А как же? Он призывного возраста. И сам возьму винтовку. Тоже еще не дед. Под ваше командование поступим, господин полковник. Не иначе, — улыбается он старику.

Без фразы, без пафоса. Если надо, так как же иначе?

— Скажите, много "там" теперь таких? — спрашивает меня полковник, когда Андрей Иванович отходит от нас.

— Вряд-ли вы мне поверите, если я скажу вам, что потенциально — почти все, все крестьянство, за исключением, конечно, кретинов, пьяниц, органических неудачников.

— В колхозах?

— Не только. Крестьянство рассеяно в СССР. Та-

кие вот, наиболее яркие, уже определившиеся типы частью ушли туда, где повольнее, на новостройки, многие угодили за проволоку, наиболее эластичные сумели принять защитную окраску и стали "передовиками" в колхозах.

— Это активистами, как у вас называется?

— Нет, передовики — дело иное. Активист, это крикун, подхалим, позёр, бездельник, спекулирующий советскими лозунгами. И в колхозе, и на производстве, и в учреждениях он — паразит. Он пролезает на выгодные административные должности или извлекает пользу для себя, получая премирования, путевки на курорты, кое-что по блату за свое позёрство и сыск.

— А "передовик" что делает?

— Передовик идет по линии собственного действительного, реального труда. В колхозе он лучший пахарь, умеет рядовую сеялку наладить, подавальщик на молотилке . . . Но и себя не забывает. На своих жалких приусадебных сотках он образцово огород разведет, пару яблонь, слив, вишен посадит, хороших, сортовых.

— Этих . . . как их? Мичуринских?

— Нет. Этой рекламной дряни он не возьмет. Он себе настоящие добудет где-то. И кур-лейхгорнов разведет . . . и коровку племенную . . .

— Так все равно себе не достанется? Выжмут?

— Не совсем так. И при советской власти живут, господин полковник . . . не то, чтобы очень, но умеючи все-же живут. Рассудите. Молокосдача все равно триста литров. И с удойной рекордистки и с мухортой коровенки. Так от племенной-то ему больше останется? Так? Но он и в другом себя не забудет.

— Прибавку себе выхлопочет?

— Нет. Этого не дадут, а он "убавку" себе возьмет.

— Что это за ребус?

— Из таких ребусов вся советская жизнь состоит. Дело в том, что он нужный работник в колхозе, и ему спустят то, что другому не пройдет. Например, жена его от колхозной барщины увильнет, убавит свои трудодни, а вместо этого молоко, яйца, овощи на базар потащит. Другую за это затравят, затаскают по ячей-

кам, на собрании покроют, дров не дадут, заставят итти на барщину, а его жене пройдет незаметно . . . Таких возможностей много . . .

— Да. Иной стала жизнь, и люди иные.

— Вот и не так. Жизнь иная, а люди те же. Только внешность изменилась.

—В лапотках мужичок не ходит?

— В лапотках-то ходит, чаще даже в дырявых опорках. Только и материт же он теперь эти самые лапотки.

—Значит, революция все-же пользу крестьянству принесла?

— Наоборот, затормозила его развитие. Процесс-то его роста испокон веков шел. В 1861 году быстрей двинулся, а при Столыпине валом вперед попер. Советчина его смяла, снова за 61-ый год пытается задвинуть, но и ей это не под силу. Посмотрите, вот вырвался из нее Андрей Иванович и даже в наших дипиевских, почти концлагерных условиях, смог развернуться. Он внутри себя, под давлением, негативно, "от обратного", рос. Не в том дело, что колхозные девки теперь фокстрот танцуют и губы себе помадой мажут, а в том, что вот мои студентки на лето в колхоз уходили.

— В народ, значит? Это и раньше бывало.

— Нет, не бывало. То задуренные интеллигенты в жертвенность позировали и шутами гороховыми по деревням таскались. Теперь за иным туда идут.

— За чем же?

— Деньгу себе кое-какую на зиму заработать на поле. Чтобы доучиться. В пузо себе что-нибудь сверх болтушки в столовой всунуть. Шли и прежде. Верно, но "с направлением" . . . в статистики или еще во что, на легкую работу для болтовни, а эти картошку идут копать, да ловчатся, как бы себе на пай лишнее ведро перекинуть. Эти за жизнь свою борются . . . Зубами ее себе выгрызают. Вот это ведро и роднит их, интеллигентов, с колхозом.

— Послушать вас, так и я теперь не смог бы полком командовать, — отвечает каким-то своим мыслям полковник, — а ведь я солдата знал . . . знал . . .

— Вот в том-то и твоя драма, — думаю я, — что знал, верно, знал, а теперь . . .

***

Первобытные люди собирались вокруг костра, и именно в этом кружке вокруг него стадо превращалось в общину.

Стадо русских беженцев, хлынувших в Италию, группировалось в ней вокруг двух центров: церкви и газеты. В этих кружках первобытные беженцы превращались в российских политических эмигрантов. В лагерях ИРО, где все на виду, этот процесс был особенно заметен.

Русской церкви не было ни в Пагани, ни в соседних лагерях: Вилла Альба, Марино, Сан Антонио. В православном храме Пагани служил сербский священник и пел русский хор. Его регентом был "старый" эмигрант Михаил Михайлович, когда-то учившийся в семинарии, пели в нем, главным образом, "новые" казаки, еще помнившие слышанную в церкви службу, а его солистами состояли Татьяна Михайловна и доктор, не только "новые", но и молодые, услыхавшие церковное пение только здесь. Услышали и сами запели, да как еще пели . . .

Но сербский священник ненавидел почему-то русских. Почему? Его дело. В одной из проповедей он оскорбил всю российскую нацию, после чего хор отказался петь, а русские перестали ходить в православную церковь.

В качестве объединяющего очага осталась только газета. Но и этот очаг грел слабо. Ировская библиотека получала только "Русскую Мысль", которая тотчас же скрывалась в кармане заведующего этим учреждением, рамолика, экс-кавалергарда, экс-дипломата и, кажется, вообще экс-человека, пытавшегося репатриироваться, но, увы, не принятого даже любвеобильной родиной. Он читал газету не спеша, потом передавал своим друзьям, и на стол читальни номер попадал так дней через десять.

Я к тому времени получал уже большинство русских газет всего Зарубежья, и костер затеплился около

моей лазаретной койки. Почта приходила в одиннадцать, и тотчас же после обеда, мы с Андреем Ивановичем заваливались газетными листами.

Читал он внимательно, сплошь, от заголовка до объявлений, и из всего делал выводы.

— В Париже все русских нянек ищут. Вот бы нашим пожилым женщинам туда, а виз не дают . . . В Америке подходящий участок можно сходно купить. И в рассрочку. Опять же — виза. А в прежнее время, так сказать, при царизме, тоже визы требовались?

— Ну, Андрей Иванович, тогда свободы не было. Плати за паспорт двенадцать целковых и катайся по всему свету!

— Та-а-ак . . . Вот господин Февр пишет, — переходит на другую тему Андрей Иванович, — что побывал он в России при немцах и удивляется, что там крестьянство царя добрым словом поминает. Чего-ж в этом удивительного? Только говорит, чтобы этот царь крупчатку по рупь двадцать дал. Не с того краю господин Февр подходит.

— Почему не с того?

— Ошибочка. Крупчатку-то по рупь двадцать не царь крестьянству поставит, а, наоборот, крестьянин царю или там кому другому . . . А от него этот рублик в настоящем виде потребует. Чтобы ясная видимость была. С патретиком. Вроде как-бы по соседски. Я тебе известен, а ты мне знаком.

— Значит, патретик-то этот нужен крестьянину?

— А как иначе? Не одному крестьянству, а всем он нужен. Вот и итальянцы болтают, был у них рей Витторио — макароны по лире за кило шли, а теперь плата — сто двадцать. Вот как, без патретика-то.

Наступает приемный час, и к нам подтягиваются другие обитатели лагеря. С большинством я встретился лишь здесь, в Пагани, но есть и старые знакомцы. Среди них Александр Иванович. ИРО гоняет нас с ним по одному и тому же кругу: познакомились в Чине-Читта, потом в Баньоли встретились, потом в Пагани. За это время он одолел не только российскую грамоту — совсем хорошо стал писать, — но и отечественную ис-

торию, перечитал все мои немногие книги. Перечитав, предложил мне обменять Лермонтова и том истории Елпатьевского на новый костюм. Историю я ему подарил, а Лермонтова сменять отказался, как ни уговаривал меня Александр Иванович. Очень уж ему Лермонтова хотелось.

— Такие стихи, такие . . . выразить не могу.

Приходят казаки, уцелевшие от Лиенца и Римини: огромный и шумный Селиверстыч, тихий, сосредоточенный в себе Сапунов, два брата Тимохины. Это все те, перед кем по разным причинам, но одинаково неуклонно закрываются двери всех стран эмиграции. То двух сантиметров роста не хватит, то лишние года окажутся, то вдруг, как у богатыря Селиверстыча, неожиданно обнаружат туберкулез.

Заходят и наши церковные солисты: Татьяна Михайловна и доктор. Они тоже застряли в Италии. У Татьяны Михайловны пятнадцатилетний сын. Пролетал красный бомбовоз над русским городом, где она жила, и для порядку сбросил остатки своего груза на пригородную слободку, где не было ни одного немца. Домишко ее разнесло, а ребенок получил удар в голову, онемел и растет тихим идиотом. Лишившись крова, она поступила в немецкий лазарет и с ним двинулась на запад. Дальше обычная история — стремительный петлистый бег от "горячо любящей родины", часто пешком, таща за руку сына.

Теперь его не пускают ни в одну из свободных стран, и сколько ни уговаривают разумные европейцы неразумную русскую мать забросить своего сына в какой-нибудь приют и эмигрировать одной, она не соглашается.

Доктор мог бы уехать, но его одинокий путь скрестился и сплелся с путем Татьяны Михайловны. Выход ясен: пережениться. Но и здесь рогатка. Татьяна Михайловна не может документально доказать смерти первого мужа, убитого на фронте, — ни в церкви не венчают, ни в муниципио не регистрируют брака.

Так и ждут они того времени, когда кончатся пол-

помочия ИРО и все остатки дипийского племени свалят в какой-либо угол задворок культурного мира.

— Везде проживем. Работать умеем!

Доктор за это время стал электротехником, фельдшерица Татьяна Михайловна — высококвалифицированной прачкой.

Приходит и полковник из соседней палаты. Он больше молчит и слушает.

Мы делимся печатными и непечатными лагерными новостями, с точностью до одной миллионной определяем все ошибки политики Трумана, дружно ругаем социалистов всех наций и языков, порой спорим. Потом в порядке строгой очереди распределяем газеты и расходимся.

***

Вечером мы с полковником сидим на приступочке лазаретного барака и покуриваем свои вертуны. Духота дня уступила место ночной прохладе. Горы в лиловом тумане.

— Хороша, все-таки, она, Италия эта самая.

— Неплоха.

— А я вот слушаю всех вас, — говорит полковник, — и удивляюсь.

— Чему же?

— Кажется, вам-то, еще не привыкшим к Европе, должно быть здесь особенно чуждо. Тоска по родине нашей у вас должна быть сильней, чем у нас, повыветрившихся. А выходит наоборот.

— Это потому, что к нам родина-то сама наоборот повернулась.

— Вы "охоту за черепами" подразумеваете?

— Она только одно из следствий. Фрагмент, частица целого. Дело-то в том, полковник, что вы увезли с Графской пристани память о лучших годах вашей жизни, а мы сквозь все наши проволочные заграждения — память о муке, страдании, нищете, тесноте, унижениях тащили. Мы эту память волокли, а она нас под зад толкала. Для вас Европа разом стала минусом, а для нас даже вот эта мусорная куча ировская все-таки плюсом.

— Неужели-же так?

— А вы взгляните на нас. Вот колхозник в галстучке и в фетровой шляпе разгуливает. А там? Ведь у него второй пары латаных штанов не было. Вот шахтер. Он теперь над фаянсовым умывальником душистым мылом моется и ногти себе чистит, а там, как приходил из шахты, так в угле весь и спать заваливался. Да и утром его не смывал. Из собственного рта умывался. Возьмите хоть Татьяну Михайловну. Какая она там политическая эмигрантка, просто ветром ее занесло сюда. Думаете, легко было ей со своим дефективным от "братьев" пешком удирать? А удирала. Где же тут тоску по родине взять?

—И еще мне одно непонятно. У нас все было ясно. Солдат-ли, офицер-ли, а оба за Веру, Царя и Отечество шли. Всем — одно. А теперь — разброд. Слушаю вашу компанию и как-будто всех к монархии тянет, а все врозь. Селиверстыч скорее по-нашему этот вопрос понимает.

—Понятно. Во-первых, казак, — они традиционнее крестьян, во-вторых, действительную еще при Царе служил.

— Да. Старая закваска. А шахтер — сверхчеловеческой справедливости ищет.

— Еще бы! Поэт. Да и возраст для подобных поисков соответствующий.

— А Андрей Иванович договор с Царем хочет заключить: я тебе пудик крупчатки, а ты мне — рублик с портретиком!

— А как ему иначе? Он — хозяин. По-хозяйски и к делу подходит.

— Я и говорю: все вразброд. У нас так не было.

— Было и у вас. Всегда было. Для Селиверстычей оно называлось "долг присяге". Для искателей правды (были и такие) — "Помазанник Божий", а для самодержавных черноземных хозяев — Самодержец Всероссийский. Только вы их в полку всех под один ранжир ставили. Революция его стерла, а заодно и с них кожу содрала. Теперь у каждого нутро его стало видно. Отсюда и разнобой.

Замолкаем. Я вдыхаю ночную радость сползающей с гор прохлады, а полковник сопит своим камышевым чубуком и что-то ищет в самом себе.

— А если Господь приведет вернуться, пожалуй, трудно мне "там" будет? — не то спрашивает, не то сам решает он.

— Трудно, полковник, ой как трудно! И, думается мне, тяжело.

Мы снова молчим. оба молчим по-разному. Ко мне молчание идет извне, из прозрачной тишины ночи, а к нему изнутри, от зудящих там голосов.

— Так, — резюмирует он, — значит, революция только шкуру содрала. Сердцевина та же. Хорошо-с. Ну, а кто-ж ее, революцию, сделал?

— Мы, господин полковник, мы с вами, интеллигенты российские, во всем нашем многоличии и многообразии. Мы.

***

Но я назвал эту главу "Девять помидоров". Значит, нужно досказать и о них. Помидоры эти созрели, и в день сбора первого урожая Андрей Иванович покрыл полотенцем поставленный "на попа" чемодан, а на него — тарелку и кружки. Дальше все пошло, как полагается. Помидоры порезали и пересыпали луком, густо, не по-итальянски, посолили. Спирт развели по-любительски, на 55 градусов, и позвали полковника.

Ах, вкусными оказались эти помидоры с собственного огорода Андрея Ивановича! Совсем не такими, какие нам каждый день в столовке дают... Те — дрянь. С виду красивы, крупны, сочны, а вкуса нет.

Когда выпили по второй и по третьей, языки сами стали говорить и, конечно, пошли воспоминания. Это не диво. Водка всегда к ним располагает.

Но удивительно было то, что участник трех войн, много раз раненый, георгиевский кавалер, полковник стал вспоминать не о своих доблестных подвигах, а о ротном огороде, который он, будучи еще штабс-капитаном, развел со своей ротой экономическим порядком. Как и он, и солдаты любили и холили этот свой огород.

Мирный же колхозник Андрей Иванович, никогда на военной службе не служивший, вспомнил, как он, выползши ночью из своего подполья, перед приходом немцев, закатил через окно сельсовета полную горсть рубленых гвоздей из обреза в своего колхозного активиста.

— На прощанье ему, стервецу, — в пузо!

Ну, а я вспомнил рассказ А. П. Чехова "Крыжовник". Он теперь стоит в программе средней школы и его обычно весной, перед экзаменами, прорабатывают. Закончив проработку, учитель назидательно говорит:

— Вот, видите, каков капитализм! Человек всю жизнь на приобретение собственности истратил, и в результате пришлось ему кислым крыжовником наслаждаться.

Дети смотрят на учителя и про себя думают:

— Дурак ты, дурак! Не знаешь, что за вкусная вещь кислый крыжовник! Плохо только, что на базаре блюдечко рубль стоит, а украсть его негде . . .

Учитель тоже думает в это время:

— Как кончу уроки, надо бежать за город на наш коллективный огород, капусту поливать . . . Эх, был бы свой огородик!

Эх, думаю и я, жаль, что мне далеко до Чехова! Не смогу я вот этого продолжения к его "Крыжовнику" написать.

28. МОЙ ДРУГ "ИНТЕЛЛИДЖЕНТО"

. . . Барак наш, куда я попал, выписавшись из госпиталя, как на подбор, весь русский и мало того, что русский — высококвалифицированный. Обитает в нем и доктор из Умани, и экономист гигантской новостройки в Средней Азии, и главный инженер Камчатских аэродромов, и изобретатель из Праги, говорящий на восьми

языках . . . Это все народ семейный, а в холостяцком отделении три капитана и два полковника из Белграда. В этом городе, как известно, русских эмигрантов ниже капитанского чина не бывало. Над их помещением надпись: "Самцы". По-сербски это значит, кажется, — холостяки. Западно-славянских языков я не знаю, но судя по тому, что иноки этой обители редко ночуют в ней, думаю — надпись правильная.

Зато все семейные всегда ночуют дома. Это могу удостоверить под присягой. Знаю. Перекличка идет всю ночь. Лежу, слушаю: вот наследник экономиста Феличе-Вася подал свой зычный голос . . . Вас удивляет его странное имя? Очень просто: два раза крестили младенца, и по-православному в нашей лагерной церкви и по-католически у итальянцев. Для верности, а, кроме того, в лагере новорожденным дают полное приданое от ИРО, а уж о наших южных итальянцах, более католиках чем сам Папа, и говорить нечего: позаботятся о спасенной душе. Хотели еще к баптистам снести, но оказалось, у них не крестят.

Так вот. В ответ на православно-католические возгласы тотчас изобретательская супруга отзовется:

— Марья Петровна, уймите свое чадо!

Но экономистиха — человек новый и славянизмов не одобряет:

— Это у вас, извиняюсь, может быть, чады, а у меня даже наоборот — дитю!

Другие-прочие в эту дискуссию вступят . . . Ну и пойдет на всю ночь . . . Народ, ведь, у нас в бараке высоко интеллигентный. Кроме того, по лагерям мы все уже пятый год циркулируем и вполне вросли в ировскую демократию, даже должности хорошие занимаем: изобретатель — переводчик при директоре, инженер киношку крутит, а экономист — куда выше: продуктовый кладовщик! Сами понимаете, что это значит! Не какой-нибудь подметайло, что за 12 долларов в месяц весь день с совком по лагерю фланирует. Это самцам-полковникам подстать или там какому-нибудь профессору философии . . . А мы все высококвалифицированные!

Вот и утро. Дивное, ясное, блещущее утро в Италии

— стране красок и звуков. Ее славные традиции и нами восприняты.

—Addio la bella Napoli . . .—затягивает инженерша.

— Выходила на берег Катюша . . . — вторит ей экономистиха.

— Журавель, мой журавель, журавушка молодой! — подхватывает пара вернувшихся из ночного похода самцов-капитанов, а из запертой ушедшим хозяином-доктором клетушки потрясающий хрип радио сообщает о ходе футбольного матча в Милане.

— Ты бы садился работать, — пилит меня жена, — в "Часовой" очередной очерк пора послать, да и в "Нашу Страну" тоже . . .

Умная у меня жена, всегда напомнит во-время. Сажусь и пишу.

— Тут у тебя не совсем ясно, — заглядывает она мне через плечо, — смотри: "Журавель в современном понимании служит катюшей в Наполи". Проще надо, популярнее . . .

— Да, конечно, надо проще . . . Умная у меня жена, деликатная и тонкий критик. Только я лучше почитаю. Кстати, Ариадна Владимировна Вилльямс свою чудную книгу о Пушкине прислала . . . Такая добрая . . .

— Широка страна моя родная . . .

— Санта Лючия, а дальше не знаю.

Как это у них складно получается. А вот Тыркова-Вилльямс. чушь какую-то несет: "в Шикиневе Шупкин встрелил Теспеля" . . . Откуда она их взяла? Ах да! Пушкин — Пестеля . . . Пожалуй, я лучше погуляю . . .

— Лоллюшка, — спрашиваю я сына, — ты целый день бегаешь, скажи, где здесь поближе тихое место?

— Очень просто, — отвечает тот, — у соседа Джузеппе в его саду.

— Но он не пустит! Там его оранжи . . .

— Как это не пустит, — снисходительно улыбается сын, — я его Бенно вчера нос в кровь разбил. А ты — не пустит!

— Так вы же враги теперь . . . .

— Ничего подобного — лучшие друзья! Завтра через горы в Сорренто вместе пойдем . . . Собирайся!

Пришли, и Бенно отпер нам ворота. Хотя на нем была только одна штанина и умывался он, вероятно, в последний раз лишь в день Всех Святых, при их общей помощи, т. е. месяцев пять назад, но его протекция стоила больше, чем письмо Леона Блюма о реквизированных линарийцах. После нескольких его слов, вернее, шипения с присвистом, именуемого неаполитанским наречием благородного языка Тассо, папа Джузеппе поставил на землю корзину со свежими синеватыми фигами и произнес почти по-итальянски:

— Пер пьячеге, синьор джорналисто, весь мой сад ваш! Вы можете отдыхать в нем, гулять, вдохновляться вашими высокими мыслями и писать... — Жест, сопровождавший эти слова, был достоин Людовика XIV, показывающего Версаль инфанте Кастильской.

— Даже писать! Вы добрее, чем Сан Пьетро у райских дверей. — расшаркиваюсь я, загребая ногой историческую пыль Везувия. В Италии, ведь, все историческое. Штаны падроне Джузеппе — на этот раз обе штанины — явное тому доказательство. — Могу я поместиться в том углу, в тени ваших чудных оранжей?

— Всюду, куда ведет вас ваше сердце, но там — Интеллидженто*).

— А он, этот интеллигент, очень много поет? — спрашиваю я упавшим голосом.

— Синьор-иностранец, — снисходительно улыбается потомок Данте, — он не знает, что в Италии поют величайшие артисты мира, а ослы ревут... Мы назвали его Интеллидженто, т. к. он исключительный, гениальный осел, он знает все дороги в округе, свое место на базаре в Ночеро и ревет только тогда, когда хочет кушать... Ну, разве он не достоин этого имени?

— О, безусловно! — искренно восхищаюсь я, — грацие, синьор! Бежим, Лоллик! После обеда — мы здесь!

Обед в нашем бараке мало чем отличается от раута всей Ассамблеи ОН. Меню, правда, несколько короче, но

*) Интеллидженто по-итальянски употребляется в значениях умный, мыслящий, сознающий.

зато политическая настроенность много полнее и напряженнее.

— Петр Семенович, слышали? — кричит со своего конца продуктовый экономист. — Папа Римский со Сталиным союз заключил!

— Не может быть!

—Достоверно! Мне один серб говорил, а он от итальянца узнал, тот по радио слышал. Даже соответствующую булку Папа выпустил.

—Может быть, буллу? — робко вставляю я.

— Много вы понимаете! Раз я говорю — верно. Сам от чеха слышал.

— Значит, ватиканские подарки кончились! — вздыхает мать православно-католического младенца. — Чтоб ему, Сталину, черт . . .

Непредвиденный инцидент нарушает порядок дня. Котенок камчатской инженерши нарушил территориальный суверенитет пражского изобретателя. Комиссия в составе доктора, экономиста и двух самцов подтвердила явные доказательства под его кроватью. Инженерша негодующе пронеслась с ведром и тряпкой, но обсуждение продолжается.

— Да, вытерла, но запах-то остался, — негодует изобретатель.

—Возьмите мятных капель в амбулатории, да и все тут! Прысните весь флакон, благо бесплатные . . .

— Дело не в бесплатности! Я сам тысячу лир дам! Дело в принципе . . .

— Есть о чем говорить!

—Нужно говорить! Можно еще многое сказать! Воздух-то один во всем бараке . . . заинтересована общественность! Русская свободная антисоветская общественность . . . Поймите!

Но я уже поел. Торопливо рассовываю по карманам карандаши, табак, очки . . . бегу, но на пороге меня перехватывает потягивающийся изобретатель-переводчик.

—Борис Николаевич, дайте "Нашу Страну" почитать от нечего делать после обеда. Вы сегодня получили.

— Сколько я вам уже говорил, Петр Семенович, я — коммерческий представитель "Нашей Страны" и еще четырех газет . . . Подпишитесь — получите!

— Подпишитесь! Это 250 лир в месяц! Откуда у меня деньги!

—Да, ведь, вы 24 тысячи как переводчик получаете . . . на всем готовом!

— Мало ли что . . . Вы сами говорили, в Риме триста оседлых русских семей, а подписчика — два . . . Они там и сто тысяч получают, собственые магазины имеют . . . На газету тратиться, это, сами понимаете, непроизводительно . . . Дайте хоть "Часового" . . .

— И "Часового" не дам!

— Это называется русский человек, — презрительно бросает сбоку экономист, — русской идее служите, а русским людям помочь не хотите . . .

— Да какой-же вы русский, — начинаю злиться и я, — записаны вы украинцем, а жена — балтийкой . . . На нее и аншуренс в США получили . . . Ну, и читайте свою ридну мову.

— А коли я на ней ни гу-гу! Записан, верно, это — тактика. Но в душе я руссее вас . . . Да-с. А вы Сталину служите, свободного русского слова нас лишаете . . .

— Лоллюшка, скорее! . . . — ору я и вылетаю пулей. Позорное бегство сталинского клеврета . . .

. . . Но мы уже в саду. Сделать стол из старых ящиков — одна минута. Я сажусь и пишу . . . пишу . . .

О ты, Италия, подлинно благословенная Богом страна! Твои небеса всегда ясны! Не видишь, как окутывает землю твой тихий вечер . . . При свете этой огромной оранжевой луны, кажется, и читать можно.

Я блаженно вытягиваюсь . . . Единым духом — целый очерк! И никаких Шупкиных, журавливых Катюш или другой подобной экономики в нем не оказалось. Молодец ты, Алымов, поработал ты сегодня . . . на службе Сталину . . . Но кто же похвалит тебя за труд?

Мягкое теплое дыхание касается моей щеки. Я оглядываюсь.

— Это ты, мой новый друг Интелливженто? Ты при-

шел пожелать "бона ноте" твоему русскому "амико"... Ты понимаешь меня? Твои длинные серые уши шевелятся, и я уверен, что понимаешь. Ты уже доказал это, милый, простой, обыкновенный неквалифицированный осел, знающий свое место на базаре, доказал тем, что целые долгие полдня не сказал ни одной глупости, ни одной пошлости, не сделал ни одной гадости, никого не обругал агентом Сталина, не попытался воровски воспользоваться самоотверженным трудом другого такого же изгнанника... извини, ошибся... осла. Ты был очень деликатным соседом, amico mio, ни разу не заревел... Я уверен, что ты не понес бы крестить в двух церквах своего осленка и не отказался бы от своего ослиного имени... Даже ради ашшуренса в США...

И ты достоин его, своего имени, мой Интеллидженто. Ты носишь его честно и по праву. Buona notte!

29. ИВАН-ЦАРЕВИЧ

Мы живем в эпоху контрастов. Не только политических, социальных и экономических, но и бытовых, повседневных, глубоко личных, порою интимных. Обычное, безусловно возможное часто делается абсолютно недостижимым. Так, например, в первый же день войны с Финляндией по всему Советскому Союзу разом исчезли все спички, и купить хотя бы одну коробку этого общедоступного товара стало абсолютно невозможным. Простейший акт закуривания папиросы превратился в сложную проблему. В Ставрополе, где я жил тогда, мне приходилось, закрутив вертуна вечером, ждать с ним до утра или совершать ночные прогулки по сонным улицам в надежде встретить запоздавшего гуляку с папиросой.

Но и невозможное тоже становится порой возможным. Если бы двадцать пять лет тому назад, то есть 14-го ноября 1925 г. в снежную метель на Соловецкой каторге мне сказали бы, что через четверть века в го-

роде Риме я буду представлен Главе Династии, Наследнику Престола Царства Российского, я рассмеялся бы над этой абсолютной невозможностью.

Это невозможное — теперь очевидность.

Я иду с А. Н. Саковым по одной из тенистых тихих улиц Вечного Города к старинному палаццо, в котором остановились приехавшие в Рим Великий Князь Владимир Кириллович и Его Августейшая Супруга.

Мне хочется ущипнуть себя:

— Не сон ли?

Нет. Не сон. Явь. Осуществленная невозможность.

***

До Сочельника 1942 г. я вообще не знал о существовании Великого Князя Владимира. Последнее, что промелькнуло о Династии в советских газетах было короткое сообщение о кончине его Августейшего отца. Потом все смолкло. Ничего не говорили о нем и немцы. Даже близко сошедшиеся со мной офицеры на вопрос об оставшихся русских великих князьях упорно отмалчивались.

— Да, кто-то из них жив . . . Кажется, живет в Америке . . . а может быть, во Франции. Не знаем точно.

Лишь в Рождественский Сочельник подвыпивший "русский немец" рассказал мне о браке великой княжны Киры Кирилловны с одним из внуков Вильгельма Второго и о том, что у нее есть брат. Больших подробностей я добился лишь через год, будучи уже в Берлине.

Немцы имели основание молчать об этом имени. Их осведомленность о настроениях масс России была далеко не так слаба, как это принято изображать теперь. Хромало не само осведомление, но использование его, подавляемое тенденциозной предвзятостью. Но в данном случае они ясно видели, что идея свободной суверенной России тесно связана в сознании масс с принципом Русской Монархии, что оба эти представления неразрывны, и одно имя живущего где-то Наследника Российского Престола, один звук этого имени разбудит стремление к свободе среди тех, кто, подавленный и обессиленный тридцатью годами беспросветного раб-

ства, уже готов всунуть голову в немецкий хомут и видит в этом хомуте спасение от другого, во много раз более тяжкого ярма.

Ошибаться в этом случае немцам было бы трудно. Народ смутно, стихийно, часто неосознанно, но лишь эмоционально ждал появления своего Ивана-Царевича, связывая с его образом свои надежды и упования, свою судьбу; искал его имени и ждал от него, от этого неведомого, разрешения мучительного для него вопроса:

— А дальше что будет?

Девушки южно-русских пригородов, пересмеиваясь с немецкими солдатами, учили их петь растекшийся по всей Украине куплет:

Огурчики зеленые,
Редиска молодая.
Гоните, немцы, Сталина,
Давайте Николая . . .

По деревням снова заструились легенды о какой-то спасшейся царской дочери, вышедшей замуж за американского миллиардера, и "царском племяннике", якобы полковнике германской армии. Называли даже его полк, ссылались на очевидцев, с которыми он якобы разговаривал и обещал, что "придет время . . ."

Гестапо не ошибалось, угадывая под этими разрозненными признаками политического мышления народа его волю к сопротивлению поработителям.

Все это проносилось в моей голове, когда мы шли по тихой вечерней улице Рима. Перед моим мысленным взором вставали один за другим кадры разбросанного по прожитому тридцатилетию фильма.

Вот сумрачная, строгая Соловецкая дебря, а по ней мерною поступью шествует такой же строгий и сумрачный богатырь с тяжким бременем ядреных бревен на могучем плече. Это Петр Алексеевич — "Уренский царь", истово "посаженный на царство всея Уреней" мужиками этой волости*) в смутном 1919 году, на защиту их,

---

*) Уренская волость Костромской губернии. Избрание ее царя — подлинный факт, описанный мною в повести "Уренский царь", "Возрождение", № 11, 12, 13.

крестьян, от лихой, безбожной и грабительской советской власти.

Думает свою державную мужицкую думу "царь" Петр Алексеевич и не ведает того, что привела его сюда, на остров страдания и подвига, вековечная русская сказка, неизбывная мечта о благодатном, благословенном Иване-Царевиче.

Фильм памяти крутится дальше, и сизые Соловецкие ели уступают место сочной зелени чинар и карагачей. Я сижу под одним из них на узорном ковре. Время действия — конец НЭП-а. Место — Ташкент, махаля Мерганчи, близ старой Шейхантаурской мечети. Мой хозяин, почтенный аксакал крупного базара, Молла-Агбар, в молодости джигит Скобелева. Мы большие друзья, и сегодня, 14-го мая, я приглашен им на особо торжественный дострахан. На ковре сласти и чеканный восточный чайник, но Молла-Агбар наливает на этот раз из него зеленый кок-чай не в обычную расписную пиалу, а в фаянсовую кружку и с низким восточным поклоном подает мне.

На кружке — двуглавый орел. Это коронационный подарок. Молла-Агбар раздвигает ворот халата и показывает серебряную медаль.

—Смотри! Сам Император, Ак-Падишах Николай дал мне ее! Смотри!

— Ты был на коронации, Молла-Агбар?

— Я был там, потому что . . . — из-за ворота почтенного муллы и аксакала появляется серебряный крестик на черно-желтой ленте, — потому что Скобелев мне его дал. Сам Скобелев. Генерал. —Ах-пах-пах! — причмокивает с восхищением мулла, — что там было! Все народы преклонились пред Ак-Падишахом! Все народы! Я видел.

— Да, так было, достойный мулла!

— И так будет. Я знаю, — уверенно отвечает Агбар.

— Откуда ты можешь знать?

— Один святой человек сказал. Очень святой и мудрый. Он все знает.

— Где он? — спрашиваю я.

—Ты не знаешь. Далеко. За Ошем, в горах. Очень святой челавек. Целый день Коран читает.

...И в далеком Тянь-Шане брезжит твой образ, Иван-Царевич...

А вот придонская степь под Воронежем, куда в году 1934-м завели меня тропы затравленного волка. Я в избе уцелевшего от голода колхозника Семена Сергеевича, тоже моего друга. Пьем мы не чай, а принесенную мною водку и закусываем луком с огорода Семена Сергеевича. Хлеба у нас нет и хмелеем быстро. Семен Сергеевич роется под печкой и вытаскивает из тайника что-то завернутое в тряпицу.

Развернул и показал мне серебряный рубль.

— Две оцвы за него дал! Две овцы, а он того стоит!

Ничего особенного в этом рубле нет. Он — юбилейный трехсотлетия Дома Романовых, с двойным профилем царя Михаила и Государя Николая Второго. Мало ли таких было выпущено.

Но Семен Сергеевич, колхозник, другого мнения об этом рубле.

—Две овцы за него отдал, а не жалею! Придет время, он знаешь что потянет? Он знаешь какой? Я его в Богучаре у знакомца выменял, а к нему он от пленного пришелся. От нашего, какой из французского плена ехал. Вот какое дело. Вышел к ним, то есть к нашим пленным в некоем городе Государь, значит, наш Царь Николай и говорит:

—Терпите. Придет время, и я к вам вернусь. А поколь этому времени наступить, вот вам по памятному рублю, как вы есть русские мои геройские солдаты. Тайно храните, и в свое время вам воздастся. Вот он какой, этот рубль! Стоит он пары овец? Как думаешь?

Спорить с колхозником Семеном Сергеевичем и доказывать ему обычность юбилейного рубля бесполезно: переубедить его невозможно. Да и не стоит. Зачем отнимать у этого вконец изголодавшегося и исстрадавшегося русского мужика его единственную радость мечты и надежды?

Фильм памяти крутится дальше. Не пересказать

всех его быстро сменяющихся кадров. Он вступает уже в недавнее, пережитое, как кажется только вчера.

Совхоз Демина. Хутор под Ставрополем. Только что пришли немцы, и мы, служащие совхоза, сбросив маски, обсуждаем грядущее "завтра".

— Что будет?

Комбайнер, оказавшийся беглым из Колымы казаком, готов примириться с господством пришельцев.

Пусть властвуют они! Пусть берут хоть половину плодов его труда! Был бы лишь "порядок", уверенность в том, что другая половина все-же останется, уверенность в завтрашнем, хоть нищенском, но спокойном дне . . . Устал он, казак, ох, как устал!

А перед внутренним взором кладовщика, мужика-тамбовца, тоже раскулаченного и беглого, проносится дивный образ Царевича на его ковре-самолете . . .

— Ну, а такой власти, как при царском режиме была, своей, значит, русской, не установим? Нет? Чтобы для себя, а не для немца? Нет?

Ковер-самолет подхватывает и меня. Мы несемся над реками, полями и лесами . . .

Теперь фильм крутится в совсем уже близких днях, на берегу лазурного Неаполитанского залива.

—Смотрите вон на ту скалу, Александр Иванович, — указываю я своему собеседнику — шахтеру из Донбасса. — видите остатки старой башни?

— Там? Вижу. А что? Мало ли здесь развалок?

— Это для нас, русских, особенные. В них, то есть в замке этом, скрывался лет двести с лишним тому назад Царевич Алексей. Сын Петра Первого.

— С чего-ж он туда попал?

— Убежал от гнева царя-отца.

— Ну, а потом опять в Россию вернулся?

— Вернулся и погиб.

— Значит, тоже вроде как бы первый Ди-Пи был . . .

— Не первый, пожалуй, но вроде . . .

— Так-так . . . И с царскими сынами такое бывало.

Мы замолкаем, и каждый думает свое, но оказывается, что наши мысли текут по одному и тому же руслу.

—Погиб, говорите. Значит, не смог царские обя-

занности сполнять, — рассуждает вслух Александр Иванович. — Трудно это. Верно. Тяжелая профессия и опасная. По истории выходит — из десяти императоров пятеро убиты. Хуже штурмового батальона профессия. Каким человеком нужно для нее быть? Каким? А? Можно сказать, сверхжертвенным?

— В этом-то и смысл царского служения, Александр Иванович.

— Ну, а вот теперешний-то великий князь пойдет на то? Как думаете?

— Раз принял на себя, — так пойдет.

— Это так вы говорите. Со слова. А для этого самого, чтобы понять, человека самому видеть надо, чтобы в личности убедиться.

— Бог даст, увидите.

— Вы, может, и увидите, а я нет. Я завтра в Австралию уезжаю. Оттуда не увижу*).

Последний кадр этого фильма о живущем в сознании русских людей грядущем Иване-Царевиче — не на экране памяти. Он здесь, в реальности, во мне и передо мной. И сам я в нем.

Мы стоим у входа в палаццо, где временно поместился Великий Князь Владимир Кириллович, Глава Династии.

Мне, соловецкому каторжнику, подсоветскому бродяге, истоптавшему тысячи верст волчьих троп российского безвременья, дано одному из многих миллионов жаждущих видеть воочию Ивана-Царевича, увидеть его подлинного, живого, из крови и плоти, а не тень, не отблеск его, не свою мечту о нем.

Бог безмерно милостив ко мне.

Мы входим в палаццо.

**
*

---

*) Этот разговор с шахтером Александром Ивановичем я напечатал в очерке "Своя русская линия" в газете "Наша Страна" и через полгода получил из Мельбурна от самого Александра Ивановича письмо с благодарностью за ответ на волнующие его душу вопросы. Б. Ш.

Говорят, что первое впечатление о человеке всегда самое верное. Так это или нет, я не знаю, но твердо уверился по опыту, что первое впечатление всегда бывает самым глубоким и ярким.

Первым, что я ощутил, взглянув на входящего в приемный зал Великого Князя, было осознание огромной спокойной силы, разлитой по всей Его фигуре, чувствующейся в Его уверенной, несколько медлительной поступи, струящейся в Его вдумчивом, испытующем взгляде.

Второй моей мыслью было:

— Как похож на Александра Третьего! Добавить лишь бороду и прямо портрет его, такого, каким он был еще Наследником во время Русско-Турецкой войны.

Пока Н. Э. Вуич представляет меня Великому Князю, мы оба внимательно осматриваем друг друга.

— Вот он какой, "человек оттуда", бывший концлагерник, — как мне кажется, думает Великий Князь.

— Вот он, тот реальный Иван-Царевич, о котором думают, не зная даже его имени, которого ждут миллионы, оставшихся "там" моих братьев, ждут и жаждут, не ведая даже, существует ли он в реальности, — думаю я.

Признаюсь моим читателям: мой опыт общения с высокопоставленными особами очень невелик. В далеком прошлом я был вольноопределяющимся в том гусарском полку, которым командовал великий князь Михаил Александрович. Раз даже он похвалил меня за лихую вольтижировку и я ответил:

— Рад стараться, Ваше Императорское Высочество!

Это все.

Но даже и тогда брат Государя был для меня прежде всего только командиром полка, только одним из членов Великой Фамилии, не несущим на себе какой-либо особой исторической миссии.

Теперь — иное. Я стоял перед человеком, которому рано или поздно предстоит взять в свои руки кормило моей измученной Родины, вероятно, в самый трудный, самый тяжелый момент ее жизни, когда сигналом, призывающим Его туда будет SOS, выкрикнутый сотнею

миллионов до конца исстрадавшихся людей. Я стоял перед реальным, живым человеком, которому предстоит воплотить в себе вековую мечту народа о победившем злого Кощея светлом Иване-Царевиче.

Мудрено-ли, что я чувствовал себя несколько связанным?

Но это длилось лишь пару минут. Простота обращения Великого Князя, обаяние нежного бархатистого голоса Великой Княгини разом дали мне возможность быть самим собою, без какой-либо маски, какого-либо напряжения, принуждения себя.

Это была не аудиенция, не официальный прием, а простой, прямой и откровенный разговор двух разом ставших близкими и понятными друг другу людей. Но удивительно было то, что я, — старый газетный волк, проинтервьюировавший на своем веку множество лиц всех видов, рангов и состояний от Надир-Хана Афганского, проезжавшего через Ташкент по пути к Трону Эмиров, до Васьки Драгуна, бандита, соловецкого смертника, за час до его увода на казнь, я, считавший себя опытным интервьюером, тут оказался на положении интервьюируемого.

Разговором всецело управлял Великий Князь, порою задавая мне вопросы, порою наводя, наталкивая меня на выводы и сообщения. Я почувствовал это с первых же слов и чем дальше, тем все более и более убеждался в том, что каждый Его вопрос не случаен, что он звено в цепи, протянутой по ясному для спрашивающего плану.

Великий Князь то искал подтверждения уже известного Ему, то заполнял пробелы в своем представлении о том, что происходит "там" за непроницаемым железным занавесом.

Из этих вопросов было ясно видно, насколько Его осведомленность о современной России шире и глубже, чем представления о ней тех, кто, просидев четверть века в своей парижской или нью-иоркской квартирке, безапелляционно и "безошибочно" разрешает сложнейшие моменты жизни народов СССР.

Осторожность в выводах и решениях, крайняя осмо-

трительность и предельная вдумчивость — основные черты Великого Князя Владимира Кирилловича, определенно выявленные Им в полуторачасовой серьезной беседе.

Он много знает и хочет узнать еще больше. Он ясно видит огромные сдвиги, произошедшие в массах народов России за это, равное трем векам, тридцатилетие. Он знает, что эти народы уже не таковы, какими видел их Его почивший Родитель, не таковы, какими представляет их по привычке большинство "старой" эмиграции, не таковы, какими описывали их даже правдивые и чуткие писатели дней минувших...

Где же тот новый "аршин", с которым можно и нужно подойти к Новой Грядущей России? Кто даст его Главе славной, великой Российской Династии? Не на нас ли "новых" и "новейших" лежит долг ответа на эти вопросы Великого Князя?

Он обладает способностью "раскрывать человека". Я чувствую это на себе. Через десять минут от моего стеснения уже нет и следа. Мне тесно в рамках "этикета", как я его себе представляю.

Будь, что будет! Я становлюсь окончательно самим собой, вскакиваю с кресла, жестикулирую, представляя в лицах тех, о ком рассказываю.

Исполняющий обязанности церемонимейстера Н. Э. Вуич знает меня давно и будет снисходителен. Но сам Князь? Но Его Августейшая Супруга?

Я с волнением взглядываю на них. Слава Богу! Во внимательном, вдумчивом взгляде Главы Династии я читаю, что именно этого полного "раскрытия" Он и хотел, а ласковая улыбка на прекрасном лице Великой Княгини ободряет меня еще больше.

Как быстро пролетают полтора часа! Сколько еще хотел бы и мог бы рассказать я о людях живущих "там"... но Великий Князь и так просрочил полчаса, предназначенных для другой встречи. Нужно откланиваться.

Тихий аристократический квартал Вечного Города, где не слышно ни авто, ни трамваев, снова принимает нас в свою лиловую полутьму.

Вот какой он, Иван-Царевич, — подвожу я итог своих впечатлений. — Итак... Сила? Есть. Большая внутренная духовная сила. Она видна. Любовь? Есть. Она чувствовалась в каждом вопросе. Глубокая, крепкая любовь. Знание тех, к кому Он призван притти? На это трудно ответить после всего одной лишь встречи, но стремление, явно выраженное движение к этому знанию высказано ясно и определенно. Раз так, придет и познание... "Аршин" будет найден тем, кто его ищет. Он — "перо Жар-Птицы", рассеивающее и побеждающее тьму.

Любовь и сила не могут не дать его Иван-Царевичу!

***

В лагере Пагани, куда я возвратился после двух дневной поездки в Рим, тайна органически не выживает. Да я и не делал тайны из цели своей поездки.

Тотчас же по приезде мой картонный параван подвергся штурму. В качестве передового отряда в него вступили оба мои коллеги, и экс-сербский конституционалист и экс-советский экс-марксист. Их сопровождала особа женского пола и мужской внешности, выполнявшая у нас в лагере функции цензора нравов и арбитра хорошего тона. Судя по ее рассказам, она была близка ко Двору во время оно, а там Бог знает...

— Ну-с... — атакует меня Барабанов, — каковы течения в звездных сферах? Доросли ли мы до конституции английского типа или все еще пребываем в первобытно-самодержавном состоянии?

— Великий Князь не обсуждал со мною столь глубоких вопросов, и я не смогу информировать вас.

— Жаль. При гарантии демократической конституции наша поддержка была бы обеспечена.

— Относительно английской конституции вы лучше с Селиверстычем поговорите. Каково его мнение и кого они поддержат!

— Кто это они?

— Колхозники.

— А, чернозем? Ну, он так черноземом и останет-

ся! Решать будем мы, интеллектуалы. История учит нас, что при всех переворотах роль эмиграции . . .

—Ну, и решайте себе на здоровье! — перебиваю я его трескучие сентенции.

— Спорить можете после, — прерывает нас некогда близкая ко Двору мужеподобная дама. —Я спешу. Скажите мне лучше, как была одета Великая Княгиня?

—В темном платье, а подробностей не помню.

—Самого интересного и не помните. Были на ней драгоценности?

— Может быть. Не заметил.

—Куда вы смотрели? — строго басит дама. —Ну, интересна она, по крайней мере?

—Очень. Больше того — обаятельна.

— У вас, мужчин, каждая юбка обаятельна . . .

— Меня вы в этом вряд-ли обвините, — оправдываюсь я. — Я во всем лагере ни одну женщину интересной не считаю.

Дернул же меня черт ляпнуть эту фразу! По лицу своей собеседницы я вижу, что у меня появился новый непримиримый враг . . .

— Ну, а вы о чем пришли меня спросить? — обращаюсь я к бакинскому коллеге, когда мы остаемся вдвоем. — Буржуазная английская форма правления вас не интересует. Об отношении Великого Князя к марксизму, что-ли?

—Бросьте шутить, — отмахивается экс-марксист, — Я же откровенно говорил вам: марксизм послал к черту еще в СССР, а другой догмы у меня нет. В голове кавардак какой-то . . .

— Так о чем же?

—Сам не знаю. Личность не играет ведущей роли в историческом процессе . . .

— Так какого же дьявола вам надо?

— Мне, собственно говоря, ничего не надо, — смущенно сознается бакинец, — я бы и не пришел . . . Меня жена послала расспросить вас. Странное дело, армянка, а убежденная монархистка! Впрочем, что-ж удивительного: у нас, армян, сепаратистов мало, а к монархии — симпатии . . . Понятно. Мы — народ практический.

Вечером, после окончания лагерных работ, я пробираюсь в госпиталь, к окну, перед которым летом росли девять кустов помидоров. Андрей Иванович еще там, его плеврит осложнился.

Здесь все уже в сборе. Весь "колхоз" налицо. Меня, видимо, ждали. Под кроватью запрятана контрабандная фиаска. Без нее какие-же разговоры?

—Ну, — говорит Селиверстыч, подавая мне аллюминиевую кружку, — промочите глотку да рассказывайте по порядку.

Я знаю, здесь общими фразами не отделаешься. Все надо обсказать, и как вошли, и как поздоровались, и как сели. Детально, обстоятельно нужно рассказывать, но только факты, а выводы сделают сами.

— Во! — радостно прерывает меня Селиверстыч, — говорите — на Александра Третьего похож? Такого нам и надо! Ты слышь? . . . — дергает он за рукав своего помощника по лагерной кухне власовца Петю. —Ты одну брехню о том царе слыхал, а я подлинно знаю. Мой батька в Закаспии действительную служил на Кушке, при Афганской границе. Ну, и повадились афганские банды наши посты обстреливать. Да. А командир у них был то ли Киселев, то ли Кононов, я уже не помню, но был боевой. Сделал засаду да как взял тую банду в переплет, так тридцать километров гнал и дотла всех их порубил. Да. Это все верно. Ну, может там и в самом случае границу перешли . . . Кто ее в песках разберет? Все возможно. А прочие державы, Англия там, Франция, турки требуют того полковника под суд отдать. За что это? Так царь Александр им без ответа, а ему шлет золотую шашку, всю в дорогих каменьях. Вот, мол, какой мой суд, а вас судить моих слуг не допускаю! Во! Это подлинный наш российский царь был! Самостоятельный! Своих в обиду не давал. Так вы говорите — похож? А в каком Он родстве Александру приходится? Внук, что-ли?

— От родного брата внук.

—Значит, так. Крови себя показывают. Такого и надо, чтобы не за плевок российского человека считали. Дальше как было?

30. TUTTI QUANTI! — BASTA!

— Пссст! Псст! Бамбулетти! Карини! Пссст! . . .

Я оглядываюсь. Бамбулетти и Карини — мои имена. Первое значит по-русски куколки, второе — хорошенькие. Мой боевой клич, звучащий на всех базарах от Салерно до Неаполя, прирос ко мне чем-то вроде родового имени. И прекрасно! Звучно! Эффектно! Чем, например, Бамбулетти хуже шекспировского Капулетти? Или Карини хуже героически-революционного Маццини? Даже красивее . . . Что же касается до значимости, так ведь и Медичи по-русски будет приблизительно Лекарев, князья Боргезе — Мещане.

Следовательно, опять не за что обижаться.

Но имя мое широко известно не только в апельсиновых рощах Пагани, Ночеро и Ангри, но и в пыльных (вековой пылью, конечно, не какой-нибудь обыкновенной) Помпеях и на пляжах Сорренто и Амальфи.

Что за чудное местечко мое родовое Пагани! Я ведь теперь, можно сказать, настоящим подлинным паганцем стал . . . Шутка ли, четвертый год сижу в этом богоспасаемом уголке, который мне отведен по неустанной ворожбе трудолюбивой бабушки Финика.

Я-то, дурак, в Аргентину лез! К счастью, список с моим именем в океане, говорят, потонул, в Чили сунулся — сантиметра роста не хватило, в Канаду — жена протанцевать перед врачем не сумела, в Австралию — лишние года оказались, так сказать, внеплановые . . . Теперь по инерции в США намереваюсь, но туда 20 кило веса недостает . . .

— Коли ты, паганец, со своих апельсинов разжиреть не смог, — сказал мне, насколько я сведущ в английском языке, врач-американец, — так и сиди в своем Пагани, наслаждайся . . . Вот тебе на первый раз три месяца сроку, а там увидим!

— Правильно, ол райт, мистер доктор, — ответил я, — у нас на Соловках тоже так: дадут тебе, примерно, три годешника, а там посмотрят — и еще пятерку добавят . . . Ай тенк ю, сэр! О'кей!

— О'кей! — повторил я, вернувшись к моему дру-

гу — соседскому ослу "Интеллидженто". —Чем плохо, амико? Пожелаем о бренности мира поразмыслить — до Помпеи пешком дойдем. Захотим упиться блеском наших великих дней, — пожалуйста: до Амальфи в филобусе всего 50 лир стоит, т. е. две с половиной сигареты "Кэмель" в международной валюте.

А в Амальфи! В Сорренто! Все, чего душа пожелает! Хочешь, примерно, Черчилля посмотреть — вот он с дочкой и зятем. Риту Хайворд? — Пожалуйста! Бенгальско-Бомбейского Ага Хана, Кентерберийско-красного декана или еще какого экзотического монстра? Извольте! Бесплатно! Нужно лишь сесть на лавочку перед часом прогулок и ждать, как на тетеревином току. Обязательно какой-нибудь мировой тетерев налетит, а то и всемирный глухарь. Так ведь, мой друг "Интеллидженто"?

Но я отвлекся.

— Бамбулетти! Иди сюда! Переведи, что здесь написано, — зовет меня друг-галстучник. Дело происходит на базаре в Ночеро. Вокруг галстучника еще пяток приятелей. Тут и перечник, и хозяин осла "Интеллидженто", и Антонио, пролезающий по вечерам к нам в лагерь сквозь проволоку и скупающий на корню дипийское барахло. Наутро чех-полицейский заплетает прорезанную им дыру, вечером он снова прогрызает ее.

В руку мне суют несколько сброшюрованных листовок гектографической печати.

— Ступиды! — ругаюсь я, взглянув на текст, — что, читать по-итальянски вы разучились?

— Ты сам ступидо! — орет Антонио. — Сюда, в угол смотри, в кружок!

Я протираю глаза, и есть от чего. В кружке по-русски:

"За Веру, Царя и Отечество! Слушайте, слушайте, слушайте! Русские Революционные Силы".

— Да-а-а-а . . . — Я перевожу и бегло просматриваю текст. В нем просто и ясно изложено на итальянском языке то, что мы все, темные люди, прекрасно знаем, но, увы! — до сих пор еще не усвоили просвещенные мореплаватели, гуманные торговцы с людое-

дами и лица прочих демо-социалистических профессий. Я читаю вслух:

"Довольно! Это первое слово, которое кричат крестьяне, рабочие и казаки, вырвавшиеся из когтей проклятого Богом и людьми Кремля. Баста!"

— Это правда? — спрашивает галстучник.

— Хочешь я тебе буду сейчас два часа орать то же самое подтверждение? — отвечаю я.

— Так ты же не крестьянин и не казак.

— Ладно. Спроси у Антонио, он всех у нас в кампо знает, много ли там русских крестьян и что они орут?

—Кроме Карини и еще одного старика, все русские там контадины. Мне ли не знать?

— И что они говорят?

—Ругают Баффоне всеми словами, какими Сан Антонио, мой патрон, угощал дьявола.

— Это крепко!

Но меня в данный момент мало интересует лексика диалога святого Антония с искушавшим его сатаной. Такую листовку я вижу в первый раз, но подпись — цифры и буквы Р.Р.С. пробуждают какие-то воспоминания.

Да . . . года два тому назад один очень известный и честный к тому же русский "прогрессивный" журналист полил грязью в одной очень ходкой русской газете организацию как раз этого имени. Признаюсь, я тогда ему поверил. Журналист, безусловно, честный. "Блеф, подумал я, кто-то забивает баки, может быть и не без Лубянки дело". Поэтому, несколько спустя, я встретил очень холодно двух парней, прибывших в наш лагерь из Греции. Они говорили мне о ней же, но совсем в другом освещении. Так почему же ошельмовал эту организацию честный "прогрессивный" русский журналист?

— "Брут ведь честный человек, хотя и всадил нож в спину выпестовавшего его Цезаря", — отвечает мне опыт страны, куда занесла меня судьба, а традиции Брута неотъемлемы от русского "прогрессиста", как хрен от разварного поросенка.

Один из этих ребят был в прошлом рабкором-комсомольцем, в дальнейшем власовцем, а в те дни — убежденным монархистом, отстаивавшим всею силою своей комсомольской диалектики основы монархического порядка против атак старых "прогрессистов" и неизвестного возраста самостийников.

Силою своей комсомольской подковки в диалектическом методе он крепко бил оторванных от российского сегодня "прогрессистов", но самостийники крепко побили его. Не доводами, конечно, а поленьями в темноте апельсиновых рощ лагеря. Монархического мышления у него, однако, не вышибли, и с ним он уплыл в Австралию.

— И казаки так говорят? — спрашивает перечник.

—Еще крепче ругают, — безапелляционно консультирует Антонио.

Слово казак по всей Италии произносится со страхом и уважением, а на юге еще с поднятым кверху указательным пальцем.

Север — от Болоньи и Флоренции до Милана и Турина — коммунистичен и богат. Юг — от Чивитта Веккия до синеющего за Сицилией моря — беден, католичен, монархичен и отчасти самостиен. Королевство Обеих Сицилий еще живет в его памяти. Его язык и быт резко отличны от севера.

—Для какой грязной свиньи нам римские болтуны? Мы — неаполитанцы и сами умеем говорить посвоему.

Это верно. Совсем по-своему, так что мне в начале паганского житья приходилось при помощи пальцев изъяснять торговкам самые скромные арифметические вычисления.

— Тре лире — уно лимоно! Дуе лимони — сей лире! Капито? Что ты, дура, по-итальянски не понимаешь, что ли? Давай сдачу с десятки!...

В ответ я слышал шипение, присвист и мяукание, очень далекие от октав Данте, но причитающихся мне четырех лир так и не получал.

Север наделяет южан кличкой: африканцы.

В начале прошлого века африканцы под предво-

дительством характерного для них сочетания вождей — кардинала Руффо и легендарного бандита Фра Дьяволо (бывшего монастырского послушника) угнали за Рим французских и своих доморощенных якобинцев. Правда, впереди них тогда шел дессант моряков русской эскадры, но о такой пустячной детали умалчивают даже учебники наших "прогрессивных" гимназий.

При плебисците 1947 г. округа Неаполя и Салерно голосовали почти на 100 % за короля.

— А ты не врешь, что у вас в Пагани настоящие казаки, а не пропаганда?

—Чтоб меня убило громом! Желаете убедиться? Вон в той остерии двое сейчас сидят, третий литр доливают. Там же и Альфонсо, что привез сегодня эти листовки из Рима . . .

Неудержимая страсть к бесплатным зрелищам — единственная традиция, унаследованная внучкой Италией от дедушки Рима. Настоящие живые казаки не каждый день попадаются в округе Салерно. К тому же бесплатно. Для такой фесты можно и торговлю прервать.

—Andiamo! Avanti, signori!

Все шестеро шагают под командой Антонио. Я тоже. Мне хочется порасспросить прехавшего из Рима Альфонсо. Но его нет. На столе лишь его дорожный мешок. Казак тоже лишь один. Это Селиверстыч из сравненной с землей и перепаханной большевиками станицы Полтавской, наш лагерный повар, застрявший, как и я, но по другим причинам. Весу в нем шесть пудов с гаком и столько же он поднимает каждой рукой, все зубное наличие в полном комплекте, росту сверх меры, но при освидетельствовании его таинственным инспектором американской комиссии он оказался колхозником и, следовательно, по мудрым утверждениям знатоков России и г-жи Кусковой, — коммунистом.

Баста! И добытый с огромным трудом ашшуренс и месяц беспрерывной толчеи по всем контрольным комиссиям пошли на смарку.

Это случилось неделю назад и, не имея возмож-

ности обрести истину в офисах великой демократии, Селиверстыч начал по испытанному способу искать ее на дне бутылок, для чего потребовалось вступить в бой с их содержимым. Эта битва идет уже седьмой день и, сопоставив размер месячной получки повара ИРО, стоимость литра вина и боевой пыл Селиверстыча, баталия, видимо, подходит к концу, с большими потерями для обеих сторон. Но...

— Есть еще порох в пороховницах, крепка еще казачья сила!...

Селиверстыч за столом один, но бутылок перед ним не три, а пять. Четыре пустых.

Антонио устремляется к мешку Альфонсо и с милой неаполитанской непринужденностью роется в нем.

— Вот еще листы! Даже портрет чей-то!

— Кто это? — суют портрет мне. — Подпись под ним английская... Ты прочтешь? А что за проволока нарисована внизу? Почему из-за нее тянутся руки в кандалах?

Этот портрет я знаю. Все мы, русские, в Пагани знаем его. Отчаяние, надежда и мольба протянутых из-за проволоки рук мне тоже понятны, но я не успеваю объяснить их приятелям.

Огромная волосатая рука, протянутая из-за моего плеча, выхватывает у меня портрет.

— Во! Он, как есть! — гремит по таверне бас казака Селиверстыча, и итальянские горластые бутылки вторят ему жалобным дребезжанием. — Знаешь, кто это? — поворачивается казак к галстучнику, уперши в портрет палец не тоньше хорошего зеленчукского огурца. — Это наш царь! Капито! Ностро ре! Тутти России! Владимир! Капито? У вас, чертей, и имени такого нет... А эти руки чьи? Наши руки — казачьи! Во!

Для лучшего усвоения итальянцами этой истины Селиверстыч бережно кладет на стол портрет Наследника Престола и засучивает рукав.

— Моя рука! Вот эта!

Зеленчукские огурцы неожиданно превращаются в хороший арбуз кулака, который медленно проплывает мимо шести неаполитанских носов.

— Он царь, а мы — казаки! Тутти кванти!

Скажи нам царь одно лишь слово:
— А ну-ка, дети — казаки!
И все казачество готово.
Содвинуть в бой свои полки!...

За раскатами баса следует столь же громовой удар по столу. Пять бутылок и шесть итальянцев подпрыгивают.

— Думаешь, не стало нас, казаков, распропаганская душа твоя с тебя вон! Кончились, думаешь?

Арбуз вдруг превращается в точное подобие тех клещевых крючьев, которыми дьяволы тянут в котлы грешников на древней фреске в притворе Ночерского собора... Неприятные обязанности грешников на этот раз приходится выполнять галстучнику и перечнику. Селиверстыч встряхивает ими в воздухе, осторожно ставит их на свои места и вновь забирает обеими руками портрет, вздыхая, как орган в том же соборе.

— Душа из вас паганская вон! Он — царь! Мы — казаки! Одно слово... уна пароле — и баста! Тутти кванти.

Я и шесть неаполитанцев выходим из остерии в невероятной для них тишине. Выйдя, мы останавливаемся, и шесть пальцев поднимаются вверх:

—Lo Zar!

Пальцы опускаются на мгновение и снова взлетают к синему небу Ночеро.

—Kosacki! Tutti quanti! Basta!

31. ООН В МИНИАТЮРЕ

—Господжа Васильев Ольга код капитана Тьене! Господжа Васильев Ольга код капитана Тьене!

Диктор лагеря Баньоли, хрипя, кашляя и отплевываясь, по два раза на каждом из трех языков надры-

вается в призыве госпожи Васильевой. Он орет по-итальянски, по-немецки, по-сербски, но, конечно, не по-русски, хотя в населении транзитного лагеря русские составляют зачастую большинство.

На этот раз прибыть немедленно код капитана Тьене, коменданта лагеря, приглашены одновременно три русских женщины.

Это уже сенсация, подлежащая широкому обсуждению на центральной площади кампа, где с утра до ночи толчется его праздношатающееся, томящееся от скуки, чающее узреть туманные контуры своего будущего, население.

— Почему разом трех? Отправка в Канаду? Персональная?

— Да нет. Какая там Канада! Разве вы не слыхали?

— Насчет Бразилии?

—В Бразилью зовут Инезилью, а нашу Матрешку — на картошку... Подрались они, эти три грации сегодня утром. Скандал на весь блок. Заработают суток по десять картошки Дездемоны эти!

— Из-за чего же?

—Не чего-же, а кого-же... Вон он, этот "чего", казус белли идет!

Казусом оказывается мой старый знакомец по Чине-Читта и прочим этапам скитаний — "князь" с неопределенно громкозвучными фамилиями и рукавом, залепленным столь-же неопределенными эмблемами, верноподданный краля Петра Второго. Он гордо и надменно шествуют по плацу, видимо, очень довольный оказываемым ему вниманием.

— Чем же он, собственно говоря, мог прельстить разом три сердца? — с сомнением спрашиваю я. — Если титул, так кому он теперь нужен?

—Дело не в титуле, а в подданстве. Русским ходу нет, а сербы везде приняты... Ваш приятель Барабанов тоже ведь за счет своего сербского подданства кралю себе подхватил, "новенькую", теперь катается как сыр в масле. Она — зубной врач, все дороги открыты, да и здесь работает, сорок тысяч получает, да комнату отдельную... Ловко? За "князем" эти три дуры гоня-

ются, а он джулианку, лет пятидесяти обхаживает. Для итальянок и титул играет роль. У нее же — вилла под Триестом . . .

— Врет, наверное . . . Какая там вилла!

— Может и правда. Эти джулиане что теперь весь лагерь забили, все с деньгами. У большинства свои дома в Горице, в Удине, даже в Венеции . . . сады коммерческие, земли в аренду сданы. Сами рассказывают.

— Чего же они тогда в нашу помойку лезут?

— Эх! Какие вы все "новые" идеалисты. До сих пор европеизироваться не можете. — Поучает меня уже умудренный европейским стажем собеседник. — Это у вас, если заведется тысченка долларов в кармане, вы сейчас за свой счет в Канаду! А у них и по пятьдесят тысяч есть, а сидят здесь и ловчатся на дармовщинку выехать.

— Сидеть-то в этой куче каково!

—Вам — "каково", вы у себя на Соловках к самосозерцанию приучены, а джулианцу — самая жизнь: делать нечего, макароны даром дают, треплет языком целый день — сплошное удовольствие, и умирать не надо. Это его европейский идеал.

— Чего же их ИРО принимает? Какие же они "перемещенные лица"?

— Эх вы! А еще своей политграмотой кичитесь! Вот она вам подлинная европейская демократическая политграмота. Раньше Италия знатных иностранцев обирала, теперь таких — жук наплакал, кончились. Значит, приходится с профугов через ИРО тянуть. На всех хлебных местах в ИРО итальянцы. По сто, по сто двадцать тысяч получают, а профуг на том же месте шесть-восемь тысяч получал . . . Даже шоферов из наших запретили брать. Бери итальянца и плати ему сорок пять тысяч на полном содержании. А наш, хоть с парижским дипломом, иди уборные за шесть тысяч чистить . . . Вот она, политграмота-то настоящая!

***

Лагерь Баньоли под Неаполем — транзит для всех итальянских лагерей. Отсюда выезжают за океан не

только ди-пи — "итальянцы", но и прибывают партии из Германии, Франции и Австрии. Поэтому и время в Баньоли отмечается особо.

— Это было, когда "греков" везли, — определяет какой-либо старожил хронологическую дату.

— Нет, "греки" тогда уже проехали, а чехи густо шли и джулиане начались, — возражает другой.

— Не было еще джулиан, — вмешивается третий, — куда вы с ними лезете. Чехов хвост еще тащился, "австрийцев" вывезли, а "француз" пер в Канаду . . . Новая Зеландия тогда уже приезжала вместе с мадам Шауфус . . .

Расположено Баньоли на самом берегу залива в бывших казармах артиллеристов Муссолини, в семи больших, некогда прекрасно оборудованных корпусах и десятке строений поменьше.

Нижние этажи всех блоков заняты учреждениями ИРО и представительствами всех стран, куда ди-пи не выпускают без соответствующих сертификатов. Для заготовки этих сертификатов требуется при большой удаче месяцев пять, неудачники-же бегают за ними года по два при ежедневной восьмичасовой занятости.

Я лично был в Баньоли четыре раза и жил в нем месяца по два-три, наблюдая всю эволюцию его быта. Кормили всегда очень скверно, загоняя в грязные, тесные столовые и запрещая готовить что-либо в помещениях или выносить из столовой. Поэтому в 1948 г. у дверей столовой стояли шеренги голодных мужчин с протянутыми мисками, в эти миски им сваливали объедки.

— Грацие . . . Хвала лепа . . . Благодарю вас . . . — вежливо благодарили на всех языках.

Рядом с ними стояли демократические полицеи с демократическими же ременными плетьми. Эти плети отличались от прежних казачьих большей длиной и полновесностью, но сплетены были много хуже.

В 1949 г. голодающих стали разгонять, демократические плети упразднили и вместо них ввели элегантные белые дубинки. Кормили столь-же скверно.

Населения в Баньоли в среднем тысячи три. Полиции в нем в среднем 200-250 человек, не считая отряда

итальянских карабинеров. К сведению некоторых читателей напоминаю: в "полицейском государстве", Царской России, один урядник обслуживал волость в 12-15, а то и 20 тысяч населения. Камповские полицейские стоят по-одиночке в каждом блоке и у каждых дверей сколь-либо значительных чиновников. Если у вас дело к укрытому за дверью чиновнику, то вы должны его прежде изложить охраняющему дверь полицею. Вряд-ли он вас поймет, ибо обычно говорит только по-сербски, но выслушает и скажет:

— Почекай.

Вы будете "чекать" час, два, пока лицезрение вашей физиономии полицею не надоест. Тогда он вас впустит.

Чиновник ИРО всегда очень занят. Он перекладывает с места на место груды бумаг. Вы опять "чекаете" минут десять-пятнадцать... Наконец, изложите свое дело. Он ответит:

— Приходите в пятницу ровно в десять, — и запишет это в блокнот.

В назначенный срок его в кабинете не окажется, и в понедельник (суббота — день нерабочий) вы снова начнете милую древнюю сказку про белого бычка.

В шести столовых полицеи стоят группами по три человека: один у входа, второй у окошка выдач, третий у выхода. Два первых проверяют вашу пищевую карточку, после чего она, наконец, попадает к повару, который штампует ее гвоздем, третий — у выхода — проверяет, не вынесли ли вы с собой остатки пищи и не попытаетесь ли поглотить у себя в помещении безвкусную несоленую картошку, приправив ее перцем, солью и луком. Подобное вольнодумство — большое преступление в лагере Баньоли. Оно обойдется вам не менее, чем в пять суток картофельных принудработ на кухне. Радио ежедневно предупреждает о том новоприбывших.

Сколько интересных неожиданностей встречают в лагере Баньоли перманентно перемещающиеся уже шестой год лица! Приезжает, например, семья. Самая обыкновенная, так сказать, нормальная: отец, мать, сын се-

ми лет и дочка двендацати лет. Приехали, как ехали, все вместе. В Баньоли дело иное. Мать с дочкой идут в один блок, в общее, человек на триста, помещение, отец — в другой. По поводу сына происходит совещание: по половому признаку он должен быть с отцом, а по возрастному — с матерью. Трудный вопрос! Для его разрешения сам царь Соломон требуется. После долгих прений между четырьмя регистраторами половой признак торжествует. Вещи же идут в тунель — общелагерное хранилище, за исключением мелочи.

Часто таким новоприбывшим хочется умыться с дороги. Что поделаешь — привычка!

— Беги к матери, — говорит отец сыну, — возьми у нее полотенце и носки свежие.

— А где она?

— Поищи по корпусам.

Час поисков результата не дает, но, к счастью, на плаце встречается сестренка.

— Я к вам за полотенцем и носками для папы.

— А я к вам за мылом . . .

Слава Аллаху, связь установлена!

— Мама, папа носки просит.

— Какие еще носки! В чемодане они, а чемодан в каком-то тунеле . . .

— Ты дай ключ, я сбегаю в тунель и сам возьму.

— Справлялась уже. Для входа в тунель особое разрешение от капитана Тьене требуется . . .

Бедный капитан Тьене! Сколько ему работы! Не зря перед его дверью два полицея стоят. Одному не управиться с такою толпой.

— Позор! Позор! — вопит лагерное радио.

— Это кого он пробирает? — спрашивает меня окончательно обалдевшее от всех регистраций и перерегистраций новоприбывшее из Германии перемещенное лицо. —Не мы ли что-нибудь против правил сделали?

— Не волнуйтесь, — отвечаю я. — Это не проборка. Позор — по-сербски — внимание.

— А кому же этот позор?

— Ну, в такие глубинные изыскания я не пускаюсь.

* * *

— Русских книг в библиотеке ни одной; газеты у вас не допросишься, все своим мужикам раздаете, так от нечего делать я статистикой занялся, — сообщает мне коллега Петросян.

— Дело хорошое. А что же вы, собственно говоря, учитываете?

— Время.

— То есть?

—Сколько его здесь, в Баньоли, тратится производительно и сколько уходит впустую.

—Каковы же ваши выводы?

— Средние показатели за пять недель таковы: исходя из восьмичасового рабочего дня, полезных затрат, считаю сюда и еду, — один час двадцать семь минут. На всякого рода "чеканье“ — у дверей чиновников, в столовой, в умывалке и т. д. — шесть часов тридцать три минуты в день . . . По часам точно отмечал за все пять недель.

—Ну и терпение у вас!

Рядом с нами на лавку садится женщина. Она приволокла туго набитый соломой матрас. Ее дочурка сваливает на него пачку рваных порыжелых одеял.

— Ох, уморилась! — ни к кому не обращаясь, говорит женщина. — Тележки стоят, а не дают их. Волоки с километр до блока, а там на третий этаж поднимай. Уморилась . . .

Отдышавшись, она продолжает:

— Третий раз на отъезд вызывают. Все чистки прошла, и консула, и инспектора, а пароходного номера опять не дали . . . Ну, что будешь делать? Муж второй год, как из Канады выписывает . . .

Она поднимается и снова тянет свой матрас по пыльному асфальту двора, а на ее место садятся две итальянки. Как им и полагается, каждая выпаливает сто слов в секунду.

— Вы понимаете джулианское наречие? — спрашивает меня Петросян.

— Плохо. Да и неополитанское тоже.

— А я привык уже. Переведу вам. Вон та, помоложе рассказывает, что третьего дня только приехала в лагерь и уже номер пароходный получила. Хвастается, что разом нашла того, кому дать надо.

— Что-ж удивительного? Здесь все так. Даже очень интересные анекдоты получаются. Доктора Борегара знаете?

— Это тот, что от ИРО нас обследовал? В тюрьму его на днях посадили.

— Его-то посадили, а "зарезанные" им так и остались с каиновой печатью, без выезда. Так вот, этот доктор рентгеновскими снимками торговал. У здорового возьмет и туберкулезному продаст, а тому — наоборот. Пойди докажи . . . Дело выгодное.

— И попался?

— Заторопился должно-быть и шестидесятилетнему старику снимок двадцатилетней девицы продал. Американские врачи как захохочут! . . . О'кэй, вот так омоложение! Ну, и сняли его.

— Ничего удивительного. Бравина помните? В Сан-Доминго он за свой счет уехал. Почтенный такой старик, коммерсант. Помните? Так он дать не захотел, и вдруг на седьмом десятке у него сифилис обнаружился.

— Но все-таки уехал?

— С шестимесячной задержкой. Полный курс лечения прошел. Очень крепкий старик, прижимистый. "Черт с ними, — говорит, — хоть ведро сальварсану в себя приму, а не дам . . ." Характер! А? Ну, я вам о своей статистике доскажу. Окончательные выводы таковы: вполне понятно, что при такой работе вся мощь великих демократий уже пять лет не может нас, одного миллиона ди-пи, по миру развезти. А Гитлер и Сталин целыми республиками, да еще в военное время, как мячиками, перебрасывались.

— Мне это и без вашей статистики понятно.

— Ну, а вот это наше Баньоли, вся эта бестолочь, боязнь принять на себя самую ничтожную ответственность, таскание из офиса в офис, рогатки, на каждом шагу рогатки, больше, чем в СССР рогаток, — все это что вам напоминает? Так сказать, в мировом масшта-

бе? Все эти оттяжки и затяжки? Что? В мировом масштабе . . . Что?

Я думаю недолго.

—ООН! — уверенно говорю я. —Точка в точку! Угадал? Только там еще хуже. Маликово вето действует.

— А здесь его, думаете, нет? И здесь его хватает. Вот подождите, еще нас с вами, нашу эмиграцию невзначай прихлопнут.

Практический человек мой коллега Петросян. Много у него здравого смысла и реального подхода к создавшейся ситуации.

— Удивительное дело, — продолжает он. — ведь, смотрите, американский налогоплательщик действительно нам помочь хочет, он действительно от себя отрывает, чтобы собрать эти сотни миллионов, а во что эта помощь здесь превращается? Куда здесь эти миллионы идут? Кричат о правах человека, а сами его жмут, где только и как только могут.

— Молоды вы еще, потому и удивляетесь. А я с 1917 года эту картину наблюдаю. Во всех ее разнообразных аспектах. Все в порядке вещей. "Кто говорит, что любит человечество, тот не любит человека", это еще Блаженный Августин 1500 лет тому назад писал. Мудрый был старик, прозорливый.

32. ДЕВИЧЬИ МЕЧТЫ ПРОФЕССОРА КРИНИЦЫ

Случилось так, что все трое моих коллег разом получили долгожданные визы и пароходные номера. Петросян и Барабанов ликовали, Криница особого энтузиазма не высказывал.

— Как-никак, а тут все-таки жили . . . А там что ждет?

Накануне их отъезда собрались попрощаться в од-

ной из баньольских полутемных, безоконных закуток. Справа за картонной перегородкой с необычайным для его возраста трудолюбием выл джулианский младенец, призывая запершую его и сбежавшую судачить с приятельницами мать. Слева слышались страстные реплики происходившей там семейной сцены. Определить национальность ее участников было трудно, так как ругались равно ярко и эрудированно на трех языках. На обоих концах коридора соревновались два радио: одно пело по-английски какой-то псалом, а другое по-итальянски убеждало кушать только сыр "Мио"...

— И это по вашему жизнь? — ответил Кринице Петросян. — Как вы думаете, посадить бы сюда хоть Толстого или Маркса, много бы они написали?

—Мы не Толстые, — со вздохом ответил Криница, — мы люди маленькие.

—"Цыпленки тоже хочуть жить!" Нет, лучше уж в грузчики, в подметайлы, бутылки с неграми мыть, да только вон отсюда! В Сахару! На полюс! К черту! В лагере я постоянно чувствую себя оплеванным! А кричат о свободе личности... — взрывается Петросян.

— Заедем в Америку, а потом оттуда назад ехать, — не унимается Криница.

— А куда это — назад?

— А в Россию. Теперь уже можно с полной ясностью...

— Тридцать лет у вас эта ясность! Ну, допустим, война, переворот и все прочее...

— В тот же день выеду.

— Куда?

— Как куда? К себе. В Запорожье, на Днепр.

— А там что делать будете?

—То же, что и раньше делал, до отъезда.

— Эх, милый вы мой Василий Игнатьевич, — вмешиваюсь я, — да ведь "вашего"-то Днепра нет больше, и порогов нет, и "вашего" дела там нет, такого, в том виде и форме, как вы его тридцать лет тому назад делали.

— Это вы о всяких сдвигах, реформах и прочем? Все это — большевизм. Мы повернем.

— Как раз! Повернули! Нет, дорогой, тридцать лет жизни назад не поворачиваются.

— Так что-ж, мы, по-вашему, за бортом, — вмешивается Барабанов, — нам и места в освобожденной России не найдется?

— Это как сами пожелаете. Только для этого места не повернуть, а самим повернуться надо, "тихую украинскую ночь" забыть, а с нею вместе и еще очень многое, то, что вы в своих чемоданах прихватили и до сих пор с собой таскаете. Не вам одним, но и нам, "новым", тоже. Думаете, эти пять ировских лет для нас даром прошли?

— Переходя в плоскость политики, — дидактически начинает Барабанов, — не будете вы отрицать, что авторитет народных избранников будущего учредительного собрания . .

— Матрос Железняк уже раз вам эту авторитетность подтвердил.

— . . . созванного на основе всеобщего, тайного, равного . . . — продолжает отстукивать Барабанов.

— Да кто обеспечит вам это всеобщее, тайное, равное-то?

— Значит, по-вашему, нам надо складывать руки?

— Отнюдь нет. Наоборот, действовать ими с максимальной активностью, а заодно и мозгами и ушами тоже. Слушать внимательно, чутко слушать, что вот эти Андреи Ивановичи, Селиверстычи, Коли, Пети, Феди — все наши баньольские, паганские и прочие знакомцы говорят, что думают. Нет, не нас с Петросяном. Мы оба уже люди порченые, а их . . .

— Вы отметаете общественную роль интеллигенции.

— Ничуть, но я вижу ее не в навязывании массам своих рецептов, кстати сказать, безнадежно устарелых, как "слева", так и "справа", но в улавливании и оформлении того, что происходит сейчас в душе этого Ивана . . . Селиверстыча . . . Михайлыча и т. д. Вот в чем, дорогие коллеги!

— Поспорили и хватит! — примирительно резюмирует Петросян. — Все равно до конца не доспорите, а вставать завтра рано . . .

Мы пожимаем отъезжающим руки и искренне, сердечно обнимаемся. Как-никак, спорим, ругаемся, а все-таки — русские! Все!

Оба радио вдруг дружно переключаются на передачи оркестров. Одно затягивает томный венский вальс, другое стучит, скрипит и высвистывает сногсшибательный джаз. Это — голоса Европы.

Темпераментные супруги за картонной перегородкой ругаются уже на четвертом языке. Кажется, по-албански.

33. ДЕСЯТЫЙ КРУГ ДАНТОВА АДА

Как наивны и примитивны были люди темного средневековья!

Вот, к примеру, хоть Данте. Ведь он мировое имя себе составил, описывая всякого рода мучения и пытки. Детально описывал, углубленно в каждую мелочь входил, видимо, досконально изучил это дело на тогдашнем уровне его техники.

А какой это уровень? Подлинно средневековое мракобесие; полное отсутствие культуры. Смешно даже. Вот, например, девы Данаиды. Они что, судя по Данте, делают? Льют себе и льют воду в бездонную бочку. Да какая-же это пытка? Какой-же ировский (и не только ировский) современный чиновник не занят тем же самым? Каждый. И очень своим делом доволен. У него даже сложнее задача: Данаиды все-таки воду ведрами черпали, а он из пустого в порожнее переливает.

Или какой-то там грешник, Сизиф или Тантал, бревно на гору волок. Доволочет до вершины, а оно — хлоп! — Вниз полетело. Тащи опять . . .

И это пытка? Каждый дипиец посложнее задачи выполняет с тем же успехом. Запишется хотя-бы в Бразилию и начнет бревно катать из комиссии в комиссию, с

регистрации — на анализ мочи, обследуется весь полностью, изнутри и снаружи, проверится по всем политикам, сотню автобиографий себе выдумает. Совсем уже готов... до консула дотянул. И моча и политика — все в порядке. А консул ему:

— Катись ты к..., как Дантово бревно!

И снова под горкой...

Или вот еще у Данте два какие-то чудака глотки друг другу грызли и никак перегрызть не могли. Пустить бы их в лагерь! Разом бы у них головы начисто отлетели!

Ни черта не стоила средновековая техника!

То ли дело теперь, хотя бы в лагере Баньоли. Тут дипийцы, чающие переплыть океан, разом и воду в бездонную бочку льют, и бревна катают; и сами друг дружке глотки грызут и со стороны их кто-то еще покусывает...

Вот это достижение культуры! Высоты гуманизма! А Данте — что? Кустарь-одиночка и ничего более.

***

Зубы мне начали подсчитывать еще в 1945 г., когда я первый раз в Чине-Читта попал и определенных планов на будущее, кроме охраны своего черепа, не имел. Процесс этот для меня не очень сложный, так как обе мои челюсти искусственные, изготовленные в Германии. Очень хорошие челюсти, но, конечно, требуют для оценки себя отзыва специалиста. Направили к специалисту. Зарегистрировали. Поставили пяток штампов. У специалиста снова зарегистрировали по всем пунктам, подождал там сколько полагается и, войдя в святилище, вынул обе челюсти.

Ассистент просчитал зубы, специалист проверил подсчет. Снова зарегистрировали.

В дальнейшем мои зубы подсчитывали для Аргентины, Венецуэлы, Чили, Перу, Бразилии, США, Канады, Австралии и раз двадцать без точных географических преспектив. Очень хорошо считали. Всегда одно и то же число получалось. Точно.

А вот рентген какие-то камуфлеты выкидывал. То все в полном благополучии объявит. Потом, вдруг, обнаружит ТВС обоих легких... А на следующем просмотре — снова благополучие. Очень капризный этот доктор Рентген, вероятно, трудно приходилось его супруге!

Сколько полезных и ценных сведений приобрел я за унрра-ировское время! Темный я до того был человек, некультурный, ничего не знал.

А теперь все знаю! И давление крови, и кислотность мочи, и белки, и желтки, затемнения, замедления, артриты, гастриты, уретриты...

Как прекрасен Божий мир! Сколько в нем таинственного, чудесного, непознанного! Сколько путей ведут к его постижению.

Вот, например, канадский врач в Баньоли идет к нему путем Жака Далькроза, ритмическим. После всех механических, бактериологических, микроскопических и прочих анализов он сам лично осматривает избравших его страну мужчин и женщин, осматривает, конечно, в полностью натуральном виде, то есть, как мать родила.

После соответствующих прощупываний, простукиваний и просматриваний переводчик командует:

— Отведите в сторону левую ногу и делайте ею круги! Так. Теперь правой!

Канадец созерцает и подсчитывает ритм.

— Уан, ту, три...

— Теперь руки в стороны и делайте правой треугольник, а левой квадрат!

— Уан, ту, три, фор...

— Плавно вращайте торсом! Приседайте!

Жена моя наотрез от этой ритмики отказалась, и Канада исчезла с нашего горизонта, но соседка по паравану, старуха-хорватка, ехавшая с двумя внуками к сыну — лесорубу, протанцевала не хуже Лифаря. Не даром же говорится: нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет.

**
*

Сколько я раз регистровался и сколько написал биографий сказать точно не могу. Для этого высшая математика требуется, сочетания там разные, интегралы, бесконечности . . . Я этой премудрости не учен.

Вот география — другое дело. Я ее теперь крепко вызубрил.

Во-первых, для уточнения прошлого.

— В 42-ом году вы были в Ставрополе, — спрашивает некто в сером, — а в 44-ом в Берлине. Перечислите точно, через какие города вы ехали.

— Через Кавказскую, Ростов, Николаев, Одессу . . . Пшемышль, Бреслау . . . — уверенно рапортую я. Теперь у меня все это продумано до конца, сведено в стройную систему: и на какой улице жил, и где обедал, и откуда деньги на обед брал . . . Теперь меня никто не собьет, а первое время путался. Спросит, например, некто:

— На какой улице вы жили в Бреслау?

А вы в этом Бреслау и не были никогда. Но отвечайте твердо:

— На улице Фридриха Шиллера номер 606! — и уже потом не забывайте про этого старого романтика, в тетрадочку запишите. Он, Шиллер этот, обязательно на одном из следующих допросов опять выскочит. Спутаете его с Гете, — кончено ваше дело. А, главное, не забывайте того, что этот некто, безусловно, безграмотнее вас на какой-бы низкой ступени ликбеза вы ни стояли.

Проходя цикл практикумов по изучению демократических свобод, не забывайте тщательно следить за диалектикой их трактовки.

—Кого сегодня режут? — спрашиваю я выскочившего из дверей.

— Колхозников дорезают и профсоюзы подрезывают! Меня за колхоз в коммунисты зачислили.

Ну, это мне не страшно. Колхоза в моем историческом повествовании нет, а вот о профсоюзах надо подумать.

И хорошо, что подумал во-время.

— Вы преподавали в высшей школе, — говорит некто, — следовательно, состояли в профсоюзе.

— Нет, — уверенно отвечаю я, — не состоял.

— Как же, ведь там это обязательно?

— Для полноценных граждан обязательно, а лишенцев, наоборот, в профсоюзы не принимают. Теперь считайте: с 21-го по 32-ой год я в ссылке. Это у вас отмечено. Добавьте пять лет поражения в правах, но в 34-ом я снова сослан до 37-го и еще пять лет поражения... Точно, как в аптеке!

Переводчик спускает три пота, разъясняя термины "лишенец", "пораженный", контролирующему нас великому знатоку русского вопроса. Наконец, я слышу:

—О'кэй!

—Сорвалось с профсоюзом? — отвечаю я по-русски с самой любезной улыбкой. — Накось, выкуси!

Консулы, те любят говорить на культурные и гуманитарные, даже научные темы.

— Сколько ног у паука?

или:

— Какой сорт салата вы предпочитаете?

Бывает, что и сбивают.

— А кто эти сорта знает? — думает иной колхозник. — В Воркуте они не растут...

Но меня на этом не срежешь! Мы даже о Пикассо с консулом поговорили. Глубоко эрудированный консул мне попался.

Оставался только инспектор. Личность таинственная и до сих пор не разгаданная, как сфинкс. Но повидать его мне не пришлось. На доске объявлений американской регистратуры появился список в 105 фамилий. Все это были свои люди, бывшие и сущие паганцы. В том числе и я сам.

Перед перечнем стояло краткое извещение о том, что все лица, побывавшие в госпитале Пагани на излечении от какой-либо болезни легких, **в США безусловно не допускаются.** Таково решение особой специальной комиссии.

—Вот так фунт! Не мытьем — так катаньем! — присвистнул я.

Позади кто-то крепко выругался по-русски, потом по-сербски и для полной ясности еще по-итальянски.

Кое-кто из еще сохранивших в некоторой чистоте детскую веру в логику и здравый смысл сунулся в Русский Комитет Владыки Анастасия. Там возглавляющий его молодой человек хлыщеватой наружности и солидаристической внутренности заверил их, что "будет сделано все возможное", а, кроме того, он приобретает на такой случай ферму в Пиринеях, куда он только что ездил . . .

Пиринейские песни мы слушали уже третий год, и они изрядно надоели всем, кроме их исполнителя.

Что-ж теперь? Оставалось лишь покрутить головой или еще раз выругаться на трех языках . . .

**
*

— Подведем итоги и выясним ситуацию, — говорю я жене.

—Подводи, не подводи, а писаться нам некуда больше, — отвечает она.

— Не решай преждевременно. Ты географию плохо знаешь. Есть такие республики, которые и на картах не обозначены. Сан-Марино, в Пиринеях еще какая-то. Кроме того, есть вроде Либана или Хайдерабада . . .

Черт их знает, где они находятся! Может туда запишут. Рассмотрим вопрос углубленно. Прежде всего, краткий исторический обзор с года 1946-го, когда в Аргентину писались . . .

— Под девятым номером, как сейчас помню.

— "Первые да будут последними". Именно этим текстом и руководился И. Л. Новосильцев, задвигая нас с номера девятого в самый конец. А ты не ропщи. На твое место серб попал. Не какая-нибудь шпана, а с долларами.

— И "либеро сбарко" пришло тогда, когда отправку уже закрыли . . .

— Ладно. Дальше Венецуэла. Не подошел по специальности. Сам дурак был еще тогда. Чили — ростом не вышел. Перу — лишние члены семьи оказались. Парагвай — чего-то в кармане не хватило, чтобы в группу попасть. Бразилия, Австралия, Нью-Зеланд разом отпа-

ли по возрасту. В Боливию — веса не хватило. В Канаду по твоим хореографическим способностям не попали.

— Все равно бы не пустили! — оправдывается жена.

— Так. Теперь США. В 1949 г. князь С. С. Белосельский-Белозерский, белый ашшуренс прислал. Его не признали. В это время Труман новый закон утверждал. Утвердил. Князь второй, теперь уже зеленый ашшуренс прислал. Пошло дело . . .

— Пошло, да не вышло.

— Погоди, погоди . . . везде точность нужна. Слушай, у меня все записано: 37 посещений офисов по вызову, к ним 102 регистрации. Медицинских процедур у меня 21, у тебя 16, у Лоллика 15. К ним 62 регистрации. Присяга американскому флагу в том, что я не мошенник. Десять отпечатков каждого пальца на тот случай, если я мошенник. Курсы птицеводства, экзамены по садоводству, практикум по пчеловодству. Итого — три диплома . . .

— Кончай, — кричит жена, — у меня мигрень начинается!

— Ладно. Переходим к текущим делам. По существу, писаться больше некуда. Весь земной шар исписали.

— На итальянскую экономику выйти?

— Прикрыто. Своих в ИРО суют, все места заняты. Разве не видишь.

— На германскую?

—В Германию из Италии нас, дипийцев, не пускают.

— В Швайцарию туберкулезных берут. Туда может быть?

— Какой там черт! Доктор Орио хохочет над моим туберкулезом. “Покормить бы вас месяц говядиной, — говорит, — так на ринг можно ставить! Дыхание, как у лошади!”

— В дом старости куда-нибудь?

— Туда сверх 65 берут, а я малолеток, всего 61.

— Инвалидность какую-нибудь выдумать?

— Поди, выдумай!

— Трудновато, — смотрит на меня с сожалением же-

на, — никакого уродства. Как это ты раньше покалечиться не догадался!

—Итак, выносим резолюцию: мы находимся в полном и безвыходном окружении всеми видами и подвидами всех демократических свобод. Выбирай любую. Ганц капут и аллес ферботен.

— Да. Теперь-то на самом деле ферботен. Не проскочишь. Это тебе не зверства нацизма!

34. "ПОВОРОТ МЫСЛЕЙ"

Когда слух о том, что Никита Сорин подал заявление о рапатриации, разнесся по лагерю, вокруг него образовалась пустота, мертвая зона.

— Вот и понимай человека после этого, — развел руками Андрей Иванович, — никак я на это от него не надеялся, а три года его знаю.

— Тонко себя держал! Все выспросил, разузнал доточно, а тогда и объявился. Теперь держись!

Многие приуныли. У кого же из русских ди-пи нет основания бояться даже теперь, в 1951 году, когда мир уже явно распался на два враждебных лагеря? У иных остались "там" семьи, родственники. Другие до сих пор еще живут под "псевдонимами" и не раскрывают их из страха сорвать себе возможность эмиграции. Да и советчики нет-нет, а дадут о себе знать: то пригласительное письмо пришлют из консульства, то сам замконсула в Неаполе полк. Глинчиков провизитирует лагеря. Прежнего страха нет, но по нервам скребет.

Никита был одним из нашего "колхоза" и вместе с нами совершал ировское коловращение по лагерям. То встретимся с ним в Пагани или Иези, то вновь таинственные соображения ИРО нас разведут в разные стороны, но я знал его еще в доировское время, в Толмеццо.

Казаком он, курский колхозник, не был, а попал в казачьи формирования, уже послужив в немецкой фельд-жандармерии, из госпиталя, где лежал раненым в бою с советскими партизанами. Здесь он, став уже старшим урядником, лихо гонял итальянских партизан по теснинам Фриулийских Альп, потом в Лиенце вырвался из кольца английских автоматчиков, переплыв под огнем реку, около года метался по Тиролю и Северной Италии, снова попал в капкан Римини, но снова выскочил и из него, проползши под проволокой накануне выдачи . . . В прошлом — комбайнер, парень ловкий и работяга; теперь — электромонтер, всегда на службе ИРО, в деньгах не нуждается.

— В чем же дело? Где он сейчас? — спросил я.

— В остерию пошел. Знаете, в ту, где беседка виноградная. Только вы к нему лучше не ходите. Всякое может случиться.

— А чего мне бояться? Глинчиков обо мне лучше меня самого осведомлен, а родичей "там" у меня нет.

Никита сидел один перед непочатой бутылкой.

— Проститься со мной пришли, — встретил он меня, — что-ж, седайте . . . А на мой счастливый путь выпьете? — злобно схватил он бутылку.

— Налей. Каждый человек своего счастья ищет. Ну, а ты-то в своем уверен?

— В точности его знаю.

— Думаешь, замолил грехи? Ждет — не дождется тебя "горячо любимая"?

Глаза Никиты засветились, как у рассерженного кота. Сжал кулак, но сдержался, только по колену себе им стукнул.

— Вы про это лучше оставьте. Не замаливал я своих грехов и замаливать их не буду. Брехня это, буза . . . Я и Глинчикова-то в глаза не видал, а в ИРО заявление подал.

— Так на что-ж ты надеешься? В чем же твое счастье?

— Десятку Колымы дадут, вот и счастье будет, коли двадцать пять не отсыпят.

— И за таким счастьям ты погнался?

— А какое другое у меня есть, — ощетинился он, — какое другое? Здесь-то что, вас спрашиваю, что здесь-то?

— Здесь ты свободен по крайней мере.

— Свободен? Шестой год эту свободу хлебаю черпаком через проволоку. Очень вам благодарен, по горло сыт, — искривился Никита, — сами ее лопайте, если аппетит есть. Пропуска да регистрации, проволока да пальцы печатать, зубы во рту считать . . . Вот она, свобода! Что я, на чужие хлеба, что-ли прошусь? Одного хочу: хоть в пески, хоть во льды меня пустите. Я везде на хлеб себе заработаю. Жизню мне мою единоличную дайте! Имею я на то право?

— Ну, и поедешь . . .

— В Аргентину уехал? Как раз! Все документы были готовы — прием закрыли. В Зеландию и в Бразилию без объяснений отказали. В Австралию и в США — посмотрели на пузо и баста! Одно измывательство эта свобода.

— Ты что-то путаешь. Причем здесь пузо?

— Вот причем. Любуйтесь, — забрал Никита рубаху, — видали такое чудо? Через весь живот поверху полоснуло, а кишки в целости. В лазарете всего месяц со днем пролежал.

Под курчавой овчиной, покрывавшей грудь Никиты упруго вырисовывался стройный ряд крепких мышц живота, а по ним от бедра к бедру шел широкий багровый рубец

—Как увидят, — кончено. Оперирован. Никуда ходу нет!

— На инвалида словчиться попробуй, а там видно будет, когда вывезут.

— Что вы петрушку строите? Кто меня в инвалиды зачислит? Я любого быка сворочу.

—Может, в Канаду удастся. Подожди.

—Я уже не меньше как на трехстах визитациях, да регистрациях ждал. Хватит. Лучше у Сталина, что-б ему черт, десять годешников обожду. Спокойней будет.

— Дрыну захотел? По нем соскучился?

— А здесь его нет? Чем эта свобода лучше ста-

линской? С неделю назад несет старик-мадьяр, — все его знают, — одеяло под мышкой из блока... душно там, полежать в тенечке захотел. Полицей-серб ему кричит: "пропуск давай"... это на одеяло-то... тут же во дворе полежать. Распоряжение теперь такое. Ну, а мадьяр его не понимает, идет себе. Полицей его за грудки цоп! Старик хрипит, а он пуще нажимает... совсем измял старика, в лазарет его взяли. Мы шефу полиции доложили, а он хоть бы внимание обратил... Чем такая свобода лучше сталинской? Там мильтоны по крайности наглядно не бьют... Чем, я вас спрашиваю? Вот тут у меня и вышел окончательный поворот мыслей. Отзвоню, думаю, свою десятку на Колыме, а, может... — запнулся Никита.

—Что, может быть? Помилуют, думаешь, или скидку дадут?

—Нет, на это я не располагаю, а, может, война все-же получится.

—Ну, и что-же?

—Тогда обязательно таких, как я, в "батальон смерти" забирать будут. Может, и уцелею как, на дурня.

—И опять перебегать? Опять снова всю эту волынку тянуть?

—Нет уж, извиняюсь. Тогда волынка по-иному пойдет. Теперь не 41-ый год. Теперь я ученый, лиенцевский институт прошел и в лагерях повторные курсы.

—Всерьез "за Сталина" закричишь?

—А хотя бы?— с вызовом отвечает снова ощетинившийся Никита, — не нравится это вам? Рожу корежите? И закричу! И в бой не так, как тогда пойду! Начисто пойду, с полным энтузиазмом! "За родного Сталина"! Понятно? Чем его свобода от вашей хуже? Один черт, одна им цена! Так там все-таки со своими...

35. МОЙ ИРОЙСКИЙ ВНУК

— Полномочия ИРО продлены! — радостно закричал я жене, прочтя газету, после провала нашего заатлантического рейса.

— Нашел чему радоваться, старый дурак! — услышал я в ответ.

— Как чему? — возмутился я. — Понимаешь ли ты своим бабьим умом все огромное политическое значение этого акта?

— Опять про политику завел! Ты бы лучше о семье подумал, ведь мы стареем, а сын подрастает . . .

Нет, конечно, бесцельно говорить с женщинами на высокие темы! Прав Шопенгауэр! Ширина мысли и ее полет в бесконечность им недоступны. А ведь какое устремление! Какое будущее!

Итак, продление достигнуто. Несомненно, за ним последуют дальнейшие отдаления рокового срока... Население лагерей ИРО за это время естественным порядком размножатся. Подрастут новые поколения со своеобразной иройской культурой, собственным иройским языком, возникнет новая иройская нация, можно сказать, даже раса . . . Общины иройцев оформятся в государственное целое . . . Великую Иродию. В ООН войдет новый сочлен . . . Какие горизонты! Кому из ди-пи это снилось . . .

А она: "о сыне подумай!" Прекрасно! Подумаем. Он, несомненно, станет минимум капитаном иройской гвардии какого-нибудь имени Элеоноры Рузвельт полка, женится на соседской Милице. Ее папа диэтической кухней заведует и к тому времени, безусловно, миллионером станет. С приданым невеста. Вообще, надо полагать, иродиоты экономически окрепнут: директор к уже приобретенной им вилле еще поместья три купит; магазинеры выйдут на большие рынки — откроют торговлю в столичных городах, а то, гляди, и экспортные конторы; даже повара, и те на собственных авто раскатывать будут . . . Заживем! У моего сынишки пойдут детишки, а я стану убеленным почетными сединами патриархом . . . одним из родоначальников иройской ра-

сы . . . Получу диплом . . . буду ничем не хуже советских "показательных стариков"!

В иройский сенат буду избран. Вынесу тогда свое курульное кресло (надо его заблаговременно из разбитых ящиков заготовить, а то зимой все пожгут . . .), вынесу его на форум, в корридор барака, поставлю вплотную к печечке и воссяду, а вокруг меня — внучата; старшенького в честь нашего государства Иродом назову, самого главного эмиграционного заправилу в крестные отцы пригласим, а мадам Шауфус — в матери. Подойдет ко мне Иродик и скажет:

— Что ты, дед, зря нашу национальную иройскую болтушку хлебаешь, почитал бы нам хотя бы вслух что-нибудь!

Во мне вспыхнет угасшая искра писательской гордости. Я пороюсь в запыленной коробке от кэр-пакета и достану пожелтевшие листы журнала.

— Слушайте, детки, — скажу я, — это я, я написал, когда еще молодым иройцем был . . . Давно. Да, давно! О чем это я? Да, вспомнил. От Толстовского Фонда тогда еще в США записывали, опрашивали, обстукивали, обмеривали . . . Хорошие были люди . . . Старались. От "Лиги" еще тоже тогда один приезжал. Да. Тот и в члены ее писал и разом на ашшуренс . . . Тоже старался. А допреж того еще Новосильцев списки в Аргентину составлял. Тоже был обстоятельный. Меня из первого списка в восьмой перечислил . . . ради христианской морали . . . Утоп список этот в океане или еще где . . . На все воля Божья! Ну, слушайте:

— "Новый Год". Рассказ. Приближалась полночь, но все окна были ярко освещены. В столовой торопливо расставляли стаканы . . .

— Совсем ты, дед, из ума выжил, — перебьет меня внук, — и что ты написал? Все неправдочное! Ну, какой же свет может после 10½ в бараках гореть? А полицей где? Он чего смотрит? В столовую тоже ночью забрались . . . Да ведь она заперта! Стаканы какие-то расставляют . . . А что такое стакан? Непонятно. Консервные банки, что-ли? Ты лучше послушай, что я написал. У меня все правдочное, историческое . . . Имена из учебника

Пушкарского выписал. У тебя же в коробке нашел. Слушай:

"Кофе давать начали! — закричал кто-то из умывальной.

Князь Потемкин-Таврический с шумом распахнул дверь своего роскошного отдельного паравана и, позванивая новенькими мисками, гордой походкой екатерининского орла направился к кухне.

— Если сам светлейший, так надо всех до света будить! — раздался недовольный голос из-за одеяльной занавески. Он принадлежал принцу де Линь, недавно прибывшему из зальцбургского лагеря, где он доблестно служил австрийскому императору. — А еще Таврическим называется! Ох, уж эти русские! . . .

Из дальнего углового паравана донесся мощный, раскатистый вопль. Там мама еще юного Милорадовича производила над ним очередную утреннюю экзекуцию.

— Молодец! Чудо-богатырь будет! Еще слова сказать не может, а орет, как гренадер при штурме Очакова! Ку-ку-реку! Вставать пора! — выскочил из-под своего, привезенного еще с "горячо любимой" родительского плаща Суворов.

— Вечно этот Рымникский безобразничает! — взвизгнула за своей перегородкой президент де сианс академии Дашкова. — Я вельфарной мисс пожалуюсь и в лагерную полицию напишу! Если женщина одинокая, так ее все обижать могут . . .

Неизвестно какой оборот принял бы этот изящный придворный разговор, если бы брившийся у своего окошечка Безбородко не закричал:

— Потише трошечки, ясновельможные! Никак сама до нас жалует!

Действительно, в барак входила сама, всегда рано встававшая Екатерина.

Все замолкли и склонились почтительно, как перед кампдиректором.

— Шешковский! — величественно позвала императрица, — относительно Радищева мое приказание выполнено?

— Как же, как же, матушка, — выскочил из инвалидного отделения маленький, но еще бодрый старичек, — его еще вчера карабинер в Сан Пьетро-Паоло крепость отвел... Не будет теперь на стенках писать проклятый!

— Объявить о том по камп-радио на шести языках! — распорядилась Великая".

— Видишь, дед, у меня все правдочное, не как у тебя! — скажет внук.

Я не стану его оспаривать. Ведь он вырастет уже иродиотом. Как же иначе сможет он представить себе славное прошлое своей великой прародины? Если все же хоть читать по-русски научится...

36. AVANTI, SIGNORI, AVANTI!

Повесть окончена. Я писал ее, поднимаясь в 4 часа утра и выбираясь со своим патентованным столом из ящиков на двор. Лагерный гвалт, вопли радио, детей, джулианок и прочие радости общежития начинались с 7 утра.

Жена переписывала мои каракули, сидя птичкой на втором этаже лагерной кровати. При ее весе в 85 килограммов, это было несколько небезопасно для обитателей первого этажа. Положенная на колени крышка от ящика вполне заменяла письменный стол.

Порой не хватало чернил, бумаги, перьев... Тогда выступал на сцену Лоллик. Он спешно реализовал по соседним итальянским дворам кусок ировского мыла, чулки или майку, "без которой можно обойтись", и притаскивал необходимое.

Но это уже прошлое.

Жена, кончив проверять рукопись, говорит мне:

—Вот, в тридцати пяти главах ты Запад не очень жалуешь, а сам туда лезешь. Где же логика?

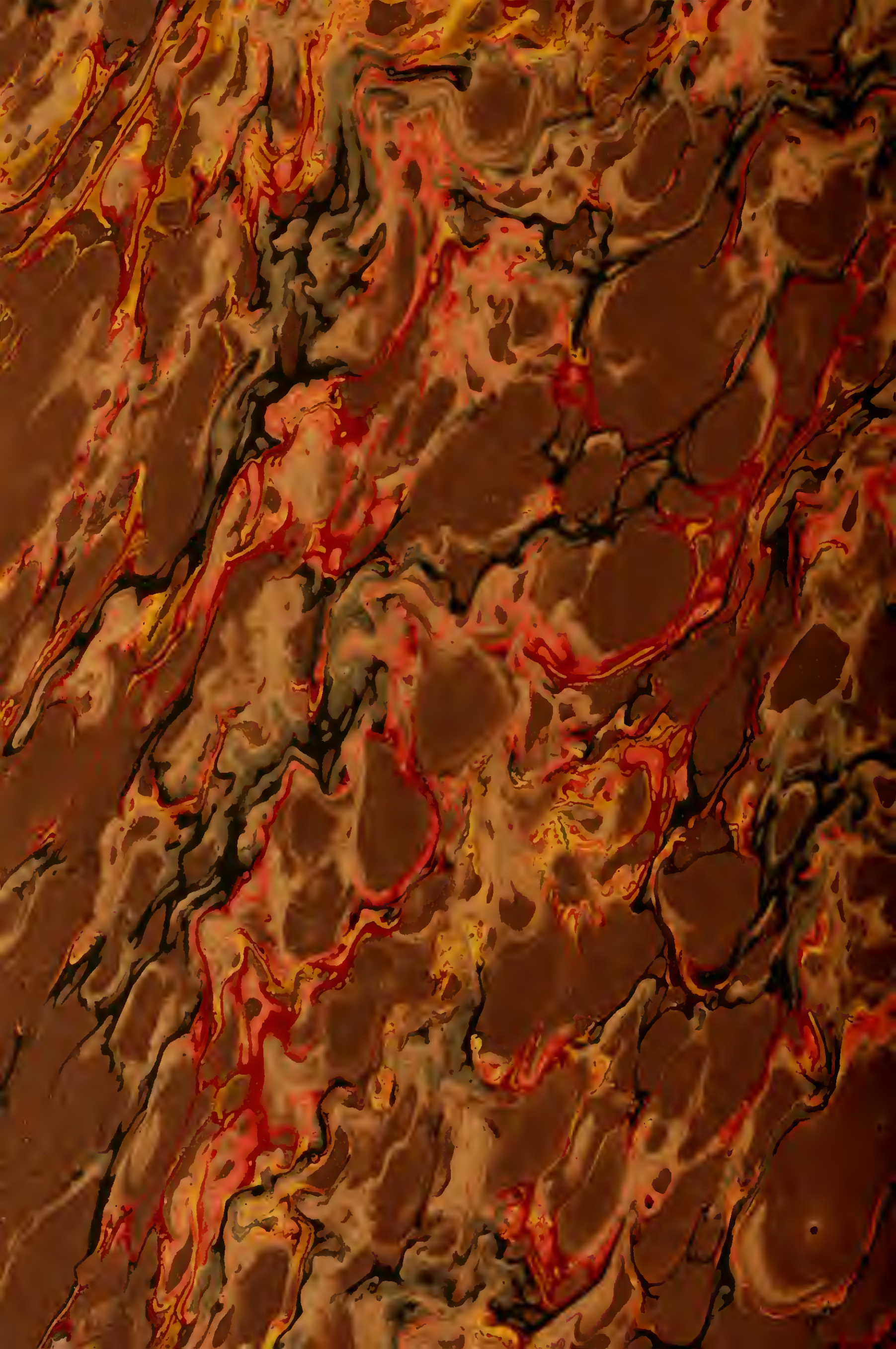
— А что будешь делать? — отвечаю я. — К черту в зубы лезть, что-ли? Логика же в том, что земля кругла и, идя неуклонно на Запад, сквозь Запад, мы безусловно придем к Востоку. Нужно лишь итти, не задерживаясь в уютных долинах, не боясь крутых гор, не увязая в болотах... Итти вперед! Тогда придем. Неизбежно придем. Avanti, signori, avanti!

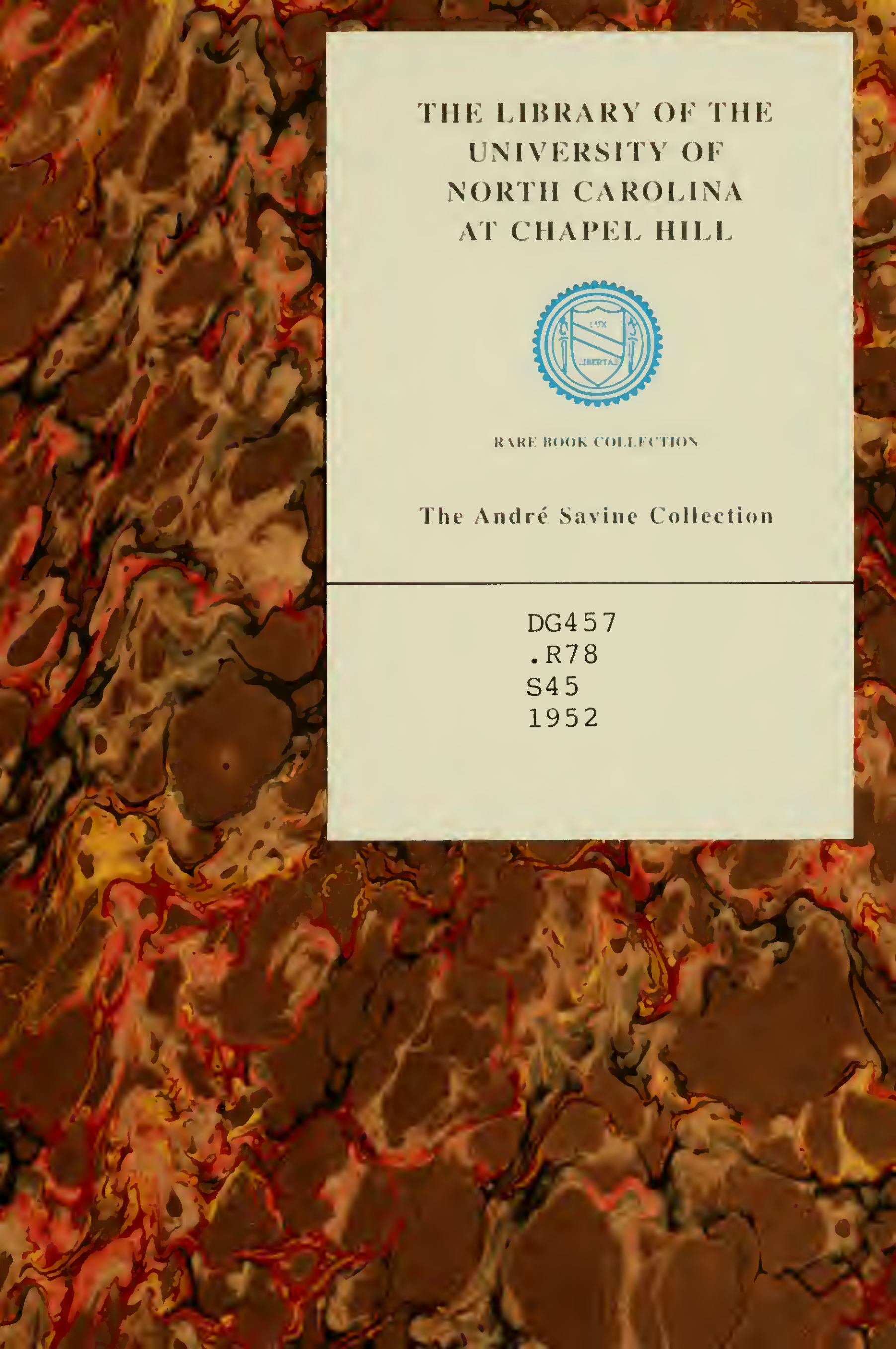
ОГЛАВЛЕНИЕ

Imprenta "Dorrego", Dorrego 1102, Buenos Aires. T. E. 54-4644

Цена 3 ам. доллара.

Борис Ширяев - ДИ-ПИ В ИТАЛИИ




THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL
LUX
LIBERTAS
RARE BOOK COLLECTION
The André Savine Collection
DG457
.R78
S45
1952

